

ЮНОСТЬ

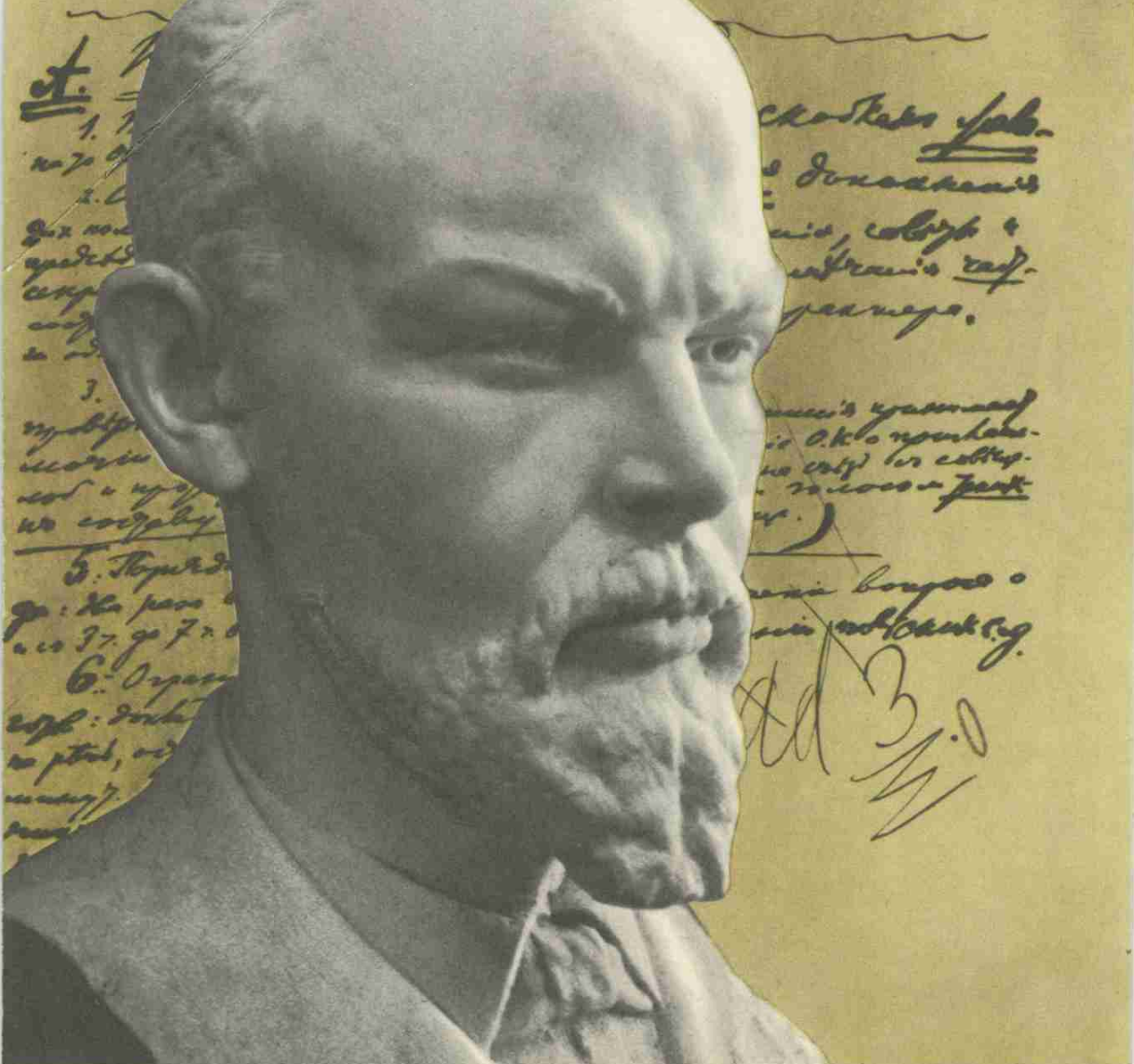
7

1973



Программа 2-го очередного съезда
РКСДР(ПН)

А. Реорганизация съезда и консервирование его.
Б. Стимул...
...не съезд.



К 70-летию
II съезда
РСДРП

...СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПРОЛЕТариАТА УНИЧТОЖИТ ДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВА НА КЛАССЫ И ТЕМ ОСВОБОДИТ ВСЕ УГНЕТЕННОЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ТАК КАК ПОЛОЖИТ КОНЕЦ ВСЕМ ВИДАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОДНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕСТВА ДРУГОЙ.

Из Программы РСДРП.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



7 (218)
ИЮЛЬ
1973

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

В НОМЕРЕ

ПРОЗА	Николай СТУДЕНИКИН. Небо. Повесть	5
	Борис ВАСИЛЬЕВ. Не стреляйте в белых лебедей. Роман. Окончание	29
	Виктория ТОКАРЕВА. Рарака. Рассказ	57
ПОЭЗИЯ	Давид КУГУЛЬТИНОВ. Апрель семидесятого года. «Неуловимы памяти законы...». «Что мягкость жесткое способна съесть...». «Глянцевитой лазурью плотной...». «Когда я стоял, упиваясь игрою...». Юному поэту. Совет. «Суди о даре и судьбе...». «Это связано жестко...». «Порой высокое смешно...». Перевела с калмыцкого Ю. Нейман	2
	Дмитрий СУХАРЕВ. Сорок два. Путинки. Мы ушли от Никитских ворот. Песенка про художественную стрижку. «Какие чудесные дети...»	3
	Станислав КУНЯЕВ. «Моя обновленная Родина!...». «Не то чтобы я захмелел...». Поэзия. «Как озими, укрытые снегами...». «Нет, не жанду ни денег, ни славы...». «Пока живу, не раз бывал...». «Мой друг! Под проливным дождем...»	26
	Вадим ШЕФНЕР. Напев тридцатых лет. На Невском. Дом на Васильевском острове. Назидание. Хрестоматийный мальчик	27
	Александр БОГУЧАРОВ. «Повторяю опять и опять...». «Нас разделяет стена...». «Эпистолярного искусства мастера...». «Хранит мой день мое несовершенство...»	28
	Александр ГРИШИН. Скрипач. «На том холме, где синеве раздольно...». Осенью. Маятник	55
	Игорь ЖДАНОВ. Монолог. «Мир огромный...». Сентябрь	56
	Вадим СИКОРСКИЙ. «Морской волны мгновенное цветенье...». «Сказал он: «Мне ль решить задачу?». «Мировой истории не помню я...»	95
ПУБЛИЦИСТИКА	Фестиваль возвращается в Берлин	65
	Алексей ФРОЛОВ. Прыжок через Обь	68
	Андрей ЯКОВЛЕВ. Вокруг Роберта	70
	Я + Я = семья	93
КРИТИКА	Вл. ВОРОНОВ. Время выбора	76
	«Коммунизм — это молодость мира...» МАЯКОВСКИЙ СЕГОДНЯ. (К 80-летию со дня рождения поэта). Говорят Константин СИМОНОВ, Виктор ШКЛОВСКИЙ, Антал ГИДАШ, Леонид МАРТЫНОВ, Василий КАТАНЯН, Рита РАЙТ, Имант ЗИЕДОНИС, Борис СЛУЦКИЙ, Изет САРАЙЛИЧ, Сергей ЮТКЕВИЧ	82
	Евгений СИДОРОВ. Остановленное мгновение	89
	Круг чтения. Маленькие рецензии и аннотации	90
ПИСЬМО ИЮЛЯ	Светлана КАЛИНОВА. Мне стыдно за чих! Лазарь КАРЕЛИН. О воспитании совести	92
СПОРТ	Анатолий ПИНЧУК. Восемь секунд	96
НАУКА И ТЕХНИКА	Анатолий ЗУБКОВ. Хатха-йога — истина и предрассудки	104
ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ	А. ВЕКСЛЕР, А. МЕЛЬНИКОВА. Клады одного переулочка * А. ПЧЕЛЯКОВ. По утрам гориллы пьют сладкий чай	107
ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ	Н. СТАНИЛОВСКИЙ. Свидание	109
	Василий ТРЕСКОВ. Некогда!	110
	Мих. КАЗОВСКИЙ. Его звали Кеша	111

Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ
(зам. главного редактора),
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора),
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.
Технический редактор
Л. К. Зябкина.

На 1—4 стр. обложки
рисунок В. ОРЛОВА.
На 2-й стр. обложки —
В. И. Ленин. Скульптура
Я. НИКОЛАДЗЕ (Центральный
музей В. И. Ленина).

Адрес редакции:
101524, ГСП, Москва, К-6.
Улица Горького, № 32/1.
Телефон редакции: 251-32-83.
Рукописи
не возвращаются.

Сдано в набор 7/V 1973 г.
А 08164.
Подп. к печ. 21/VI 1973 г.
Формат 84×108/16.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 100 000 экз.
Изд. № 1450. Заказ № 624.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина,
125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.



Давид Кугультинов



Перевела
с калмыцкого
Ю. НЕЙМАН.

Апрель семидесятого года

Я, прошагавший от начала
Путей своих изрядный срок,
Апрелей множество встречал я
Им посвятил немало строк.
Апрель в степи душист и светел,
Он — словно жаворонка трель...
Но нынче я среди степи встретил
Совсем особенный апрель.
И чувств и мыслей в нем — излишек,
Он — сын невиданной весны.
Он словно гений меж братишек,
Что менее одарены...
И впрямь апреля из апрелей
Прислал семидесятый год...
Он, душу устремляя к цели,
Двойную радость нам дает!
В нем — запах трав и шум широкий,
Весны обычной строй и лад,
И мировой весны

истоки,
Родившейся сто лет назад.

Неуловимы памяти законы,
И человеку трудно их постичь.
К могучей яблоне, слегка склоненной,
Я подошел, чтоб ветки ей подстричь,
С большими ножницами наготове...
Взглянул... И тут же замер, обомлев.
И сердце облилось внезапно кровью...
Вдруг вспомнил я одно из тех дерев,
То самое, то, что давным-давно,
В те времена, в разгар жестокий боя,
Спасло мне жизнь, прикрыв меня собою,
До сердцевины пулей пронзено.
И разом изменилось все вокруг:
Гремят орудья. Жаркий бой идет...
И вижу: резко наклонясь вперед,
На землю падает мой лучший друг...
Все ясно, все — как будто наяву:
Убитые, дымки разрывов... Поле...
И я невольно застонал от боли,
Роняя ножницы в траву.



Что «мягкость жесткое способна съест» —
В народе сохранилась поговорка.
Жестоких мягко подкупает лести —
И это предок наш подметил зорко.
Тому примеров, по словам молвы,
Калмыки в прошлом видели немало.
Но изречение древнее — увь! —
Доныне остроты не утеряло,
Хоть изменились времена давно,
Облагородив вроде суть людскую...
Пора бы эту мудрость — под сукно!
В архив бы сдать пословицу такую!
Пусть «жесткость» глупая и «мягкость»

лести

Друг с другом вместе
сгинут наконец!..
Опора времени да будет в чести,
В правдивой неподкупности сердец!



Глянцевитой лазурью плотной
Небосклон расписали весь...
Может, рериховские полотна
Кто-то добрый развесил здесь!..
Кобальт, охра, дымно-лиловый...
Меловые блики — домъ.
Вдоль прозрачно-легкой основы
Золотая вьется кайма.
Безмятежно утро, безгрешно.
Мир покоится в забытьи...
Почему ж воробьи пошесно
Укрепляют гнезда свои!..
Знают птицы: яркость лазури
Предвещает злобный порыв...
Скоро грянет пыльная буря,
Солнце тьмой тяжелой закрыв.
Видно, нет и в природе идилий,
Беззаботно-ясного дня...
Эти горькие мысли

затмили
Радость утра в душе у меня.



Когда я стоял, упиваясь игрою
Пичужек, мелькавших в лучах золотых,
Мечтая, как в детстве:

вот-вот я открою,
В чем тайна полета свободного их,
Вдруг рядом со мной, за ближним холмом,
Послышался выстрел сухонький гром.
Еще не рассеялся сизый дымок,
А думать о добром я больше не мог.
И было мне больно, и было мне тяжело:
«Как так — человек, не создавший пока
Не то что комарика или букашку,
Но хоть бы комочек живого белка,
Хоть самое простенькое существо,—
Все силы ума своего и таланта
Направил на то, чтоб себя самого
Разбрызгать на волны легчайшие кванта!..
Но добрые травы, и небо, и птицы
Меня утешали, что если, любя,
Мудрейший посмотрит на них, то, частицы
Собрав, оживив,
воссоздаст и себя.

Юному поэту

(Дидактические стихи.)

Взяв ручку и бумажный лист,
Не знай других оков.
Отважен будь и сердцем чист
И внимки в душу слов.

Не торопи строки, пока
Гармонией своей
Не зазвучит в тебе строка,
Тогда пиши скорей.

Рассудок с чувством сопряги,
Когда слагаешь стих,
И, словно от чумы, беги
От вывертов пустых.

Усвой разумно опыт тех,
Кто свет прошел и мрак:
Жить без корней — великий грех...
Но дальше сделай шаг.

Искусству поиски нужны
И новые тона.
Но помни: лишь из глубины
Родится новизна.

Высокий смысл отыщет сам
Единственный свой путь
К людским надеждам и сердцам,
Возвысив жизни суть.

Совет

Когда все то, что ты создал,
Воспримут люди без похвал
И, может статься, от обид
Внезапно желчь в тебе вскипит,
Ты отойди на два шага
И плюнь ее в сторонку, молча,
Чтоб друга не обрызгать желчью
И не порадовать врага.

✪

Суди о даре и судьбе
Знакомого поэта
Не по крикливой похвальбе:
Другая есть примета.
В душе, которая светла,
Талант цветет победно.
На ядовитой почве зла
Талант сгниет бесследно.

✪

Это связано жестко,
Хоть в учебник впиши:
Ожирение мозга
С дистрофией души.

✪

Порой высокое смешно
И вызывает раздражение,
А в низком — ценное зерно...
Какую выбрать точку зренья?
Всего труднее на пути,
Хоть пройдено уже немало,
Ту точку зрения найти,
Чтоб с точкой Истины совпала.

Дмитрий Сухарев



Сорок два

Я лермонтовский возраст одолел,
И пушкинского возраста предел
Оставил позади, и вот владею
Тем возрастом, в котором мой отец,
Расчета минометного боец,
Угрюмо бил по зверю и злодею.

Отец мой в сорок лет владел брюшком
И со стенокардией был знаком,
Но в сорок два он стал, как бог, здоровый:
Ему назначил сорок первый год
Заместо валидола — миномет,
Восьмидесятидвухмиллиметровый.

Чтоб утвердить бессмертие строкой,
Всего и нужно — воля да покой,
Но мой отец был занят минометом;
И в праведном бою за волю ту
Он утверждал опорную плиту,
И глаз его на это был наметан.

И с грудью металла на спине
Шагал он по великой той войне,
Похрапывал, укутавшись в сугробы.
И с толикой металла на груди
Вернулся он, и тут же — пруд пруди! —
К нему вернулось всяческой хворобы.

Отец кряхтел, но оказался слаб
Пред полчищем своих сердечных жаб
И потому уснул и не проснулся.
Он юным был — надежды подавал,
Он лысым стал — предмет преподавал,
Но в сорок два бессмертия коснулся.

Путинки

Помню Страстной монастырь,
Кинотеатр «Палас»,
Пушкин в ту пору стоял
Вовсе не там, где сейчас.
Помню, стоит неживой
И не поднимет руки,
Глядя вверх мостовой
На Путинки, Путинки.

На Путинках, Путинках
В мареве утренних лет,
Как на лепных потолках,
Тени струились и свет.
Помню огромность окна,
Света и теней струю.
Восемь семей, как одна,
В том коммунальном раю.

Помню ту кухню в чаду,
Тех керосинок слюду,
Много в квартире жильцов,
Восемь одних лишь отцов,
Мало в квартире добра,
А на асфальте двора —
Мы, коммунальный приплод,
Родины нашей оплот.

В кинотеатр «Палас»,
Помню, водили и нас,
Помню, ходили с отцом,
Пушкин был темен лицом.
Будто сто лет — не сто лет,
Вынул Дантес пистолет,
И содрогнулись отцы,
И загрузили юнцы.

Лето клонилось к зиме,
Опустевали дворы,
И оседали в уме
Правила взрослой игры.
Правила те — ерунда!
Вот и гляжу сквозь года,
Правилам тем вопреки,
На Путинки, Путинки...

Мы ушли от Никитских ворот

Во дворе 110-й московской школы
стоит памятник ребятам, не
вернувшимся с войны. Говорят,
он поставлен на деньги, собран-
ные жителями окрестных домов.

Напротив той церкви, где Пушкин
венчался,
Мы снова застыли в строю,
Едим, как в то утро, глазами начальство,
Не смотрим на школу свою.
Отсюда, из сада, мы с песней, как надо,
Всем классом пошли под венец —
С невестой костлявой на глине кровавой
Венчал нас горячий свинец.

А то, что у нас не по росту шинели,
Так это по нашей вине:
Мы попросту роста набрать не сумели,
Добрать не успели к войне.
Хоть мы неказисты, но мы не статисты,
Мы танкам не дали пройти,
Мы сделали дело, мы — тело на тело —
Ложились у них на пути.

Хоть мы из металла, но нам не пристало
Торчать у Москвы на виду:
Мы не были трусы, но были безусы,
И место нам в школьном саду.
К нам Пушкин приходит молчать до
рассвета,

Во фраке стоит в темноте,
А рядом во мраке, а возле поэта
Наташенька в белой фате.

Песенка про художественную стрижку

Когда пошел я в первый класс,
В тот самый год, в ту пору
Костюмчик был в семье у нас,
И был отцу он впору.
Отец к нему, отец к нему
Проникнут был заботой,
С потертых сгибов бахрому
Он стриг перед работой.
Я кончил школу, выбрил пух
И стал силен в науке,
А мой отец, как вечный дух,
Носил все те же брюки.
Он по ночам писал, писал
Учеными словами,
А по утрам мундир спасал —
Мудрил над рукавами.
Еще не знали мы тогда,
Что можно жить иначе,
Что это бедные года,
А будут побогаче.
Как жили все, так жили мы,
И всем штанов хватило,
И эта стрижка бахромы
Отца не тяготила.
Стригаль стрижет своих овец,
Рантье стрижет купоны,
А что стрижет он, мой отец! —
Сюртук и панталоны.
Костюмом надо дорожить:
Отгладь его, отчисти,
И будет он тебе служить,
А ты служи Отчизне.



Какие чудесные дети
Покрыли земную кору!
Они на замшелой планете
Растут, как грибы во бору.

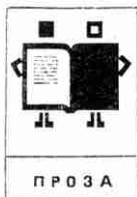
Вот рыжик, а это масленок,
Каких только нет пацанов!
Как много им надо пеленок,
Пока дорастут до штанов!

В штанах они ходят не сразу,
Но сразу же ходят в штаны.
Научатся! Не было б сглазу —
Всему научиться должны!

Волнушки, подгруздки, опять —
Какая веселая рать!
Как славно, что эти ребята
Не любят в молчанку играть.

Орите, ребята, растите,
Боритесь за званье людей!
Пусть будет вам сколько хотите
И солнца и теплых дождей.

Какие чудесные песни
Мы вам сочиним про запас!
Но самые лучшие песни
Напишете вы после нас...



ПРОЗА



НИКОЛАЙ
СТУДЕНИКИН

ПОВЕСТЬ

НЕБО

I

— Владимир Андреич, как спал? — спросил отец.

Он щурился от табачного дыма.

— Отлично, Андрей Аверьяныч, — в тон ему ответил сын и, зевая, спустил с кровати ноги. — Куришь ты много. Вредно, говорят, натошак.

— Кому как, — сказал отец, вращая в узловатых пальцах худенькую папироску. — Я формовочной землица надышался за свой век, дым мне вроде развлечения. Умывайся ступай, картошка стынет. Я в нее пяток яичек вбил...

Пока Володя, стуча соском рукомыльника, умывался, пока растирал лицо и плечи длинным вафельным полотенцем, отец хлопотал над столом. «Скатерть старый постелил, значит, рад», — отметил про себя Володя и, подойдя сзади, обнял отца за костистые плечи.

— Чего, чего лижешься? — спросил отец, высвобождаясь из объятий. — Как телок, одно слово, как телок! — Глаза его беспомощно мигали. — Как, тарелку дать или прям со сковороды будешь? — пряча смущение, спросил он.

— Давай «прям со сковороды», — улыбнулся Володя и сел на голубой шаткий табурет. — А сам чего стоишь? Так и будем приглашать друг друга?

Володя, обжигаясь, снял со сковороды крышку и шумно втянул в себя воздух:

— Вкуснотища!

— Может, по маленькой? — спросил, помаргивая, отец. — Для поднятия аппетита?

— Давай, — прошамкал Володя, катая во рту ломтик горячей картошки. — Раз для аппетита, значит, можно! Но немножко. В одном кино, папа, сказано,

Рисунки
Ивана
БРОННИКОВА.



что с утра даже лошади не пьют. А сейчас лето, жара...

Стукнула дверца старого дубового буфета, звякнули стопочки, которые отец тщеславно именовал хрустальными. Вспомнив это, Володя улыбнулся. «Кто разберет? — подумал он. — Может, правда из хрусталия». Две початые бутылки, как часовые, встали по бокам дымящейся сковородки.

— Владимир Андреич, прости, — сказал отец, усаживаясь наконец на место. — Прости, коньяк не буду, хоть и твой подарок. Непривычно. Я — водочки. — И он, хмурясь, наполнил стопки. — Чокаться не надо, сынок. Давай маму твою помянем. Клавдию Прохоровну. Женщина хорошая была необыкновенно...

Выпили и помолчали. Володя потянулся было к сковородке, но положил вилку на скатерть. Отец, задумавшись, разглядывал щелястый пол.

— Ну, давай по второй, — внезапно вскинул он голову, — и ешь, а то вкус потеряется. Хотел сбежать колбаски взять полкило, времени не выгадал. А на могиле я был, как же! Ограду поправил, лавочку, цветы посеял, — сходим к ней вечером. Рядом с ма-

мой твоей Платониду положили. К ней Петруха Шлычкин застройщиком пошел после войны. Ты его знаешь, с Олькой ихней в школу вместе ходил, под окнами их ошивался.

Отец хотел погрозить сыну пальцем, но смутился и спрятал руку под скатерть, стал тереть ее.

— Платонида в феврале отошла, в самые морозы, — продолжил он свой рассказ. — Для могилы костры жгли, а потом — ломом. Ну, нашу чуток задела, нарушили. Я потом поправил, не в обиду. Таиска-квартирантка бабку хоронила. В магазине работает, выгадывает, так что средства есть. Ей и полдома бабкиных достались. Петруха в суд подавал, но раз прописанная и завещание на нее, значит, все: «в иске отказать». Ольга с Таиской самолучшие подружки теперь, часто их вместе вижу. Петруха Ольке запрещает, а она свое гнет, самостоятельная...

— А как она... вообще? — спросил Володя. — За мужем?

Отец повертел в руках вилку с пластмассовым белым черенком, потом, покосившись на сына, отложил ее и взялся за ложку.

— Оляка что? — сказал он. — Разведенная, не получилась у нее семья. А так — живет, бухгалтером сидит в горсовете. Поведения вроде строгого. А там кто ее разберет... Ты мне вот что лучше ответь: со Вьетнамом как? Американцы там что — не вроде репетиции?

— Там, отец, война, а не пьеса в двух действиях, — ответил Володя. — Две системы сражаются — какая тут репетиция?

— Это мы понимаем, — перебил отец. — Понимаем не хуже прочих. Я о другом затеял разговор. Может, они оружие какое новое испытывают? Пушки какие или, положим, самолеты? Вот газеты: «фантом», «фантом»... Мне один говорил, что это, если перевести, «судьба». Честно скажи: у нас такие имеются?

— Имеются, — серьезно ответил Володя. — Не думай, не даром хлеб жуем.

Он пододвинул теплую сковороду поближе к отцу. — Спасибо, — сказал он, — наелся. Ты у меня мастер-кулинар. Тебя в любой ресторан шефом назначить можно без опаски. Не подведешь.

— Тебе все шутки шутить, — ответил отец. — Э, погоди, сейчас чайку заварю свеженького. После картошки чай — наипервейшее дело!

Когда был выпит чай, когда были сполоснуты чашки, пустая сковорода залита теплой водой, а стопки и бутылки заняли свое место в громоздком буфете, отец вдруг сказал, тыкая пальцем в Володину рубашку без погон:

— Сними... и другое давай, что грязное. Стирку сегодня заведу. Как управлюсь, к Фросе в гости пойдем. Она тебя ждет, холодец сварила. «На племянника, — говорит, — глянуть охота: какой стал». Ее надо в повара, тетю твою. Она оправдает!

«Тяжело ему одному все-таки, — подумал Володя, глядя на отца с жалостью и любовью. — Готовить — сам, стирать, полы мыть, пуговицы пришивать, заплатки ставить — все сам». Простая и неожиданная мысль пришла вдруг ему в голову и заставила его покраснеть. Он открыл чемодан и украдкой, чтобы не заметил отец, переложил в карман легких серых брюк пачечку денег.

Отец во дворе, под навесом, водружал на горящую керосинку большой цинковый бак. В слюдяном окошечке билось оранжевое пламя. Володя, отстранив отца, поставил бак на огонь и попросил:

— Отложил бы ты это дело. Я приду — вместе займемся.

— А ты куда? — обернулся отец.

— Так... пройтись, — запнулся Володя. — Может, и ты со мной? Покажешь, что нового у вас тут. В магазины зайдем...

— Вода греется... — Отец кивнул на бак. — А то б пошел, отчего не пойти? А ты погуляй, ничего! — Отец внимательно, как портной в ателье, оглядел сына. — Форму бы надел, что ли? Все-таки капитан, стыдиться нечего. А ты тенниску напялил старую. Никакой, Вовка, в тебе солидности!

— Я, папа, в отпуске, — весело возразил Володя. — Хочешь, чтобы соседи полюбовались, какой я у тебя раззолоченный весь? — лукаво спросил он.

— Они на работе все, — смутился отец. — Может, я сам хочу поглядеть? Имею право! Или нельзя?

— Можно, папа, тебе все можно! — Володя примирительно похлопал отца по плечу. — Вечером наряжусь, доставлю тебе удовольствие.

— И орден чтоб! — потребовал отец.

— К нему парадная форма нужна, — пояснил Володя. — На повседневной только ленточки положены и Звезда Героя, а ее я, папа, пока еще не заработал.

— Жалко, — вздохнул отец. — Разве бабы в ленточках разбираются? Да, забыл тебе сказать! Зимой Оляка заходила, адрес твой просить. Ну, я дал.

— Знаю, — улыбнулся Володя. — Открытку получил — с Новым годом поздравила. Потом — с Днем Советской Армии. А мой адрес через справочную не достанешь. Только зря. У нас один подполковник есть, так он говорит: «Из яйца яичницу любой сделает, а ты попробуй наоборот». Присловье у него такое.

— Переборчивый ты, Владимир Андреич, — нахмурился отец. — Гляди, кабы в девках тебе не засидеться. Сережка, друг твой, прошлым летом красавицу привозил. Я мать видэл — не нахвалится! А насчет яичницы — какой это подполковник?

— Пиксанов, я тебе говорил, — ответил Володя. — У которого детей семеро — три пацана, четыре девочки. А места рождения разные у всех. Можно географию изучать. Я к ним заходил перед отпуском. Спрашивали, почему холостой.

— Видишь, — сказал отец, проводив сына до калитки. — Даже люди интересуются. Семеро, — покачал он головой. — Цифра — по нынешним временам!

— Они сына хотели, — пояснил Володя, — а у них поначалу девочки получались, три подряд. Она в библиотеке работает. Все удивляются: «Как успеваешь?» И вообще очень хорошие люди. Ну, пошел я!

— Семеро, — повторил отец. — Нет, это же надо...

2

Семья подполковника Пиксанова считалась достопримечательностью части, в которой служил Володя.

— Мы на Острове начали, — шутил подполковник. — Развлечений особых не было...

«Островом» подполковник называл Сахалин. Его жена, Маргарита Алексеевна, если была рядом, зажимала ему рот ладонью. Тогда он чмокал жену в ладонь и продолжал:

— Секрет, можно сказать, фирмы, а я выбалтываю. Болтун — взходка для шпиона...

И тут жена снова зажимала ему рот.

— Беда с вашим мужем, Маргарита Алексеевна, — сказал, зайдя как-то к Пиксановым «на огонек», полковник Гоголюк, командир части, крупный человек с моложавым лицом и седыми, будто посыпанными серой солью, висками. — Вспомню ваш детский сад, хоть в небо его не пускай, честное слово.

— Какой же детский сад, товарищ полковник? — обиделся Пиксанов. — Возьмите Светлану. В седьмой перешла, а в музыкальной — в пятый. И всюду, доложу я вам, отличница!

Светлана помогала матери на кухне. Услышав, что речь идет о ней, она вспыхнула и, забросив косички за спину, убежала. Хлопнула дверь.

— Взрослеет девочка, стесняться начала, — с улыбкой сказал Пиксанов. — Знаете, товарищ полковник, в части, где я начинал, — еще ТБ-3 были, вы же помните, — служил старшина. Имел детей тринадцать человек. Так что мы далеко не рекордсмены, и напрасно вы...

— Сдаюсь, — ответил Гоголюк, поднимая огромные ладони. — Простите за неуклюжесть, Маргарита Алексеевна. Не хотел вас обидеть, наоборот... Давай, Василий Сергеевич, показывай свои апартаменты!

В новом пятиэтажном ДОСе¹ Пиксановы занимали четырехкомнатную квартиру. Для того, чтобы комнат было именно четыре, перегородку между трех- и однокомнатной квартирами проломили, сделала дверь. Поэтому Пиксановы имели две кухни и две ванны, две входные двери с одинаковыми замками и два

¹ ДОС — Дом офицерского состава.

туалета. «Основное удобство,— смеялся подполковник.— Иначе пропали бы у моей гвардии штаны!»

В квартире напротив жили офицеры-холостяки, молодежь, а среди них и Володя; и получилось так, что время вне службы он чаще всего проводил у Пиксановых, на более тихой и маленькой — «родительской» — половине квартиры, отделенной от «детской» двумя кухнями.

Маргариту Алексеевну молодые офицеры звали «мамашей», хотя ей не было еще и сорока. Она знала об этом, но не обижалась. «Наши мальчики», — ласково говорила она.

Перед отъездом в отпуск Володя зашел к Пиксановым попрощаться и засиделся на «родительской» кухне.

— Партию-другую? — предложил подполковник, расставляя шахматные фигуры. — Потренируйся перед отпуском. Тебе, как гостю, белые. Ходи!

Средний сын Пиксановых, одиннадцатилетний Васюка, шмыгая носом, несколько раз ловко обставил отца, за что был услан раньше времени спать, и подполковник жаждал отыграться.

— Играть не с кем будет, — сказал Володя, делая ход. — Отец шашки любит. Все удивляется: в календарях дамки двойными шашками нарисованы, а в жизни поставишь одну на одну — падают. Лучше перевернуть. Зачем их тогда двухэтажными рисовать, спрашивается?

Володя переставлял фигуры, мало задумываясь над игрой, подполковник хмурил лоб и мурлыкал что-то неразборчивое, а Маргарита Алексеевна, сидя поодаль, листала какие-то книжечки.

— Оставьте ваши шахматы, — громким шепотом сказала она. — Какую книжку я достала! Потрясающая! Тираж, правда, маловат: один экземпляр на весь коллектор. Еле выпросила. Нет, вы только послушайте!

И, взмахивая, как дирижер, руками, она прочла:

Папа молод. И мать молода.
Конь горяч. И пролетка крылата...

Книжечка была тоненькая, и, заглянув снизу, Володя прочел название — «Дни». Фамилия автора была незнакомая.

Дочитав стихотворение, Пиксанова обвела мужчин сияющими от восторга глазами.

— Прекрасный поэт, правда? — спросила она.

— Старый, наверное, — нерешительно ответил ей муж. — Извозчик, пролетка... очень уж все древнее...

— Да разве в этом дело? — пояснила Маргарита Алексеевна. — Вы другое послушайте!

И, отложив книгу, она прочла уже наизусть:

Как это было. Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

— Это... это хорошо, — сказал Володя, подыскивая точные слова и запинаясь. — Берет за душу. Я вот родился в сорок четвертом, война кончилась, а я ходить еще не умел, но все равно я чувствую себя причастным. Мне кажется, что это и обо мне... вообще о нас.

Он беспомощно махнул рукой и умолк.

— В сорок пятом я окончила семилетку, — прервав молчание, сказала Маргарита Алексеевна. — Ночью проснусь и думаю: куда — в восьмой класс или в техникум? В школе — платить, а в техникуме все же

стипендия... А потом просто лежу и радуюсь: война кончилась, папа вернется. Только он скончался от ран. В сорок седьмом. И я решила, что пойду в медицинский. Не получилось, как видите...

— Ты, Рита, и так эскулап, только без диплома, — сказал Пиксанов примирительно.

Он стащил с холодильника пачку журналов и газет. Из «Коммуниста Вооруженных Сил» выкатился красный карандаш, скользнул на пол.

— Видишь, Володя, журнал «Здоровье»? — спросил Пиксанов. — Последний, между прочим, номер. А она, — кивнул он в сторону жены, — уже знает его наизусть. Как стихи!

— Не надо шуток, Василий, — устало возразила ему Маргарита Алексеевна. — Ты сам понимаешь, что все это не то. Пустячки, дилетантство. Кстати, Володя, нескромный вопрос: почему вы не женаты? Двадцать восемь — солидный возраст.

— Не знаю, — честно признался Володя. — Так получилось.

— Любили девушки и нас,
Но мы, влюбляясь, не любили.
Чего-то ждали каждый раз
И вот теперь одни сейчас... —

дребезжащим тенорком пропел подполковник.

Маргарита Алексеевна с притворным страхом зажала уши. Володя улыбнулся.

— Покойный Бернес когда-то исполнял, — кашлянув в кулак, сказал подполковник. — Вот был певец, нынешним не чета! Вся страна его знала. — Подполковник подобрал с полу карандаш и, вертя его в пальцах, повернулся к Володе: — А в то, что у тебя девушки не было, никогда не поверю.

— А я и не говорю, что не было, — покраснел Володя. — Была, только...

— Поссорились? — участливо спросила Маргарита Алексеевна.

— Нет, — ответил Володя. — Все кончилось проще. И непонятней. И глупей.

3

«**П**риспичило им всем меня женить, — думал Володя по дороге к хозяйственному магазину. — Дел других найти не могут! Надо — сам соображу, жениться мне или подождать. Да и на ком? Ох, и чудачки...»

Вместо хозяйственного магазина в длинном доме размещался теперь какой-то склад. Вывески не было. Володя обошел дом и потянул на себя обитую радужной жестью дверь — единственную, на которой не было замка. Открыв ее, Володя в полумраке увидел мужиков в одинаковых новых синих халатах. Двое играли в шашки, а третий, сидя за столом, помечал что-то в бумагах, а потом, не вставая, натыкал эти бумаги на вбитый в стену гвоздь. Услышав скрип несмазанных петель, все трое лениво оглянулись.

«Надо с папой вечером пару партий сыграть», — глядя на шашки, решил Володя.

— А хозмаг, что, закрыли? — спросил он.

— Почему закрыли? — отозвался тот, который возился с бумагами. Он, видимо, был здесь самым главным. — Перевели. Где универмаг был, знаешь? Вот туда и перевели. Дорогу-то найдешь? Местный или прибыл откуда?

— Местный я, дорогу знаю, — ответил Володя. — Спасибо за ценную информацию.

— На здоровье, дорогой,— насмешливо сказал мужик, вглядываясь в Володино лицо.— Местный, говоришь? Что-то я тебя не могу припомнить.

— А я отсутствовал,— сообщил Володя.— Продолжительное время,— добавил он, закрывая за собой тяжелую дверь.

В детстве универмаг казался Володе огромным: чего только нельзя было купить там, были бы деньги! А теперь, подойдя к одноэтажному кубу, Володя только усмехнулся.

«Работает с 8 до 19, перерыв с 13 до 14»,— прочел он на двери и глянул на часы. Было девять, несколько минут десятого, однако магазинная дверь оказалась запертой. «Выходной?»— подумал Володя, но на стекле было написано, что выходной день в магазине — воскресенье. Володя увидел две бумажки, приклеенные к дверному, забранному редкой решеткой стеклу изнутри. «Ушла в торг, буду к 11»,— сообщила первая бумажка, а на второй были размашисто написаны таинственные слова: «Нет и неизвестно». Удивленный Володя покачал головой.

— Ну, порядочки! — произнес он вслух.

Двух часов с лихвой бы хватило, чтобы обойти весь город, пройти его из конца в конец — от железнодорожной станции до завода сантехизделий, в литейном цехе которого до пенсии работал отец, но Володя, потоптавшись, свернул к реке.

Настроенный скептически, он ожидал увидеть реку заброшенной и обмелевшей и обрадовался, когда стало ясно, что это далеко не так.

От старого моста остались одни сваи, едва видневшиеся над водой. На новом, выгнутом дугой мосту ревели автомобили. Прищурившись, Володя вгляделся в дрожащую даль и увидел приземистые и пузатые белые стены знаменитого некогда монастыря, зеленые маковки монастырской церкви. Дальше растелились желтые поля, они казались покатыми. «Степь»,— подумал Володя с любовью и пошел вдоль берега, увязая в сером песке.

Заборы сбегали с крутого берега вниз; с них огираживали чахлые деревца и распластанную по земле бурую картофельную ботву. В дальних углах стояли темные скворечни уборных. Обойдя рассохшуюся лодку, Володя увидел длинную белую табличку, приколоченную к самому солидному забору. «Улица Берег реки»,— прочел Володя и удивился: «Какая же это улица? Ну, пляж! А лучше просто — берег».

Впереди на песке, сверкая спицами, лежал велосипед. Какой-то человек ритмично прыгал через поспыствующую скакалку. «Спортсмен,— глядя на него, решил Володя.— Потеет...» Ему вдруг стало неловко за свою праздность, захотелось немедленно чем-нибудь заняться, хотя шел всего второй день его отпуска и это безделье было узаконенным. Володя решил выкупаться, поплавать и огляделся, выбирая местечко поудобней, но вспомнил, что его плавки, шикарные японские плавки с кармашком и пояском, остались дома, в чемодане.

Откуда-то выскочил мальчишка, не замеченный Володей ранее.

— Время! — азартно прокричал он и потряс стеклянной трубкой, в которой Володя с удивлением узнал обыкновенные песочные часы на три минуты.

Скакалка перестала свистеть, и спортсмен потрусил вперед, расслабленно помахивая руками. Володя замер, пораженный. «Э-э, да это же девчонка!» — сообразил он.

Мальчишка поднял песочные часы, перевернул их и с прежним азартом крикнул:

— Валька, время!



Снова засвистела скакалка, и Володя, стараясь остаться незамеченным, поспешил уйти прочь.

Он долго взбирался вверх по узкой и гулкой деревянной лестнице, рядом с которой, извиваясь, тянулась глубокая белая промоина, пробитая весенними ручьями, а теперь заросшая буйной пыльной лебедой.

Очутившись в затененном огромными шумящими деревьями переулке, Володя с улыбкой вспомнил серые заборы, рассохшуюся лодку, лежащую вверх килем на песке, девчонку, которая, видно, готовится побить какой-нибудь рекорд, и ее малолетнего азартного ассистента.

Из двора, долго провозившись с калиткой, выполз мальчишка в жаркой серой школьной форме. Его тонкая шея торчала из огромного белого воротника, нашитого на форменную курточку, — в таких воротничках в старину рисовали вельможных детей. Казалось, желтый ранец мальчишки набит не книгами и тетрадями, а железным ломом или кирпичами, — мальчишка едва его волок и сам плелся еле-еле.

— Ты чего это, брат? — догнав мальчишку, громко удивился Володя. — Лето на дворе, а ты — учиться! Или жара подействовала? — повертел он пальцем у виска.

Мальчишка повернул к Володе желтую, как подсолнух, голову и растянул в печальной улыбке щербатый рот, набрал в грудь воздуха и сокрушенно, словно старушка, сообщающая о чужом несчастье, сказал:

— На осень, дядя, оставили.

Мargarита Алексеевна Пиксанова часто жаловалась на сложность новых школьных программ по математике, а ее мнению следовало доверять — пятеро ее детей учились в школе. Вспомнив это и заранее гордясь своей проницательностью, Володя спросил сочувственным тоном:

— По арифметике, наверно, двойки?

Мальчишка прислонил ранец к ноге и шмыгнул носом.

— Не, дядя, — понурился, сказал он. — По математике у меня четверки как раз. Во всех четвертях и в году тоже. А вот по русскому... Вот вы, дядя, знаете, что такое предложение, например?

— Предложение? — переспросил Володя, несколько огорченный тем, что провидца из него не получилось. — Как бы тебе сказать, чтобы поясней?.. Предложение — это... ну, ряд слов, выражающих законченную мысль. Так?

Мальчишка растянул рот почти до ушей и затряс головой. Во рту у него не хватало двух зубов. «И не шепелявит, смотри-ка ты», — отметил про себя Володя. Он уже справился с огорчением и был готов прочесть мальчишке лекцию о любви к родному языку, но тот виновато сказал, не поднимая глаз:

— И вовсе не ряд слов. Нужна предикативность, дядя.

Володя оторопел.

— Вон как вас нынче учат. — Он покачал головой. — Предикативность... — Значение этого громоздкого слова скрывалось от него в тумане. — Гм! Ладно, бреди, филолог. Опоздаешь!

Часы показывали без нескольких минут десять.

— Не, я не филолог, дядя, — чему-то обрадовавшись, сказал мальчишка. — Я Петяка! А вот наша училка по русскому, учительница то есть, она филолог. Ее к нам личные обстоятельства привели. Мы же профаны, дядя! Профаны! — хвастливо повторил он и растопырил пятерню. — Мы профаны, а она хоронит молодость и языков знает вот сколько! А?

Похвалив учительницу, занесенную к ним «личными обстоятельствами», мальчишка толкнул провисшую створку школьных ворот и поплелся к серому зданию, на фасаде которого чернели большие буквы — «ШКОЛА». По начертанию буквы были такими же, как в заголовке газеты «Известия», — от них веяло стариной.

— ...предикативность, — ворчал Володя, шагая дальше. — Предикативность, а шкету десять лет! Мудрят, мудрят, а чего мудрят?..

Через несколько минут он поймал себя на том, что стоит, прислонясь к шершавому и теплому древесному стволу, и смотрит на домик напротив, на его маленькие и подслеповатые — шесть в ряд — окошки.

Два окошка из шести принадлежали покойной бабке Платониде, похороненной, как рассказал отец, рядом с Володиной матерью, а четыре — шоферу Шлычкину, которого все знакомые, и стар и млад, звали Петрухой. Володя чертыхнулся и быстро, не оглядываясь, пошел от этого дома прочь.

4

Так же поспешно он уходил от этого дома десять лет назад, после выпускного вечера, который школьная директриса высокопарно нарекла «актом».

В то далекое лето нелепая мода захлестнула город: все мальчишки, как по команде, стали носить красные рубахи, а самые рьяные модники — красные носки и даже красные шнурки в ботинках.

Директриса, решительная женщина, запретила являться в школу в красном. Она даже выпускникам грозила исключением.

Учитель истории, низенький ироничный старичок, встречая знакомого «краснорубашечника», обязательно останавливался и спрашивал:

— Мой милый друг, скажите, как поживает старик Джузеппе? Его планы все так же грандиозны?

Ни один из «краснорубашечников» не имел знакомых, носящих итальянские имена, и поэтому все помалкивали. А историк, часто моргая, задавал следующий вопрос:

— Ну, когда же, мой юный друг, когда вы поколоте этих австрияков? Мне кажется, что вам пора брать Рим. Кланяйтесь старику Джузеппе. Душой я с вами.

Десятиклассники знали, что «стариком Джузеппе» историк называет великого Гарибальди, а те, кто оставил школу, не дойдя до новой истории Европы — таких среди «краснорубашечников» было большинство, — только пожимали плечами и вертели пальцами у висков. Репутация «чокнутого» прочно утвердилась за старым историком.

Красной рубахи Володя не имел. Не было у него и белой — чтобы переокрасить. Отец купил ему в подарок голубую тенниску с замочком — выбрал на свой вкус, а о большем не хотел и слышать.

— Еще чего? — говорил он, отвечая на Володины просьбы. — Это дурак всегда красному рад, а ты все же у меня десятиклассник. Иди лучше книги читай.

На выпускной вечер все мальчишки решили явиться в красном, чтобы досадить директрисе, которую недолюбливали. Алик Окладников, Володин одноклассник, произнес по этому поводу пыльную речь. Тех, кто отказался вступить в заговор, назвали штрейкбрехерами и трусами.

Сразу после совещания заговорщиков, происшедшего в школьном дворе, Володя отправился к тете Фросе — просить денег взаймы. Щедрый Алик Окладников дал ему пакетик с краской. Нужно было купить белую рубашку и перекрасить ее. Тетка, однако, оказалась скуповатой. Предложила: «Если тебе так уж эту рубашку надо, — хочешь, с отцом поговоришь?» — но Володя отказался.

На выпускной вечер он решил не ходить совсем и забрался с книгой на плоскую крышу деревянного сарая — загорать. «Обойдусь! Аттестат завтра получу», — хмуро думал он, отковыривая от толя, который был крыт сарай, кусочки смолы и скатывая их в шарики. Смола липла к пальцам и застревала под ногтями.

Книга попала-то скучная, солнце не грело, вокруг вились какие-то назойливые мошки-комашки, сидели на голое тело, и Володя, очень недовольный собой, захлопнул книгу, спустился на землю, оделся, избегая смотреть на себя в зеркало, и отправился в школу, по дороге придумывая причину, зачем он туда идет, если твердо решил не ходить.

У школьных ворот неподвижно, словно памятник самой себе, стояла директриса, а рядом топтался старик историк в суконном галстуке и полотняном пиджаке. Он то и дело снимал с галстука белые нитки.

— Опаздываешь, товарищей не уважаешь, — строго сказала директриса, не ответив на Володино тихое «здравствуйте». — Хоть один не в красном. Поветрие! — возмущенно всплеснула она руками. — Какая-то эпидемия! Сплошь стилиаги! И этим людям мы сегодня будем вручать документы о зрелости!

— Здравствуйте, — вежливо поклонился историк. — А ваш приятель Лускарев явился в ковбойке. Скажите, тяжело быть белыми воронами? Только откровенно!

— Просто у нас нет таких рубах, — буркнул Володя и, заложив руки в карманы, чего директриса терпеть не могла, вошел в школу.

По коридору, наигрывая что-то на своем кларнете, ходил Алик Окладников. Подмигнув Володе, он проследовал своей дорогой.

Олю Шлычкину Володя отыскал в уставленном запертыми шкафами физическом кабинете. На тот случай, если нужно показать диапозитивы или кино, на окна кабинета имелись шторы из плотной черной бумаги; они были приспущены, и в кабинете царил таинственный полумрак.

Оля о чем-то шушукалась с Анютой, своей закадычной подружкой.

Анюта в детстве переболела полиомиелитом и немало прихрамывала — почти незаметно для глаза припадала на левую ногу. От уроков физкультуры она была освобождена. Мальчишки из класса относились к ней свысока и называли Нюрочкой, что обижало ее до слез, а Володя втайне жалел ее и втайне же гордился этим своим гуманизмом, полагая, что другим ребятам он недоступен.

Когда Володя сунул голову в кабинет, девушки оглянулись на стук двери и замолчали. Анюта поднялась и, понимая улыбаясь, пошла к двери, похоя в полутьме на уточку.

— Чего это вы тут? — спросил Володя, уступая ей дорогу.

Анюта не ответила и вышла за дверь, продолжая улыбаться.

— Так... — неопределенно сказала Оля и вдруг призналась: — Туфли жду. Таиска, что у Платониды живет, обещала. У нее такие, лодочки! А мои, — она заглянула под стол, — моим совсем конец пришел. Я их и зубной пастой мазала, не помогает, — и она вздохнула.

Володя представил себе, как Оля чистит туфли па-

стой, как паста, извиваясь, лезет из тюбика, и засмеялся.

— Чего ржешь? — обиделась Оля. — Что смешного нашел? Сам-то вырядился! Пугало, на грузчика похож, а туда же — насмехается! Включи свет!

Володя, чувствуя себя виноватым, подчинился без слов. Потом сел, но не рядом с Олей, как намеревался ранее, а напротив, стал совать палец в привинченную к столу розетку.

— Что ты делаешь? — всполошилась Оля. — Вот стукнет электричеством — будешь знать!

— А его тут и не было никогда, электричества, — небрежно ответил Володя. — Так, видимость одна. Ни одного опыта за всю учебу не поставили. Ты думаешь, в шкафах приборы? Декорация, как в театре, вот и все.

Оля наморщила лоб, вспоминая, ставились ли какие-нибудь опыты самими учениками, но, видимо, не смогла вспомнить и потому неожиданно сказала:

— А у тебя ногти грязные.

— В смоле, — ответил Володя и спрятал руки под стол.

Тут, заставив их вздрогнуть, неожиданно и где-то совсем рядом грянул духовой оркестр Алика Окладникова, грянул и тут же смолк.

— Репетируют, — сказала Оля, вставая. — Пойду к Таиске сама, а то дождешься ее, как же!

— Я тут посижу, — ответил Володя.

— Сиди!

Оля дернула плечиком и ушла.

Оставшись один, Володя положил голову на руки и задумался: десять лет он, сидя за партой, ждал этого вечера, десять лет шел к нему, пришел, а радости не чувствовалось почему-то. Наоборот, предчувствие позора мучило его. «Ведь из-за красной рубахи все, — с горькой откровенностью думал он. — Фактически тряпка, нету — наплевать, а вот... Нет, далеко мне до настоящего мужика. Пустяками голову себе забиваю». Он со злостью рванул «молнию», но она была вшита крепко, — отец любил добротные вещи, их красота была у него на втором плане, а моды отец не признавал вообще: «Бабы выдумки».

— Моркве почтение! — весело сказал кто-то. — Сидит печален, недвижим... или как там? Удалился от мирских забот, мирских соблазнов. Ольку ждешь? Я видел, она улицу перебежала...

Сережка Лускарев, одноклассник, улыбаясь во весь рот, похлопал Володю по спине, почувствовал неладное, посерьезнел и присел рядом:

— Ты чего, Володь? В трансе?

— Да нет... — Володя поднял голову и отвернулся. — А я не заметил, как ты сюда проник.

— Как всегда: через окошко, в зубах финский ножик, а под мышкой — мешок для барахла, — подмигнув, ответил Лускарев и пододвинулся ближе. — Ты куда решил податься?

— Не знаю пока, — ответил Володя. — Везде стаж нужен, а куда зря не хочется — нечестно как-то. И смотря какую характеристику еще дадут. Не знаю. А ты?

— А я в летное, — мечтательно заявил Сергей. — В военкомате объявление висит, я ходил, видел. Небо, а, Володь? Ты летишь на «ястребке», а звук, — оттопыренным большим пальцем он указал себе за спину, — звук где-то там! Отстал!

— Гагариным хочешь стать? — прищурившись, спросил Володя. — В космонавты метишь?

Сергей слегка порозовел, но спокойно ответил: — Это сложно — в космонавты. Хотя... А что Гагарин? Простой парень. Учился, был настойчив. Я в

газете читал: он а баскет играть любил, а сам невысокий. Значит, упорный, умеет добиваться цели. Слушай, Володь, а давай вместе?

— Что «вместе»? — не понял Володя.

— В училище вместе пойдем, а там посмотрим... — Закрыв глаза, Сергей наизусть процитировал отрывок из какой-то статьи: — «Профессия космонавта уже в недалеком будущем станет массовой. Наше поколение будет свидетелем того, как сбудется вековая мечта человечества. «Нельзя вечно оставаться в колыбели», — сказал Циолковский. Слова скромного учителя из Калуги оказались пророческими...» Фу, устал, — шумно выдохнул он. — Вот так, Володь. Массовой, понял? Ну, решай!

— Я подумаю, — пообещал Володя.

— Думай побыстрее, скоро документы принимать перестанут. — Сергей поднялся из-за стола. — Это тебе, братец, не сельхозинститут, там, знаешь, какие комиссии? Но у нас-то здоровье есть! — Сергей выпятил грудь и напыжился. — Здоровье у нас отменное! Мозг, — он постучал себя по голове, — тоже имеется. Ну, я побежал. Думай!

И он умчался.

А Ольга все не шла. Володя попытался представить себе, где она и что делает, но не смог. Он никогда не был у Шлычкиных в доме: Петруха раз и навсегда запретил дочери водить гостей. Оля даже с подругами шушукалась у калитки.

Главной прелестью школьных «дружб» были долгие провозжания, но Володя был лишен и этого удовольствия: дом, где жили Шлычкины и бабка Платонида, стоял наискосок от школы, и Оля даже зимой иногда прибегала в школу без пальто. Лицо ее тогда краснело и вздымалась едва успевшая оформиться грудь. В эти минуты она нравилась Володе всего больше.

Долго стоять у калитки было опасно: хлопала, ударяясь о наличник, форточка, и Шлычкин грозно приказывал дочери идти домой. Кроме того, и могла заметить тетя Фрося, которая жила неподалеку, и, заметив, доложить отцу.

Правда, их пускала к себе бабка Платонида, но это случалось редко, когда старые жильцы уезжали от нее, а новые еще не находились. К бабке можно было войти без стука, как к себе домой, — неожиданные визиты ее не удивляли, но в комнате и Оля и Володя чувствовали себя совсем иначе, чем на улице. Они опасались глядеть друг на друга, молчали, краснели, а потом торопливо расходились по домам.

Последней школьной весной их отношения в чем-то неумовимо изменились, и Володя почувствовал это немедленно. Оля все чаще рассеянно улыбалась и отвечала невпопад, шла рядом и была где-то далеко. Володя порывался объяснить, но в решительный момент робел и откладывал объяснения. Последний срок был — после экзаменов, и он настал, но Оля убежала выпрашивать у бабкиной квартирантки туфли, а Володя, ожидая ее, сидел в физическом кабинете и злился.

Он распахнул дверь, чтобы видеть длинный коридор и полутемный вход на лестницу. Много времени прошло, пока Оля наконец появилась.

Володю ужасно возмутило то, что двигалась Оля медленно, как по льду. Она все глядела вниз, на туфли, которые, казалось, даже светились в полумраке — до того они были белые. В руке Оля вращала что-то похожее на хлыстик.

— Там начальство прибыло какое-то, — сообщила она, прислонясь к двери физического кабинета. — Машина — голубая «Волга». Загляденье! Как, нравится? — приоткрыла она каблучком. — Еле выпроси-

ла. Таиска меня до самой школы проводила. Идет и шепчет: «Каблук, гляди, не сломай, каблук, гляди, не сломай...» Так уж ей туфель жалко!

— Поговорить надо, — хмурясь, сказал Володя.

Оля широко раскрыла глаза. Они у нее были зеленые, почти кошачьи, только зрачок круглый.

— О чем? — спросила она. — А-а, — протянула, разом поскучев. — Потом, Вовка, хорошо?

— Ладно, — глядя в пол, буркнул Володя.

— А я тебе галстук принесла, — оживилась Оля. — Папин. Он его даже по праздникам не надевает. — Оля тронула себя за горло и тихо засмеялась. — «Давит», — говорит. Ну-ка, повернись. Хоть «молнию» прикроем. Рукав короткий — не беда...

Этот черный с вечным узлом галстук показался Володе ошейником, но снять его он не посмел, только покраснел угрюмо. Галстук качался на его шее, как маятник.

— И все-таки не то, — с досадой сказала Оля. По лестнице, тяжело дыша, поднялась директриса.

— Это что еще за амуры? — произнесла она сквозь поджатые губы. — Немедленно в зал!

Оля и Володя молча подчинились.

Начальство, прибывшее в голубой «Волге», куда-то торопилось, и при нем аттестат вручили только Анюте — она окончила школу с золотой медалью.

Пока Анюта, перезаливаясь, шла к столу, за которым сидело начальство, директриса и какая-то тетка из родительского комитета, оркестр Алика Окладникова несколько раз сыграл туш, а Володя успел подумать: «Молодец, Нюрочка! Конечно, все бы могли, почти все, — а она одна сделала. И я бы мог...»

— Хоть здесь отличилась, — прошептала Оля.

Володя покосился на нее.

— Завидуешь? — спросил он.

Оля обиженно фыркнула и пересела вперед, на свободное место. Володя усмехнулся и, путаясь в застегжке, стащил с шеи галстук, сунул его в карман.

Начальство, а потом тети из родительского комитета сказали подходящие к случаю речи.

Директриса проводила начальство до голубой машины. Затем аттестаты и характеристики вручили всем остальным, и торжественная часть закончилась.

Родительницы-активистки хлопотали над столами, представляя между редкими бутылками кагора принесенную из дому посуду. Любопытные мальчишки, не допущенные в школу, прилипли к окнам снаружи. Алик Окладников подмигнул друзьям и сунул в рот трость кларнета. Грянула музыка, начались танцы.

Володя слонялся по безлюдному второму этажу и размышлял, засунув руки в карманы. Снизу доносились музыка и топот. «А что я ей скажу? — думал Володя. — Выходи за меня замуж? Смешно... Кто я такой? Восемнадцать лет, полком не командовал — не то время, да и все равно бы не сумел. Специальности нет. Какой я муж? В институт поступить? Опять-таки стаж нужен. Учеником к отцу на завод? И в армию мне скоро. Три года все-таки, заскучает моя Оля...»

Ему вдруг страстно захотелось совершить что-то невероятное, чтобы все ходили, качая от удивления головами, и говорили друг другу: «Это же Володька, вот дает парень! А мы и не подозревали, что он такой. Мы думали, что обыкновенный...»

Что же именно нужно совершить для этого: открыть новую планету, написать книгу — такую же, как «Война и мир» или «Тихий Дон», — закрыть

грудью амбразуру дота, совершить воздушный таран, изобрести что-то похожее на описанный Александром Беляевым «вечный хлеб»,— Володя не знал. «Детские стишки «Кем быть?»— думал он,— а попробуй реши — кем! Задача. Анюта в науку двинет — настырная, Серега — в небо... А я? А Оля?» Ничего еще не было ясно.

А выпускной вечер шел своим чередом. Смолкли музыканты. Выпускники кое-как уселись за столы. Историк, держа в руке щербатую кофейную чашечку с вином, произнес напутственный тост. Ему похлопали.

— Что смотришь?— спросила Оля, перехватив Володин ищущий взгляд.

— Галстук забори.

— Потом. У меня карманов нет. И должна тебе сказать, что ты...— Оля замялась, выбирая подходящее слово.— Грубиян ты, а больше никто! Хорошего отношения не понимаешь, вот! Невежа!

— А откуда у нас вежливость, Оленька?— громко удивился Алик Окладников, который сидел рядом с Володей.— Откуда тонкость? Папа с мамой вечно на работе, а няня с пожарными гуляла: мы с Володькой жили возле пожарной каланчи.

Пожарной каланчи в городе не было, но Оля обиделась: Петруха, ее отец, шоферил именно в пожарной части, подтверждая свой первый класс, носился в большой красной машине по городу, пугал кур и старушек.

А Володя растерялся. Он не знал, обидеться ли на Алика за неожиданное и негрошеное вмешательство или сказать ему спасибо. Алик похлопал Володю по спине, сказал:

— Не робей!— и, вытирая губы, ушел к музыкантам, взяв в руки черный потерянный кларнет.

Вальс «Школьные годы» загремел под низкими потолками школы. Застучали отодвигаемые стулья, закружились первые пары. Разложенный по тарелкам мясной салат остался нетронутым. Володя встал и решительно ушагал прочь из школы.

Он бродил по улицам, пока совсем не стемнело. Едва не попал под мотоцикл. Мотоциклист сдвинул с потного лба белый шлем и, одной ногой упираясь в землю, долго ругал Володю. Потом он постучал себя по лбу, наклонил шлем и укатил с оглушительным треском, поднимая пыль. Володя двинулся в другую сторону, держась теперь поближе к заборам, которые казались бесконечными.

Несколько раз он подходил к школе и видел мелькающие в освещенных окнах красные рубахи. Незаметно стемнело.

Выйдя на крутой берег реки, Володя вдруг, не раздумывая, ринулся вниз, цепляясь за кусты и толстые стебли каких-то трав. Будто осуждая, шуршали сзади камешки и песок. Володя быстро разделся и, заранее содрогаясь, ступил в воду. То, что она оказалась теплой, удивило Володю. Он долго плавал, изредка поглядывая на темную кучку на берегу— свою одежду. Вода успокоила его.— «А ведь это трусость»,— внезапно подумал он,— точно трусость. Надо жить начинать, принимать решения, а я испугался! На Ольку обиделся — нашел винозатую! Эх!»

Володя заставил себя несколько раз нырнуть. Скользя по дну руками, наткнулся на какую-то липкую корягу. Оторвать ее от дна не удалось, сколько Володя ни пытался, ни старался.

Он быстро выбрался из воды, оделся и, вскарабкавшись на берег, решительно пошел к школе. Но опоздал — вечер кончился. Родительницы собирали посуду — каждая свою. Одна причитала над разбитой тарелкой.

— Салату хочешь?— предложила Володе другая. — Спасибо, сыт,— отказался он.

— Одного мяса два килограмма вбухали,— пожаловалась родительница,— майонеза сколько банок, а все пропадает! Жаль! Только по тарелкам размазали, едоки!

Володя сочувственно развел руками.

Нужно было срочно разыскать Олю, поговорить с ней. Подойдя к дому Шлычкиных, он решительно постучал в стекло, за которым было непроницаемо темно. Там, в комнате, открылась дверь, на мгновение в комнату ворвалась полоса желтого света, блеснула никелированная спинка кровати. Хлопнула форточка, и густой голос недовольно спросил:

— Чего стучишь, чего надо?

Володя узнал Петруху.

— Оля дома?— храбро спросил он.

— А, это ты, жених,— сказал Петруха.— Нету ее! На вечере — документ получает! Таиска два раза прибежала, туфли спрашивала. Сколько внушал: чужого не бери, не побирайся! Ремнем вас мало стегали, образованных! А ты, жених, тоже у меня гляди: испортишь девку — руки-ноги обломаю. И с твоим отцом поговорю, это само собой!

Володя молча вытащил из сырого кармана галстук, повесил его на форточку, мельком удивившись, насколько она низка, и молча зашагал прочь.

— Гляди, говорю!— крикнул ему вслед Петруха.— В случае чего...

Володя не обернулся.

Анюта, у которой он надеялся заставить Олю, жила довольно далеко. «Ну, Оля! Или лицемерит, или просто дура»,— думал Володя по дороге.— Лучшей подруге позавидовала, нашла кому!» Он вспомнил, что до сих пор не удосужился вернуть Анюте том фантастических романов Александра Беляева, и ему вдруг стало жаль Анюту. Он чувствовал себя виноватым перед нею, сам толком не понимая, в чем заключается эта его вина. «Не в том же»,— думал он,— что книжку задержал. Не отдал сегодня, отдам завтра. И книжка-то — детское развлечение».

Волсдя знал дом, в котором жила Анюта,— длинный двухэтажный дом, заселенный железнодорожниками, но не знал ни номера квартиры, ни куда выходят ее окна. Пришлось для верности обогнуть дом. Все окна, кроме одного, были темны. Отойдя подальше, под деревья, к врытым в землю столам для домино, Володя заглянул в освещенное окно.

Это была кухня. На стене висела полка, заставленная банками и алюминиевой посудой. Поперек, под самым потолком, под тяжестью белья провисала веревка. Дядька в майке сидел за столом. Он держал в руке ложку и, оглядываясь, что-то гозорил полной женщине. Та отвечала, кивая. Видимо, соглашалась.

И, глядя на эту мирную сценку из чужой жизни, Володя вдруг отчетливо понял, что быть взрослым человеком — не такое уж простое дело.

Ему захотелось немедленно поделиться с кем-нибудь своим открытием. «Но не с Олькой же»,— подумал он с превосходством взрослого человека.— Ее и не найти сейчас. К Сереге пойду, поговорим... если не спит».

В дворике Лускаревых горела лампочка. В электрическом свете листва деревьев казалась черной.

— Серега!..— громким шепотом позвал Володя, лбом прикасаясь к холодной металлической табличке «Для писем и газет».

Из калитки выглянул Сергей — в одних трусах и ботинках на босу ногу. Щурясь, он взгляделся в темноту, узнал:

— А-а, это ты, Володь. Ты чего?

— Я...— неожиданно смутился Володя.— Когда там документы подавать?

— Какие? Куда? А, в училище! Хоть завтра.— Сергей подтянул длинные трусы и улыбнулся.— Значит, решил? Молодец. Да ты заходи, я на улице сплю, кровать поставил... Поболтаем. Алик Окладников про директоршу песенку сочинил. Ребята под конец в радиоузел пробрались и спели.

5

«Десять лет прошло,— думал Володя, торопясь подальше уйти от дома Шлычкиных.— Немалый срок, можно праздновать юбилей. Смешные мы были ребяташки... И чего это я к дому ее притащился? Ведь не хотел! Условный рефлекс проснулся, что ли? Вот встретил бы ее, а что сказать? Неудобно...»

Второпах Володя и не заметил, как вышел на главную улицу города. Она была покрыта потрескавшимся асфальтом, и прохожих на ней было значительно больше, чем на остальных улицах. Военная форма одного привлекла внимание Володи. Он взгляделся, узнавая, и окликнул:

— Кузьма Иванович!

Военный оглянулся. Володя не ошибся: это был подполковник Сафелкин, городской военный комиссар.

— Здравия желаю, товарищ подполковник! — весело сказал Володя.

Военный комиссар улыбнулся и протянул руку:

— Здравствуй, Еровченков, здравствуй. Поздравляю тебя.

— С чем, Кузьма Иванович?

— Как это «с чем»? — удивился подполковник.

С очередным воинским! Ты капитан?

— Капитан, — подтвердил Володя.

— Ну, вот, а ты скромничаешь, — довольно прохрюхтел подполковник. — Я о всех о вас подробные сведения имею. Зайдем к нам, побеседуем.

Военкомат размещался тут же, на главной улице, в старом доме. В его дверях произошла маленькая заминка: подполковник на правах хозяина хотел пропустить вперед Володю, а Володя, как младший и по возрасту и по званию, — подполковника. Кончилось это тем, что они почти одновременно, вежливо подталкивая друг друга, втиснулись в узкую дверь.

— Как Чичиков с Маниловым у Николая Гоголя, так и мы с тобой, — сказал подполковник, вытаскивая из кармана большой платок.

В кабинете подполковник усадил Володю у окна, а сам устроился за огромным, как луг, старым столом, стал двигать мраморный письменный прибор, переставлять пепельницу.

— А у вас все по-прежнему, — осмотревшись, сказал Володя. — Будто я в училище проситься пришел. Помните, с Сережкой Лускаревым?

— Ну, не скажи, — оживился подполковник. — Перемен много. Наглядную агитацию обновили полностью — видел в коридоре? Нового помещения добиваемся. Теперь у нас ведь два призыва в год — работы прибавилось, да... А училище, что ж? Сколько я вас таких направил, поставил, так сказать, на жизненный путь? Пятерых полковников призвал. Такими, как вы, пацанами пришли. А теперь? Академии поокончили, частями командуют. Один в самом Генштабе. Голова! Книжки мне прислал: Жукова, Штеменко. Очень внимательный человек.

— Вам, Кузьма Иванович, — улыбнулся Володя, —

только генерала не хватает, чтобы из ваших призывников вышел.

— А что? — приосанился подполковник. — Дай срок, будет и генерал! А как будет, на пенсию попросу!

— Рано вам, Кузьма Иванович, — сказал Володя, продолжая улыбаться.

Подполковник обернулся и посмотрел на большой, в красках, портрет министра обороны, который висел у него над головой.

— Где же, Еровченков, рано? — со вздохом спросил он. — При четырех министрах здесь служил — четыре портрета в кабинете поменялись. Пора, брат. Уже в облвоенкомате начальник политотдела намекал. А ты — рано! Да ты как, холостой еще?

Володя встал и прошелся по кабинету.

— Вы словно сговорились все, — сказал он. — Отец меня сегодня уже допросил по этому поводу, теперь — вы. Уезжал — один наш офицер, тоже подполковник, интересовался, с женой вместе. Почему да почему... У них детей, между прочим, семеро, представляете, Кузьма Иванович?

— А что особенного? — пожал плечами подполковник. — Я сам у матери шестой. Хотя... — он на мгновение задумался. — Теперь, конечно, другая мода: один, от силы двое — и стоп, машина.

Володя рассеянно поглядывал в окно.

Обнимая кипу газет, прошла высокая пожилая почтальонша. Прокатил новенький микроавтобус. Мужчина в соломенной шляпе, наклонясь, пробирался по салону вперед, к шоферу, и что-то говорил, взмахивая рукой. Проехала на велосипеде девушка в ярко-голубых спортивных штанах. Володя узнал ее и мальчишку, который, крепко сцепившись в руль, сидел на раме. Это их он видел на улице Берег реки.

Девушка неожиданно соскочила с велосипеда и, оставив его в руках мальчишки, решительно ступила на дорожку, ведущую к дверям военкомата. «Дочка чья-нибудь», — решил Володя. — Смело шагает. Как домой».

— ...дружок твой, Лускарев, — продолжал свои рассуждения подполковник, — в прошлом году приезжал. С женой. Строит семью — это я одобряю. Он, правда, лейтенант еще: в погранвойсках со званиями не спешат. А семья, скажу я тебе, в любом случае — опора человеку...

— Сережка — старший лейтенант, заставой командует, — сказал Володя. — Он мне писал.

— Не забываете друг друга, — похвалил подполковник. — Молодцы. Друг, как и жена, — большое дело в жизни...

В дверь постучали — сначала негромко, потом настойчивей.

— Да! — сказал подполковник.

Неловко прикрыв за собой дверь, в кабинет вошла девушка в тренировочных штанах, подпоясанная скакалкой. Она откинула волосы со лба и с опозданием спросила:

— К вам можно?

— Да уж можно, раз вошла, — лукаво щурясь, ответил подполковник. — Садись, — кивнул он на ряд стульев, стоявших у стены. — Слушаю тебя.

«Парень, наверное, писать перестал, — подумал Володя, разглядывая девушку. — Заленился, а она думает, катастрофа. Пришла справки наводить. А ничего... миленькая».

Девушка, помявшись, сказала:

— Спасибо, я постою, — и решительно вскинула голову: — Я к вам узнать... училище, летное, как туда поступают?

— В установленном порядке, — сказал подполковник. — Военнослужащие — рапорт командиру части, гражданская молодежь — через нас. А тебе-то зачем? Брат в училище хочет? Или это... товарищ?

— Нет, я сама, — помедлив и преодолев нерешительность, ответила девушка.

Подполковник даже привстал от неожиданности, навалился грудью на стол:

— То есть как «сама»? Ты что, смеешься?

Девушка посмотрела на него большими, полными слез глазами.

— Я серьезно... Я официально пришла, — заторопилась она, боясь, что ее перебьют, не дадут ей высказаться. — Я хотела заявление написать, потом подумала, что сначала лучше так, устно...

Военный комиссар прищелкнул пальцами и, ища поддержки, обернулся к Володе.

— Ну и ну! — сказал он, качая головой. — «Официально, заявление», — видал, какой подход к делам теперь у молодежи? Да ты сядь, сядь, — обратился он к девушке. — Назовись и доложи все обстоятельно.

Девушка оглянулась и присела на край стула, тесно сдвинув колени. Обута была она в старенькие кеды. Из дырки в одном из них на пол просочилась жидкая струйка серого песка. «С пляжа, — отметил про себя Володя, — с улицы Берег реки», — и, вспомнив длинную белую табличку, улыбнулся.

— Меня Валея зовут, — сообщила девушка и тут же поправилась, снова зашпешила: — Я Евтеева Валентина Сергеевна, пятьдесят четвертого года рождения. Комсомолка. Что еще? Школу окончила в этом году.

— И хочешь в училище? — спросил подполковник.

— Да, хочу, — подтвердила девушка.

— В военное?

— Да.

— В летное?

— Да...

Девушка потупилась, увидела на полу горку песка и, вспыхнув, наступила на нее — спрятала.

— В летные училища, дорогая моя товарищ Евтеева, принимают только мужчины, — сказал подполковник. — И то не все, а здоровые и подготовленные. Женщина в училище — неслыханное дело. Ну, когда еще преподаватель, из гражданских... Историю там, литературу...

Девушка упрямо сжала губы.

— Кузьма Иванович, — вмешался Володя, — здесь какое-то недоразумение. Зачем вам училище? — повернулся он к девушке. — Вы летчицей хотите стать?

— Нет, — ответила девушка.

— Ничего не понимаю, — затряс головой подполковник. — Весь сыр-бор тогда к чему? Ты что, — нахмурился он, — разыгрывать нас сюда пришла, головы нам морочить? Мы тебе не дети, товарищ Евтеева, ты это учти.

— Кем я хочу стать? — подняла голову девушка. — Космонавтом, вот кем!

— Ого! — выдохнул подполковник. — Это ты заманулась! Будь мы в Москве, хотя бы в городе покрупнее, я бы тебя в аэроклуб направил, по линии ДОСААФ. А в наших условиях, — он развел руками, — радио, автомото... В Доме пионеров ребятня модельки всякие лепит. Чем я могу тебе помочь?

— А в летное училище, значит, нельзя? — спросила девушка, поднимаясь.

— Даже думать нечего, — ответил подполковник.

— Тогда извините, — сказала девушка и неожиданно быстро бросилась к дверям.

— Видал? — растерянно спросил подполковник, когда дверь за девушкой затворилась. — Такие, брат, дела. Ай да Евтеева, образца пятьдесят четвертого года!

Володя вскочил и прошелся по тесному кабинету, остановился у окна, ковырнул белую замазку.

— Я ее на берегу видел, — сказал он, — работала со скалкой. Настойчивая, видно, девушка. Кузьма Иванович, а что, действительно ничем нельзя помочь?

— Абсолютно ничем, — вздохнул подполковник. — Сам посуди. Возможности у нас... Аэроклуба нет... А ее тоже Валентиной зовут, заметил? Вот, скажу я тебе, незадача!

В окно Володя видел, как нахохлившаяся девушка подошла к велосипеду. Мальчишка спросил у нее о чем-то, и она безнадежно махнула рукой. Володе вспомнился вдруг заставленный кроватями, огромный спортивный зал училища, бледный Сережка Лускарев... Он решительно шагнул к двери:

— Надо поговорить с ней. Надеюсь человек, планы строил, а тут такое разочарование! Я пойду, Кузьма Иванович, догоню ее.

Подполковник кивнул, соглашаясь.

— Завтра обязательно загляни ко мне, — сказал он, напустывая Володю. — Хочу, чтобы ты с кандидатами в училище беседу провел. Срок уточним, время. Буду ждать...

Володя вышел из кабинета.

6

Когда Володя явился к Сережке Лускареву среди ночи и сообщил, что готов поступить в училище, обрадованный Сергей нарушил свой «железный» режим, и они проболтали до рассвета.

Через несколько дней они вдвоем пошли в военкомат, где год назад получали приписные свидетельства, и, смущаясь, объявили о своем желании. Их смущения никто не заметил. Нужные бумаги были оформлены быстро и деловито.

Радужного настроения друзей не испортила даже беседа с мужчиной неопределенных лет, которого они встретили в военкомате. Мужчина был одет в офицерскую форму, но вместо погон темнели полоски невыцветшей ткани.

— Напрасно радуетесь, птенчики, — горько усмехаясь, сказал он. — Ничего, лет двадцать погоняют вас по частям — поскуцнете. Узнаете, чего они, погоны, стоят.

Друзья с рассеянной вежливостью выслушали его.

— Неудачник, — шепнул Сергей.

На следующий день они уезжали.

Их провожала Людмила Михайловна — мать Сережи. Володин отец работал во вторую смену и потому не пришел.

Медленно подкатил поезд. Из-за спин равнодушных проводниц в черных беретках выглядывали пассажиры.

— Стоянка — пять минут, — объявили по радио.

Пассажиры кинулись к киоскам. Людмила Михайловна расцеловала обоих мальчиков и прослезилась.

— Что ты, мама? — смущенно сказал Сергей. — Ведь все в порядке. И неудобно, люди кругом. Перестань, пожалуйста! Вон он, наш вагон.

Володя подхватил два легких чемоданчика и вдруг остановился. Из высоких вокзальных дверей, сторонясь спешащих и припадая на больную ногу, вышла Анюта. К груди она прижимала какой-то сверток.

— Гляди, Серега, Нюрочка пришла, — сказал Во-

лодя, толкая друга локтем.— Эй, Анюта,— крикнул он,— сюда!

— Анюта, мы тут! — поддакнул Сергей.

Анюта вытянула шею, увидела друзей, расцвела и неуклюже зашепила к ним. Людмила Михайловна смахнула со щеки слезинку и покосилась на большие вокзальные часы. Володя и Сергей переглянулись.

— Ой, мальчишки,— сказала Анюта, задыхаясь от смущения и быстрой ходьбы.— Я так спешила, боялась опоздать. Счастливого вам пути! Ни пуха ни пера!

— К черту,— неуверенно ответил Володя.— Я тебе книжку так и не вернул, Беляева. Извини. Знаешь, где я живу? К отцу зайди, он отдаст.

— Господи, какие пустяки! — отмахнулась Анюта.— Сама-то ты куда, Аня? — спросил Сергей.— В Москву? В университет?

— Да, на биологический,— ответила она.— Тоже скоро поеду: там экзамены раньше, чем везде.

Она оглядела друзей, не зная, кому отдать сверток, и протянула его Володе. Он взял чемоданы в одну руку и сунул сверток под мышку.

На вокзальных часах дрогнула стрелка.

— Мальчики, опоздаете,— заторопила друзей Людмила Михайловна.— Мальчики, заходите в вагон!

Когда Володя и Сергей вошли в тамбур, она вдруг засуетилась, все оглядываясь на неумолимые часы, и стала совать в карман сыну сложенные в квадратик деньги.

Сергей покраснел.

— Что ты, мама? — отталкивая ее руки, сказал он.— Мы же куда едем? Там государственное обеспечение...

Проводница, услышав слово «государственное», оглядела друзей, но тут же потеряла к ним всякий интерес.

Вагон дрогнул и тихо поплыл вперед. Проводница втащила в тамбур замешкавшегося пассажира и, ворча, с силой захлопнула вагонную дверь, заперла ее трехгранным ключом. Друзья, мешая друг другу, приникли к пыльным стеклам. Анюта махала рукой. Людмила Михайловна подносила к глазам платочек.

Эх, дороги, пыль да туман... —

пропел Сергей, стараясь казаться веселым.

Володя развернул сверток, который всучила ему Анюта, и улыбнулся: два металлических портсигара с выдавленными на крышках богатырями лежали в нем и два почтовых набора. В каждом записка: «Не забывайте наши адреса».

— Ничего себе презент для некурящих,— сказал Володя, подергав портсигарные резинки.— Гляди, Серега! Что она, нас с Аликом Окладниковым спутала?

— Да, да,— рассеянно ответил Сергей.— Пойдем поспим. Приедем в три часа ночи. Надо силы сбереечь, форму...

Матрацев в общем вагоне не полагалось, а те, что были, проводница раздала пассажирам с детьми. Она по-прежнему ворчала на каждого.

Володя и Сергей растянулись на верхних полках. Закинув за голову руки, Володя думал о будущем: рев моторов и свист пурги, тяжелые унты из волчьего меха, планшет с картой, бьющий сбоку по бедру, в наушниках слова команд, а где-то далеко внизу — дома, как спичечные коробки, и желтые прямоугольные поля...

А в училище все оказалось не так, как это представлялось в дороге: не было ни планшетов, ни унтов.

Поступающих ожидали две комиссии — мандатная и медицинская, а потом экзамены. Ребята, приехавшие поступать повторно, а их было несколько человек, распускали слухи о придирчивости и дотошности комиссий и сверхсвирепых экзаменаторах. Володя

понимал, что этими преувеличениями они хотели оправдать свои прошлогодние неудачи, но робость все равно потихоньку овладевала им. Сергей бодрился и, помня о своей роли опекуна, старался, как мог, передать часть своей чуточку наигранной бодрости другу.

— Крепись, Морковка,— говорил он, хлопая Володю по спине.— Надо сделать так, чтобы мы попали в одно отделение и спали рядом. Четыре года вместе, представляешь? А потом попросимся в одну часть. Так можно, я знаю.

И пел, подмигивая, как заговорщик:

Служили два друга в нашем полку.
Пой песню, пой...

Послужить в одном полку им не довелось.

Все произошло быстро и нелепо.

В тот день выносила свои приговоры медицинская комиссия. Непривычно и странно было видеть врачей, одетых в военную форму, которая виднелась из-под халатов. В медицинской комиссии была всего одна женщина. Она каждый день приходила в новом платье. Шепотом сообщали, что она доцент и «светило».

Володя, признанный здоровым и годным, сидел на своей кровати. Кровати стояли в спортивном зале — одинаковые, впритык друг к другу. Сидеть на них запрещалось, но дело было уже под вечер, и Володя запретом пренебрег. «Мы же еще не военные,— рассудил он.— А стульев все равно нет».

Он написал отцу коротенькое письмо и заклеил конверт, взяв его из почтового набора, подаренного Анютой. Конверты из набора были длиннее обычных и праздничнее — с яркими большими марками. Они больше подходили для длинных, с лирикой, любовных посланий, чем для коротеньких вестей: «Прошел комиссию, все в порядке», — и Володя задумался, не написать ли Оле.

От размышлений его оторвал Сергей.

Он тихо проскользнул в двойные двери спортзала, стукнул кулаком по гимнастическому «козлу», обитому новой кожей, который стоял у дверей и, глядя вверх, на подтянутые к самому потолку желтые кольца, прошел к своей кровати.

— Ну как, Серега? — спросил Володя.— А я тут письма пишу. Смотри, Анютин конверт — симпатичный, правда?

Сергей не ответил и плюхнулся на кровать, лицом в тощую подушку. Володя вскочил и наклонился над ним.

— Что случилось, Серега?

— Ничего,— глухо ответил тот.— Ничего,— повторил он и внезапно сел на кровати.— Плевать я хотел на вашу авиацию, вот что! А больше ничего! Ничего особенного! Подумаешь! Все равно вас ракетами заменят, не радуйтесь.

— Да кто радуется, чудак? — растерянно спросил Володя.

Сергей закрыл глаза кулаками и заплакал. Плечи его затряслись. Что-то тонко, как зубная боль, задребезжало под кроватью. Володя едва удержался, чтобы не заглянуть туда, хотя знал, что там ничего нет, не должно быть.

«Забраковали Серегу,— догадался он.— Не пропустили. Меня вот пропустили, а его нет. Но ведь неправильно! Несправедливо! Он мечтал, а я... я сбоку припека». В том, что он уже свыкся с мыслью быть летчиком, что не представляет теперь своего будущего иначе, Володя в эту минуту постеснялся признаться даже самому себе.

— Хочешь, я тоже откажусь поступать? — спросил он.— Вот пойду завтра и скажу, что раздумал. Отпустят, обязаны отпустить. И вместе поедем домой.

Сереекиного ответа он ждал со страхом, не зная, что станет делать, если Сергей вдруг скажет: «Правильно, откажись»,— но Сергей, отворачиваясь, про бурчал:

— Не надо жертв, обойдусь как-нибудь. И пойдй погуляй, что ли? Хочу один побыть, извини!

Володя послушно вышел. «Пойду на почту»,— решил он, но вспомнил, что забыл письмо на подушке.

7

Девушка, понурив голову, вела похожий на рогатое животное велосипед. Ее паж шагал поодаль, загребая ногами дорожную пыль. Володя помахал рукой приникшему к окну подполковнику и пустился вдогонку.

— Погодите! — крикнул он.

Девушка обернулась не сразу.

— Да?... хмуро спросила она.

Глаза у нее были заплаканные, но держалась она хорошо. Володя это сразу отметил.

— Понимаете,— сказал он, поравнявшись с ней,— я ведь военный летчик. Сейчас в отпуске. Хочу поговорить с вами о вашей меч... о ваших планах.

Девушка с недоверием оглядела Володин штатский костюм, потом улыбнулась: поверила. Отдала мальчишке велосипед и что-то шепотом приказала ему. Мальчишка ловко перекинул ногу через велосипедную раму и, вилляя, поехал. Его ноги едва доставали до педалей.

— Они несбыточны, мои планы,— вздохнула девушка, глядя вслед мальчишке.— Угораздило же меня родиться не мужчиной!

Володя улыбнулся.

— А вы не очень унывайте,— посоветовал он.— Есть ведь иные пути. Терешкова, по-моему, тоже в курсантах не ходила.

— Я знаю,— сказала девушка.— Я про нее почти все прочла. Мы же тезки!

— Я думаю,— продолжал Володя,— вам следует поступить в гражданский вуз — в авиационный институт или в московское Бауманское. Я согласен с вами, космосу нужны герои. Но ему нужны и работники. Это ваш брат? — спросил он, показывая на мальчишку, который выписывал на велосипеде лихие «кренделя».

— Племянник,— ответила девушка и, сложив руки трубочкой, крикнула: — Вовка, домой поезжай! Я на автобусе!

— А меня тоже Владимиром зовут,— с улыбкой сообщил Володя.— Морковкой в детстве дразнили: Возка-Морковка. И мы, выходит, тезки. Так вот о работниках. Небо надо осваивать. Значит, нужны инженеры, ученые. Это же очевидная вещь. Чтобы один спутник запустить, ого-го сколько всего надо: и людей и средств.

— Я вот тоже все думаю: Гагарин и Королев,— ответила девушка, поколебавшись.— Конечно, Королев — ученый, академик. Но Гагарин, он ведь первый! И сам, понимаете, сам все увидел и испытал. Своими глазами, вот что важно! В кабинете все-таки безопасней, чем там,— она подняла глаза,— в космосе.

— А разве ученые — трусы? — спросил Володя.— Неувязка у вас получается. Вы говорите про кабинет ученого, а Феоктистов, Севастьянов, Рукавишников, Волков? Борис Егоров — врач. А генерал Береговой? Он же умница, и знаний, как у доктора наук. Нет, обязательно езжайте в Москву. Будете учиться. Там аэроклубы есть — парашютисты, планисты. Если очень захотите, все у вас получится.



А военные училища оставьте парням. Без них пока никак нельзя, без училищ. И не вешайте носа!

Девушка искоса глянула на Володю, и он вдруг почувствовал себя долго жившим, много видевшим и мудрым человеком. Стариком. Странное это было чувство. «А мне всего-то двадцать восемь»,— подумал он.— Десять лет разницы, и все — другое поколение». Он взглянул на часы и сказал:

— Видите, заговорился я с вами, а мне в магазин. Это тут, неподалеку. Можем вместе пойти, если вы не возражаете. Кстати, — он улыбнулся,— может потребоваться женская консультация.

— Да, да, пойдёмте,— согласилась девушка.— А можно у вас спросить? Почему вы вдруг решили, что меня... нужно утешать?

— Не знаю,— признался Володя.— Утешитель из меня, конечно, никакой. Слез я вытирать не умею. Мы ведь в училище, куда вы рветесь, вместе с дру-

гом поступали. Меня-то приняли, а его нет. Что-то со здоровьем. Такое, знаете, микроскопическое. А уж как он мечтал о небе! Его я тоже не смог утешить.

— И где же он сейчас, ваш друг?— спросила девушка.

— Решил, что возвращаться домой ни с чем стыдно, и подался в другое училище. Тут еще одна штука была. Знаете, что такое «государственное обеспечение»? А у него только мать, и жили они скудно. Теперь служит в погранвойсках. Женится.

— А вы?— требовательно спросила девушка.— Почему вы стали летчиком? Вы тоже мечтали?

Володя развел руками.

После слов «А вы?» он ожидал, что девушка спросит, женат ли он, и теперь почувствовал облегчение. «Как барышня, нервный стал,— с иронией подумал он о себе.— Допекли меня»,— и, не выдержав, улыбнулся.

— Я о многом мечтал,— сказал он.— Ухитрялся сразу как-то обо всем и ни о чем конкретно. Так, розовые слюни. Сегодня то, а завтра это. Вот если скажу, что летчиком стал потому, что у меня красной рубашки не было, все равно не поверите. Но это так, хотя имелись, конечно, и другие причины...

Девушка глянула на Володю с любопытством и недоверием, однако расспрашивать ни о чем не стала.

На этот раз хозяйственный магазин был открыт. Бумажка «Ушла в торг» исчезла, но вторая, загадочная, продолжала висеть. «Нет и неизвестно»,— про себя повторил Володя и покрутил головой.

— Раскройте тайну: чего у вас нет и что вам неизвестно?— весело спросил он, войдя в тесный залчик, заставленный громоздкими товарами: ведрами с крышками и без, соко- и кофеварками, настольными лампами разных форматов, подставками для гладки белья, шатками торшерами и вешалками для шляп.

Полная продавщица и ее пожилая помощница в синем грубом халате испуганно обернулись. Володя менее уверенно и весело повторил свой вопрос.

— Ах, да,— с облегчением засмеялась продавщица, и ее голые руки затряслись.— Это вы на двери прочитали! Крышек у нас для банок нет — для консервирования. Все варенье варят, разве напасешься?

— Вон оно что,— сказал Володя.— Нам крышек не надо, нам нужна стиральная машина. Но хорошая.

— Наличными будете платить, в кредит?— деловито осведомилась продавщица.— В какую цену?

Ее помощница, покачивая головой, разглядывала Валу. Ее, видимо, шокировали Валины брюки. Валя, чувствуя на себе недоброежелательный взгляд и смущаясь, старалась держаться поближе к Володе.

— Наличными,— сказал он.— Какой кредит? Цена не играет роли. Но хорошую. Какую посоветуете?

— Сами выбирайте,— ответила продавщица.— Вот, берите «Сибирь» — раз дороже всех, значит, лучше.

— Давайте «Ригу»,— шепнула Валя.— У сестры такая же. Она ее очень хвалит. И дешево!

— Вот видите,— улыбнулся Володя.— В таких делах нельзя без женской консультации. А «Рига» у вас есть? — громко спросил он.— Мы «Ригу» купить решили.

Продавщица, широко расставив локти, вышла из-за прилавка. Полнота не позволяла ей прижать локти к бокам. Володя внимательно вгляделся в ее лицо, но не смог вспомнить, где видел его раньше. Подумал: «Где-нибудь...» — и сказал:

— Без кассира обходитесь?— и полез в карман за деньгами.

— Обходимся, ничего,— подтвердила продавщица.— Испытывать будете?

Володя нерешительно дернул плечом.

— Обязательно,— неожиданно вмешалась Валя.— А вдруг мотор не тянет?

— А у них гарантия есть,— лениво отозвалась продавщица.— Не тянет — в мастерскую.

Но Валя настояла, и мотор машины немного погудел вхолостую. Володя, сколько ни вслушивался, не нашел в его гуле ничего предосудительного, а Валя осталась недовольной. Включили вторую машину, третью, потом вернулись ко второй. На ней Валя решила остановиться. «Ишь ты, деловитая какая! — с удивлением подумал Володя.— Кажется, витает, не от мира сего, а гляди-ка ты...» Он отсчитал деньги и получил сдачу.

Продавщица спрятала деньги в большой потертый кошель, похожий на кондукторскую сумку.

— Тут ходит один, с тележкой,— небрежно сообщила она.— Может довести.

Володя сунул в карман паспорт машины, в котором продавщица оттиснула лиловый штамп.

— Обойдемся,— сказал он и, кряхтя, взвалил на плечо картонный короб с машиной.— Откройте кто-нибудь дверь.

Выходя, он услышал, как тетка в синем халате, не проронившая до сих пор ни слова, сказала шелестящим шепотом:

— В штанах, срам-то какой! Сестра она ему? Для жены — молодая. Командует...

— Он военный, я его знаю,— ответила продавщица.— У него сестер нет. А насчет жены... Знаешь, из молодых теперь тоже ранние бывают...

Что она говорила потом, Володя не услышал. «А что? — косясь на тонкую девичью фигурку, стоящую в дверном проеме, как в раме, подумал он.— Хорошая девочка, милая и — с мечтой! — И тут же, устыдившись того, о чем и подумать еще не успел, одернул себя.— Ей же учиться надо. Вдруг добьется чего-нибудь? Та, в аэропорту, тоже в брюках была», — и вздохнул.

8

Володя летел тогда в свой первый отпуск. В гражданском самолете он чувствовал себя шофером начала века, которого усадили к извозчику да не к лихачу, а к ломовому, и повезли шагом, на потеху зевакам. Даже внушительная орденская колодка на груди командира экипажа не избавила Володю от скептицизма. Ему казалось, что самолет едва плетется. Он зевал, впрочем, наполювину притворно.

Посадка в промежуточном аэропорту затянулась. Наступил долгий летний вечер. Хотя погода стояла великолепная и на бледном небе не было и намека на облачность, в полутемное чрево сто четвертого «ТУ» заглянула женщина в аэрофлотской форме. Покачивалась ее высокая прическа.

— Рейс откладывается из-за метеоусловий,— громко объявила она.— Граждане пассажиры, прошу покинуть борт самолета.

Граждане пассажиры, недовольно ворча, стали подниматься со своих мест. Кого-то пришлось расталкивать.

— А? Что? Уже Домодедово? — всполошился дядька в клетчатом пиджаке, которого разбудили. Узнав, что до Домодедова еще очень далеко, он пал духом и пожаловался: — Терпеть не могу все эти взлеты, посадки...

Володя потянулся за фуражкой. Чтобы пропустить красивую молодую женщину, ему пришлось снова сесть — стоять мешали спинки кресел. Красавица копалась в сумке. Володя, успевший привыкнуть к



тому, что женщин вокруг мало и все они чужие жены, внимательно поглядел ей вслед и увидел, что она в брюках.

— Штучка, а, лейтенант?— спросил разбуженный дядька, одергивая свой клетчатый пиджачок, и подмигнул Володе: — Штучка в брючках.

«Да, хороша, нет слов,— подумал Володя.— С такой бы дома появиться! Оляка бы ахнула, мужняя жена».

Володя любил военную форму.

Когда случалось стоять перед зеркалом, он обязательно представлял себе, как на его погонах с одним голубым просветом появляется третья звездочка, затем — четвертая, а потом просветов становится два: он майор, подполковник, полковник...

И светлый генеральский китель представлялся ему и золотые зигзаги на погонах. Он знал поговорку насчет этих зигзагов, но не мог произнести ее вслух — никак не подворачивался подходящий случай.

Он понимал, конечно, что все это — просто мальчишество, но... но все-таки неплохо было бы нарочито медленно пройти мимо окон дома Шлычкиных в генеральской или, на худой конец, в полковничьей форме — показать Оляке, кого она потеряла.

Все четыре училищных года Володя посылал Оле коротенькие открытки — поздравлял ее с каждым праздником, но, когда приезжал домой, встреч с ней избегал — не хотел показываться ей в курсантской форме, которая отличалась от обычной солдатской только погонами. А оказалось, что не в форме дело.

Тетя Фрося написала Володе, что Ольга неожиданно для всех вышла замуж за приезжего парня — мастера с завода, на котором работал отец. Тетка подробно описала свадьбу и то, как Петруха, выпив, хвастался, какой молодец у него зять.

Это известие Володю огорчило.

...Пассажиров усадили в автопоезд — в открытые и какие-то игрушечные вагончики, а пилоты отправились через все поле пешком, и у всех у них были одинаковые черные портфели. Володе вдруг ужасно захотелось идти с ними вместе, лениво перебрасываясь словами, и чтобы эта, в брюках, смотрела им вслед.

«Эта, в брюках» внимательно смотрела на свои ногти.

Автопоезд катил мимо строящегося здания аэропорта. «Как в зоопарке,— с обидой думал Володя.— Еще бы пони запрягли, для полного сходства». Не-

предвиденная задержка заметно расстроила его, хотя спешить ему особенно было некуда.

— Где-то гроза сейчас, не иначе,— сообщил клетчатый пиджачок и, будто умываясь, ладонями потер заспанное, помятое лицо. — Вы в ВВС тоже грозы боитесь, а, лейтенант?

— У нас другие порядки,— буркнул Володя.— А откуда вам известно, что гроза? Вы же спали!

— У него с господом богом прямой провод,— пошутил кто-то из пассажиров.

«Эта, в брюках» подняла голову и улыбнулась.

Здание аэропорта только строилось, и пассажиры отвезли прямо в гостиницу. Полная, русая и неторопливая женщина, похожая на тетю Фросю, развела их по комнатам. Замешкавшимся пришлось заниматься расставленными в коридоре раскладушки.

Володя положил фуражку на подушку, но тут же снял ее: увидел, как «эта, в брюках» с обреченным видом топчется возле раскладушки и кусает губы.

Воспользовавшись минутным замешательством Володи, дядька в клетчатом пиджаке плюхнулся на кровать, смятая белые простыни, и сразу же потянулся к ботинкам — развязывать шнурки.

— Э, нет, папаша,— опомнившись, сказал Володя.— Номер не пройдет! Это место для девушки!

Володя ожидал, что завяжется спор, может быть, даже ссора, но дядька покорно поднялся, одернул пиджак и, сопя, вышел в коридор.

— Тоже мне, рыцари!— сказал он уже за дверью и почему-то во множественном числе.

Володю это развеселило.

— Девушка!— окликнул он «эту, в брюках» и указал на кровать.— Ваше место!

«Эта, в брюках» долго отнекивалась, но Володя все-таки сумел уговорить ее, и они поменялись местами.

Девушка сразу же сбросила туфли, прошептала:

— Господи, какие все-таки неудобные кресла в этих самолетах,— и легла.

И было странно видеть ее маленькие узкие ступни, обтянутые прозрачными чулками. Володя, застыдившись чего-то, отправился бродить по длинному, заставленному раскладушками коридору. Фуражку он оставил на подушке.

В холле, где на хрупких черных ножках стоял неработающий, прикрытый салфеткой телевизор, за круглым столом уже сидели любители преферанса. Посреди стола лежал небрежно расчерченный лист писчей бумаги и многоцветная шариковая ручка. Человек, пытавшийся захватить кровать, сосредоточенно глядел в свои карты и бормотал:

— Раз — пас, два паса, в прикупе чудеса...

«И зачем ему была кровать, он же в самолете выспался?»— глядя на него, подумал Володя. Немного помаячив за спинами игроков, Володя вышел на лестницу, в сизые облака табачного дыма.

Сумасбродный план зрел у него в голове. Больше всего Володе нравилось то, что план сумасбродный. «Вот подойду к ней,— думал он,— расскажу все как на духу, и попрошу поехать со мной, хоть на пару дней. Посмеется, конечно, но вдруг согласится? А что?— Он тронул карман.— Деньги есть. Не съедят же ее у нас. А папа обалдеет — это точно!»

И потом, осторожно заглянув в комнату и увидев, что девушка в брюках спит, прикрыв лицо газовой зеленой косынкой, Володя еще раз представил себе, как удивится отец, когда увидит нежданную гостью.

Посадку на рейс объявили неожиданно, в два часа ночи по местному времени. Преферансисты принялись торопливо расписывать пульку. Женщина, похожая на тетю Фросю, прошла по коридору, за-

девая лица спящих полами халата, и всюду, где можно, зажгла свет.

— Па-а-адем!— на армейский манер гаркнул какой-то озорник.

Кто-то ради потехи кукарекнул, кто-то выругался в полный голос.

Через полчаса недовольные и молчаливые пассажиры толпились возле темного самолета. Помахивая портфелями, подошли гражданские летчики, встали отдельно, под крылом. Долго ждали трап. Светили холодные звезды. Далеко за взлетными полосами мигали робкие огоньки спящего города. Посверкивая, как елочная игрушка, бортовыми огнями, прошел на посадку пузатый самолет. «Десятый АН,— мельком подумал Володя.— Брюхо красное — северный».

К Володе приблизился дядька-преферансист. Он, очевидно, остался в выигрыше и потому не помнил зла и был весел.

— Как успехи, лейтенант?— спросил он.

— Как генеральские погони...— ответил Володя.

Возможность произнести поговорку, давно вертевшуюся на языке, нисколько его не порадовала.

—...одни зигзаги, и ни одного просвета,— закончил за него преферансист.

«Точно, в выигрыше»,— решил Володя.

Трап наконец подкатил, но началась канитель с проверкой билетов. Володя отошел в сторонку. Он не сводил глаз с девушки в брюках. И, почувствовав на себе его взгляд, она сама вдруг подошла к нему и сказала:

— Вы все время смотрите на меня. У меня что, костюм не в порядке? Или вы что-нибудь хотели спросить?

Володя растерялся.

— Н-нет, ничего...— сказал он.— Извините!

Девушка кивнула и отошла. Косынка, которой она прикрывала лицо, когда спала, была теперь, как пионерский галстук, завязана у нее на шее.

«Ну, авантюрист из меня!.. Оробел, не спросил даже, как зовут, олух царя небесного»,— подумал Володя, когда взглянул на нее в последний раз.

Это было уже в Домодедове, ранним-ранним синим утром. Девушка разговаривала с пожилой представительной женщиной. Она взмахивала завернутыми в целлофан цветами и смеялась. У ее ног стоял красивый кожаный чемодан.

9

— А я думала, что вы сильней,— сказала Валя. — Я тоже так думал,— тяжело дыша, ответил Володя.— Неудобная, черт! Вроде круглая, а ребра какие-то торчат. Придержите кальитку.

Он поставил тяжелый короб на землю и потер натруженное плечо. «И ко всему, кажется, опоздал,— подумал он, увидев белье, развешанное на веревках.— Неугомонный у меня старик...»

Из-за угла, легкий на помине, выглянул отец. Его руки до локтей были покрыты серой мыльной пеной. Во рту тлела папироска. Увидев Валю, отец растерянно мигнул и спрятал руки за спину.

— Я же просил тебя подождать,— с укором сказал Володя.— Получается, что зря старался.

— А в чем дело?— спросил отец, двигая во рту папироску.— Здравствуйтесь,— кивнул он Вале.

— Добрый день,— почти неслышно ответила она.

— А мы механизацию тебе притащили,— сообщил Володя.— Это Валя, она мне помогала. Консультировала, так сказать. А это Андрей Аверьянич,



мой отец. Весьма сложный и упрямый дяденька, надо сказать.

Отец, удивив Володю, отвесил церемонный поклон и не забыв вынуть изо рта папироску, которая тут же намокла, погасла и пожелтела. Валя в ответ присела — сделала реверанс: Володе осталось только развести руками.

— А что за механизация такая? — заинтересованно спросил отец, обходя вокруг коробки.

— Стиральная машина, — беспечно ответил Володя. — Это, знаешь, не дело — белье в корыте квасить.

— Пойду я, — тихо сказала Валя.

— Ни в коем случае, — живо обернулся Володя. — Надо провести испытания. Вы, как специалист, будете подавать советы. Папа, осталось, что стирать?

— Вроде нет, — виновато покашляв, сказал отец.

— А горячая вода?

— Воды много.

— Тогда это все, — Володя показал на белье, висевшее на веревке, — заново перестираем. Чище будет. Идет? Тогда за работу, товарищи!

И все взялись за работу.

Валя поначалу стеснялась, а потом потихоньку вошла во вкус, стала командовать мужчинами. Отец и сын, перемигиваясь, с готовностью выполняли ее приказы. Машина, которой отец отвел постоянное место, уютно гудела. Володя, сунув в карман плоскогубцы и белый лейкопластырь, который использовал вместо изоляционной ленты, вертел ручку отжимного устройства и забавлялся, как маленький. Отжатое белье плюхалось в большой таз с отколовшейся местами эмалью. В машине, как метроном, постукивало реле времени. Валя, вставая на цыпочки, развешивала дважды выстиранное белье.

— Хороша веревочка! — прокричал Володя. — От списанного парашюта, между прочим. Вот бы вам на скакалку! Кстати, а к чему вам песочные часы?

— Часы? Откуда вам известно про часы?

— А я вас с Володей вашим видел на берегу. Решил, что вы готовитесь бить рекорд. Ну, и ушел, чтобы не мешать. Так часы-то вам зачем?

Выяснилось, что Валя искала в книжных магазинах какое-нибудь пособие по физической подготовке. Нашла брошюру о городошном спорте, правила игры в ручной мяч одиннадцать на одиннадцать и «Бокс» — учебник для институтов физической культуры. Он-то, как это ни странно, и оказался самым подходящим.

— А перчаток у вас случаев нет? — притворяясь испуганным, спросил Володя.

— Случаев нет, — ответила Валя, смеясь. — Перчатки — это техническая подготовка и тактика, а я общефизической занимаюсь. Вы зря насчет часов — они чувство времени вырабатывают. А это, знаете, как важно?

— Ну, а другие книжки вы читаете? Художественные? Стихи, например?

— К сочинению по литературе готовилась, читала, — ответила Валя. — Маяковского, Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». А писала на свободную тему: «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвести», — на свободную все-таки легче. А так — нет. Я техническими книгами больше интересуюсь. Только трудно... — вздохнула она.

— И напрасно, — сказал Володя. — Вот есть один поэт, забыл его фамилию. Книжка называется «Дни» — тоненькая. Очень хорошие стихи: про Пушкина, про детство — всякие. Найдите, почитайте.

— Хорошо, поищу, — согласилась Валя. — А вы не очень на офицера похожи, — сказала она, расправляя мокрый рукав зеленой форменной рубашки.

— Почему? — удивился Володя.

— Голос у вас тихий. И вообще...

— Что «вообще»? Усов нет, да? А голос... — Володя вдруг выпятил грудь и рявкнул, багрово: — Р-рота, р-равняйся! Р-рота, смир-рна! Р-равнение напра-у!

И тут, как по заказу, из двери выглянул отец. Валя захлопала в ладоши и расхохоталась. Отец, не понимая еще, в чем дело, нерешительно улыбнулся. В руках он держал белую платяную щетку, а на плече — Володин китель.

«Чистый же китель», — удивился Володя, когда отец деловито взмахнул щеткой. Потом Володя увидел орден, привинченный не на месте, и покраснел. Валя тоже заметила вишневую звездочку и посерьезнела, глянула на Володю с почтением.

— Скажите, а как там, в небе, когда летишь? — шепотом спросила она и вдруг, преодолев смущение, призналась: — Я о космосе все время думаю, а сама ни разу даже на «кукурузнике» не летала. Даже близко не видела его!

— Я же вам советую: езжайте в Москву, — сказал Володя. — Ну не езжайте, а летите, — улыбнулся он. — Получите боевое крещение. Поступите учиться, запишетесь в аэроклуб, а там дело пойдет. Будете еще, как Марина Попович, мировые рекорды бить, удивлять джентльменов из ФАИ. А когда летишь... как описать? — Володя беспомощно развел руками. — Тут надо быть поэтом. А я скажу только, что хорошо... нет, не хорошо, а здорово!

— Скажите, — неожиданно спросила Валя, — зависть — это стыдно или нет?

— Я песню одну слышал, — ответил Володя. — В ней говорится, что зависть бывает разноцветная, как карандаши. А вам завидовать мне нечего: у вас, Валя, еще все-все впереди.

Отец, продолжая помахивать щеткой, прислушивался к разговору. Он все время поворачивался так, чтобы Валя могла видеть орден, а Володя, наоборот, все время старался заслонить его спиной и украдкой взмахивал рукой: уходи, мол, зачем ты меня конфузешь? Отец делал вид, что не замечает этих жестов отчаяния.

— Валечка, — откашлявшись, спросил он, — а вы пойдете с нами? Мы обеда не готовили — в гости собрались. Вас и угостить нечем. Мы к Володиной тете, сестре моей. Уж как она своего племянника дожидается...

— Нет, что вы, Андрей Аверьянович! — испугалась Валя. — Я, пожалуй, лучше домой. У меня там мальчишка без присмотра. Тоже, кстати, племянник...

И, сколько ее ни уговаривали, она действительно ушла, пообещав заглянуть как-нибудь на днях — о чем-то посоветоваться с Володей.

— Хорошая девушка, — похвалил ее отец, закурив очередную папиросу. — Имя-отчество мое с первого разу запомнила, молодец. Где ты ее нашел?

— В военкомате встретились, — сказал Володя. — А ты хорош! Китель вынес, орден нацепил. Нацепил, да не на ту сторону. Оконфузил меня совсем.

— Знаю, что не на ту, — начал оправдываться смущенный отец. — Дырку лишнюю не хотел прорывать, а на этой стороне уже была, дырка-то...

— Хвастунишка ты у меня, — ласково сказал Володя. — А знаешь, эта Валя в космонавты метит, между прочим.

Против ожидания, отец несколько не удивился.

— А почему нет? — рассудил он. — Умная, за все берется. Достигнет! Я вот весной с завода шел — звали одну форму поглядеть, стержней в ней было много, — так одну из твоего класса встретил. Забыл, как зовут. Хроменькая...

— Анюта, — обрадованно подсказал Володя. — Портсигар-то цел, с богатырями? Ее подарок!

— Цел, — ответил отец. — Он под «Беломор», для «Севера» великоватый. Так вот, встретил я ее, по-здоровкались. О тебе спросила, я рассказал. «А как, — говорю, — твои-то дела? Чем занимаешься?» «Учусь, — отвечает, — в аспирантуре». «И кем бу-

дешь?» А она смеется: «Не важно, кем, а важно, что! Только объяснять долго». Ну, мне спешить некуда было, со стержнями я разобрался. «Рассказывай», — говорю.

— И что тебе поведала наша Нюрочка? — улыбаясь, спросил Володя.

— А то! Про технический прогресс. Если, скажем, твою родную прабабку воскресить и к нам привести, она тут же бы второй раз померла, перекреститься бы не успела. От удивления. По улицам телеги ша-стают без лошадей. Вода прямо из стенки течет. Электричество, радио, телевизор — это я уж не говорю. Правнук по небу летает. Как ангел, скажем, или баба-яга в ступе. Как тут не удивиться, сам рас-суди?

— Гм! Действительно, — пробормотал Володя.

Он попытался представить себе эту невероятную картину, и вдруг внезапная догадка поразила его.

— Слушай, — воскликнул он, — она, ну, прабабка, при крепостном праве жила!

— Как? — переспросил отец. — Стой! Точно! Ага! Я с четырнадцатого, мать моя, значит, с... с... А с какого она? — растерянно огляделся он. — Паспорта у нее не было никогда, дня рождения не справляла. Может, Фрося знает? Ну, положим, с восемьдесят четвертого она — родила меня в тридцать лет, а мать ее, моя бабка, — с пятидесят четвертого тогда. Жила не жила, а родилась, точно, крепостная.

— Ста двадцати лет не прошло, — сказал Володя. — Чудеса! А чем тебя Нюрочка наша удивила?

Отец от старой папироски прикурил новую, а старую метким щелчком отправил в помойное ведро. Володя, глядя на это, промолчал, но осуждающе покачал головой.

— Хромоножка меня на такие мысли и натолкнула, — ответил отец. — Ты слушай! Техника вперед скакнула, сделала гигантский шаг. Удобства всякие появились — одним словом, прогресс. А хлеб? Какой деды наши ели, такой и мы едим. Дождик вовремя забрызгал — слава тебе, господи, а засуха случилась, что ж, молебен служить, идти крестным ходом? А град, к примеру? Пахали, сеяли, а он — р-раз!..

— Ну, по граду теперь стреляют, рассеивают, — возразил Володя. — На Кубани, например.

— А твоя подружка другой путь ищет, — сказал отец, сияя так, будто это именно он ищет этот другой путь. — Химия и эта... биология. Все будет и сколько пожелаешь! Уже икру делают. Нет, ты подумай! Говорила: «Землю цветами засею, дадим ей отдохнуть за многие тысячи лет. Маками засею». Понял? Да за такое дело памятник поставят, как Пушкину в Москве!

«Она и в школе такая же была... восторженная, — вспоминая Анюту, думал Володя. — Маки... Они же и цветут-то всего ничего. А потом что — опий из них делать? Хотя... красиво бы, конечно, было. Романтики! Анюта теперь и других зажигать обучилась. Ишь, распалился дед! Памятники готов ставить, монументы! Нет, «вечный хлеб» — это даже в книжках не так просто».

— Ах, чтоб его!.. — воскликнул вдруг отец и безнадежно махнул рукой. — Заговорил ты меня, Володька! Перегорел, наверно, утюжок... Бегу!

Володя вытащил из кармана плоскогубцы и, пощелкивая ими, крикнул в спину отцу:

— Починим, инструмент под рукой!

Двор был полит соленой водой — от пыли. В детстве Володя очень любил растворять соль в ведре. Помешивая детской лопаткой воду, он со сладким ужасом представлял себе, что готовит питье для великана, который выше дома, и решал, добр этот великан или не очень. И сейчас он думал об

этом нехитром и распространенном способе спастись от летней пыли, как о таинстве.

— Кап-кап...— рассеянно сказал Володя и, открыв дверь, вошел в дом, в прохладный полумрак.

В комнате вкусно пахло горячим утюгом. На спинке стула висели выглаженные отцовы брюки. Сам отец стоял перед раскрытой дверцей шкафа. На стук двери он не обернулся. Под его серой рубашкой двигались большие, как крылья, лопатки. Подойдя поближе, Володя увидел, что отец глядит на темно-синее женское пальто без воротника и на ресницах у отца слезы.

— Ты что, папа? — осипшим голосом спросил Володя.

Отец взглянул на него через плечо.

— Не увидела она тебя, — сказал он, — не порадовалась.

10

Это пальто принадлежало Володиной маме.

Она умерла, когда Володя был еще очень мал, и он не запомнил ее в гробу. Изюм долгого дня похорон он помнил только, что откуда-то сильно дуло и кто-то, может быть, тетя Фрося, заставлял его есть рис со сморщенным изюмом. Рис был холодный и какой-то липкий, и Володя, крепко сжав губы, вырывался — не хотел.

Потом, став взрослым, он не раз сталкивался со смертью — в прошлом году нес с друзьями легкий гроб с голубой фуражкой на желтой крышке, и все время боялся, что фуражка соскользнет с гроба, и все время косился на нее, и все время хотел ее придержать, и сдерживался, чтобы не сделать этот неуместный, как ему казалось, жест; но все равно слово «смерть» оказалось для него навсегда связанным с детством, с детскими смутными, легко, казалось бы, излечимыми, но незабываемыми страхами.

Отец много выпил на поминках и плакал в голос, не утирая слез. Испуганного Володю забрала к себе тетя Фрося. Шел мелкий, мерзкий осенний дождь, и она завернула племянника в мамино новое пальто без воротника. Она торопилась, несколько раз едва не шлепнулась в грязь. В кармане пальто что-то брякало — это тетя Фрося предусмотрительно унесла с собой все острое: ножи, ножницы и бритву.

Она уложила племянника на широкую, как стол, лавку и накрыла его тем же самым сыроватым и потому явственно пахнувшим мамой пальто.

— Спи, Вовочка, — пробормотала она, — спи, родненький. Не лисы — какая лиса? — воротника собачьего не нажила твоя мамочка, не успела, и, протяжно всхлипнув, убежала успокаивать отца.

Володя остался один. Уснуть он не мог: мешала лампочка, которую намеренно не выключила тетка. Он не боялся — яркий свет отгонял страхи.

Теткина избенка, «временка», как говорили в те послевоенные времена, была тесно заставлена старыми вещами. На постели, почти достигая потолка, лежали подушки, одна другой больше. Из-под прибитого к стене плаката с плотинами, домами и красными комбайнами, ползущими по желтым полям, выглядывал край затейливого сырого пятна. Игрушек или того, что смогло бы их заменить, у тетки не было.

Впрочем, не было их и у Володи.

Однажды, правда, отец купил ему коня на ма-

леньких деревянных колесах, но жил этот серый, в больших белых яблоках конь очень недолго.

Гривы и хвоста конь лишился сразу, но Володя был в этом не повинен: они вылезли сами по себе. Володя сделал другое: когда мать, опираясь на коромысло, стояла в очереди к водоразборной колонке, он притаился к ней, прижимая к груди лоскуты коричневого картона, поднял на нее свои светлые невинные глазенки, сказал:

— Клава, мясо, — и сложил все, что осталось от коня, у ее ног.

Подражая отцу, маленький Володя часто называл свою мать просто по имени — Клава.

Мать, стесняясь соседок, погладила его по голове.

— Добытчик, — прошептала она.

Больше игрушек Володе не покупали, и он привык обходиться подручными предметами: гильзами — их в достатке разбросала по улицам города война, — зелеными и коричневыми осколками бутылочного стекла и перьями, которые теряли пестрые и тощие соседские куры, — перья, если их подбросить и дуть под них изо всех сил, летали; они заменяли Володе и его сверстникам голубей.

Лавка была широкая, но скользкая, и Володя, потащив за собой пальто, сполз на пол, на коврик, сшитый из ярких лоскутов, — мамино рукоделие. Тетя Фрося все не шла, и Володя заскучал.

Почувствовав под боксом что-то твердое, он сунул руку в карман пальто и, к радости своей, нашупал ножницы. Он очень любил кромсать старые газеты, а однажды в лапшу изрезал новенькую облигацию государственного займа. Мама стала прятать ножницы. И не облигации ей было жалко, а Володиных глаз. Ножницы превратились в запретный и потому всегда желанный предмет. И вдруг они попали в руки к Володе. Это была неожиданная удача. Применение ножницам следовало найти немедленно. Володя огляделся.

Его окружали теткинны вещи.

Изучая плакат, прикрывавший пятно сырости на стене, Володя долго соображал, чужая вещь плакат, если он принадлежит тетке, или своя. Мама строго-настрого запретила трогать чужие вещи, и Володя помнил о запрете. Но тетка была все-таки не чужая, а родственница. Володя помнил и это, однако пробовать остроту ножниц на плакате он так и не посмел.

Единственной своей вещью было мамино пальто.

А у пальто не было воротника. И, удивляясь недогадливости взрослых, Володя решил исправить этот недостаток: ведь если отстричь снизу полоску, то будет совсем незаметно, а на воротник как раз хватит. Останется только пришить его, и все.

Осуществить, однако, это благое намерение оказалось нелегко: драп, хоть и был он невысокого сорта, резать куда труднее, чем газету или даже облигацию. У Володи не хватало силенок, но он старался — пыхтел...

Тетя Фрося вернулась не одна, она привела с собой присмирившего брата. Она не решилась оставить его одного: ей пришло вдруг в голову, что в доме слишком много веревок, а унести их с собой было немислимым делом.

Войдя тихонько, брат и сестра застали Володю спящим. Рядом с ним, поблескивая, валялись раскрытые ножницы.

— Сыночек мой родной! — рыданул отец, смахивая с лица капли дождя и пьяные слезы.

— Не буди, — прошипела тетка. — Ох, Андрюха, и погоревать-то ты как следует не умеешь. Нажрался, сопли разпустил — от людей совестно! А еще фронтовик!

Отец, не отвечая на упреки, сел на лавку, с которой час назад сполз Володя, и закрыл ладонями лицо. Его сапоги были залепаны желтой грязью. Тетка присела, чтобы выдернуть из-под них коврик, и замерла в изумлении.

— Глянь, Андрюшенька,— растерянно сказала она и подняла с полу ножницы.— Что ж он наделал, сиротинушка моя! Пальто мамочкино изрезал — ни продать теперь, ни носить!

— А?

Отец отнял от лица руки и бессмысленно уставился в пространство.

— Вот тебе и «а»! — передразнила тетка.— Сапожищи бы скинул. Раздевайся давай. На пол вас положу.

Отец понял наконец в чем дело, поднял и подержал на весу наполовину откромсанную полу, а потом запустил руку в карман пальто. Володя чмокнул и заворочался во сне. Отец, покосившись на него, осторожно выложил на ладонь ножи и бритву.

— Догадалась ты, Ефросинья,— медленно сказал он.— Как Вова бритву не схватил?..

— У меня другая забота была,— огрызнулась тетка.— Я думала, как бы ты ее не схватил! Меня нечего укорять.— Она вздохнула.— Петруха, застройщик Платонидин, когда тестя своего хоронил, костюмчик весь на нем бритвой — чик-чик! — изрезал. Чтоб не отрыли и не раздели..

— Замолчи,— простонал отец.— Замолчи, Фрося!

Когда погасили свет и отец прижал к себе мирно сопящего Володю, тетя Фрося спросила сверху, с постели:

— С Вовкой как думаешь решить? В деревню его отправить? В очагах-то детских мест нет, я чай? А с пальтом-то что делать? Так бы я на толпу снесла, все рублей семьсот дали бы, хоть и без воротника...

— Повесим,— сказал отец.— Повесим, и пусть висит. Будет память.

II

Навстречу им шел человек. Он нес на плече большое стекло, в котором отражалось солнце. Володя улыбнулся.

— Может, в магазин зайдём? — спросил он, оборачиваясь к отцу.— Торт купим или еще что-нибудь в этом роде?

— Нет, ни в коем случае,— будто бы даже испугался отец.— Фрося обидится. Она сама по пирогам мастерица, а мы ей покупное принесем. Получится вроде оскорбления! Намек! Подарок есть, и хорошо...

— Гладно, смотри сам,— сказал Володя.— Комендуй. Давай в переулок свернем.

— Зачем? — удивился отец.

От него крепко пахло одеколоном.

— А переулками дальше,— улыбнулся Володя.— Ты же сам хотел со мной пройтись, покрасоваться. Или раздумал? А я теперь потей в форме,— пошутил он.

Идти к тетке переулками Володя решил потому, что не хотел проходить мимо дома Шлычкиных. «Утром постоял, хватит,— думал он.— Сейчас она дома уже, наверное. Решит еще, что я неспроста под ее окошками гуляю».

Отец здоровался почти с каждым встречным: гор-

до приподнимал над головой твердую шляпу с прямыми полями. Володя тоже кивал, узнавая почти всех отцовых знакомых. К теткинскому дому он подошел, в досталь наживавшись. От взглядов, которые бросали им вслед знакомые, чесалась спина.

— Вовочка,— обрадовалась тетка.— Владимир Андрейч! Орел ты у нас стал, орел!

Володя сунул фуражку под локоть и протянул тетке подарок: кожаные перчатки. Пока тетка примеряла их, ахала и благодарила, он огляделся.

Круглый, накрытый скатертью с бахромой стол стоял посередине комнаты, а на нем, тоже точно посередине, фаянсовая кошечка. За стеклами книжного шкафа Володя увидел голубые чайные чашки. Вместо прежней кровати с никелированными шишками у стены стоял ядовито-зеленый и громоздкий диван-кровать.

— А где же твои подушки, тетя Фрось? — удивился Володя.

Тетка быстро взглянула на него, подставила под отцову папиросу стеклянную пепельницу и улыбнулась.

— Вечно натрусит пеплу, не вымести потом,— сказала она, будто извиняясь.— А подушки я, Вовочка, в деревню отвезла, продала там. Себе, конечно, одну оставила, а остальные — продала, да... Мода на них, Вовочка, кончилась. А в деревне ничего, даже спасибо сказали. Ох, да чего же это я? — вдруг всполошилась она.— Угощать же вас надо, гости дорогие! Только вот выпить у меня... Винца есть бутылочка, а хорошее, плохое, не разбираюсь я в этом.

Отец хмыкнул и выставил на стол бутылку коньяку, которую тайком от Володи принес с собой.

— Видишь, свое принесли,— сказал он гордо.— Сосуды, между прочим, расширяет!

«Вон почему ты его утром пить не захотел,— подумал, улыбаясь, Володя.— Отнекивался: «Непривычно!» Похвастаться, значит, решил! Тщеславный же ты у меня старичок, ох, и тщеславный!»

Тетка унеслась в кухню, загремела там посудой.

— Слышь, Фрось,— разглядывая коньячную этикетку, прокричал отец,— а племянничек-то твой мне подарок преподнес! Это, стирал я, гляжу, тащит! Машину стиральную приволок! Холодильник хотел, да я отказался. У меня погреб имеется, холодильник мне ни к чему!

— Будет врать-то,— возразила тетка, заглядывая в дверь.— Холодильники — в очередь, по открыткам.

Отец, несколько не сконфуженный, помахал указательным пальцем.

— Кому в очередь, а кому... — сказал он.— Вовка с Таискиной подружкой гулял, ему бы она не отказала.

«Вот это кто был,— подумал Володя, вспоминая полную не по годам продавщицу.— Как это я не узнал ее? Непонятно!»

— Молодец, Вовочка,— похвалила тетка.— Облегчил папе своему жизнь. Стирать — мужское разведло? А я не могу, у меня, Вовочка, сердце.— Она осторожно прижала к пухлой груди ладонь.— И так иной раз зайдет, так зайдет...

— Сейчас коньячку хлебнешь и забудешь,— перебил ее брат.— Черчилль вон по бутылке в день пил, потому и жил сто лет. А если бы политикой не занимался, не нервничал, все двести бы прожил. А то он все на Советский Союз зло копил...

— А ты у нас политик, пала,— сказал Володя, вставая.— Тетя Фрося, я тебе помогу.

Когда тетка и племянник накрыли на стол, когда тетка, недовольно ворча, унесла пепельницу и выбросила из нее окурки, когда Володя снял и посебил на спинку стула свой китель, когда отец напол-

нил стопки, а они больше походили на хрустальные, чем те, которые он хранил в своем буфете, в окно вдруг постучали.

Тетка сорвалась с места, побежала открывать.

Отец подмигнул сыну, прошептал:

— Давай, сынок, пока начальства в юбке нету, — и потянул ко рту стопку.

Володя выпил и прислушался.

— Ефросинья Аверьяновна, — торопливо говорил знакомый женский голос, — Тая насчет крышек узнать просила: нужны вам они или нет?

— Так ведь как сказать, Оленька? — громко и певуче отвечала тетка. — Варить если, мороки много. А что мне надо, одной-то? Гости ко мне редко ходят, угощать некого. С другой стороны, скучно без варенья. Малинки-т я уж наварю — лекарственная штука. Нужны, передай, милая, нужны!

Володя вскочил и вышел в кухню. «А память все-таки приукрашивает всегда», — успел подумать он, увидев Олю, и сказал:

— Здравствуй, Ольга Петровна. Давно не видел тебя! Зайди, посиди с нами!

— А и правда, Оленька, зайди, — засуетилась тетка. — Учились вместе — есть о чем поговорить. Посидите, друзей вспомните. А мы, старики, порадуемся на вас.

Оля, поломавшись для виду, согласилась.

Володя уступил ей свой стул, а себе принес из кухни голубую табуретку — точно такие же стояли у них дома. Оля села на стул осторожно, боясь помять висевший на спинке китель, а сверток, с которым пришла, положила на колени. Тем, что она не заметила его ордена, Володя остался и доволен и недоволен.

Отец многозначительно переглянулся с теткой, потом поманил ее пальцем и что-то зашептал. «Про Валю докладывает», — догадался Володя и громко сказал, постукав вилкой по столочке:

— Что у вас там за секреты? В обществе секретов нет. Ты лучше, папа, налей!

— Ты не сердись, — наклонившись к нему, шепнула Оля, — я ведь случайно зашла, не ожидала...

— Непознанная необходимость, — усмехнулся Володя.

— Что ты говоришь? — не поняла Оля.

— Случайность — это непознанная необходимость, — повторил Володя. — Энгельс так утверждал. На Олиной щеке вспыхнуло красное пятно.

— Мне Таиска сказала, что ты в городе, — шепотом призналась она. — Вот я и зашла — узнать. Не думала, что ты здесь.

— Я понимаю, — кивнул Володя. — Как ребята наши? Как ты сама?

— Я? — замялась Оля. — Живу. А ребята... Алик Окладников на танцах играет, вроде руководителя. Трезвым редко увидишь. Анюта диссертацию защитила. Очень Вака какого-то опасалась. Но ничего, видно, обошлось.

— ВАК — это комиссия такая, аттестационная, — пояснил Володя. — Я слышал, она землю маками засеять хочет. Правда?

— Замуж она хочет, — сказала Оля, не поднимая глаз. — Семью, детей своих. Плачет, так хочет. А кто ее возьмет, хоть и ученая она теперь.

— Да, жалко, — ответил Володя. — Я одну такую встречал. В командировке мы были, в другом округе. С тем самым подполковником, папа, у которого семеро, — повысил он голос. — В гостинице номеров нет: комиссия какая-то прибыла — сплошь полковники! Но раскладушки нам пообещали. Пошли мы в ресторан перекусить. Поздно уже было...

Отец покосился на тетку...

— Слыхала? — спросил он. — В люди твой племянник вышел. Есть захотел — в ресторан!

И непонятно было, гордится он сыном или осуждает его.

— Поздно уже было, — повторил Володя, — все закрыто. Еле место себе нашли — стол длинный, на шестерых, — сели с краю, заказали по горячему, ждем. А за столом девушка сидит. Красивая, глазищи — о! как блюдца! Лейтенанты к ней со всего зала — танцевать приглашают. Всем отказывает, хотя и видно, что пришла одна. Ну, мы покушали и ушли. Боялись, что и раскладушек нам не достанется.

— И что? — спросил, закуривая, отец. — Смысл где?

— А то, — рассердился Володя. — За шинелями очередь была, и мы пошли к дежурной без шинелей. Ресторан-то при гостинице, на втором этаже. А когда вернулись, она по лестнице спускалась, нам навстречу.

— Ну? — продолжал настаивать отец.

— Баранки гнул! — распалился Володя. — Хромая она была, как наша Анюта! Швейцар сказал, что она к ним почти каждый вечер ходит и сидит до закрытия. Ног-то не видно под столом. А уходит последняя, чтобы никто не видел. Вот тебе и «ну»!

Отец вынул изо рта папироску и покрутил головой.

— Это тут действительно есть... психология, — сказал он. — Личная жизнь — вещество тонкое. Таким людям и помочь не можешь и отворачиваться нельзя. Всюду клин, как говорится.

— Я тебе давно передать хотела, — сказала Оля, трогая лежавший у нее на коленях сверток. — Вот через Ефросинью Аверьяновну. Возьми.

Володя нерешительно принял легкий и мягкий сверток.

— А что там? — спросил он.

— Сам погляди, — ответила Оля.

Володя отодрал клоч бумаги и увидел красное. «Рубаха», — тут же догадался он.

— Я тебе еще тогда ее подарить хотела, — сказала Оля. — Только б ты не взял. Ты гордый был, — усмехнулась она. — Потом и не зашел ни разу. Задавался!

— Нет, стеснялся скорей, — признался Володя. — Хотелось сначала достичь чего-нибудь, а потом уж приходить.

— С девчонками молодыми по городу шататься не стесняешься, — вздохнула Оля. — Зачем она тебе? Что у вас общего?

«Таиска насплетничала, — пронеслось у Володи в голове. — Женский телеграф — немислимая скорость».

— Общего?.. — переспросил он. — Как тебе сказать? Небо. — Он на мгновение задумался. — Да, пожалуй, что так и есть.

— Вовочка, Оля, вы ничего не едите, — раздался заботливый голос тети Фроси. — Попробуйте холодца! А то растает!

Станислав Куняев



Моя обновленная Родина!
Должно быть, на голос ее
душа от рожденья настроена,
чтоб ты не впадал в забытье,
чтоб дальнему эху наследовал,
родные глаголы склонял,
и зову судьбы соответствовал,
и на ветер слезы ронял.



Не то чтобы я захмелел,
забыв о времени и славе,
но лед у берегов хрустел,
и ходуном ходили сваи.
Не то чтобы я стал иной,
придя к истлевшему гнездовью,
но рот наполнился весной,
как бы во время драки — кровью.
Соленый вкус лечил меня,
и бремя лет с меня сползло,
покамест мокрая земля
дышала, мучилась, рожала...

Поэзия

Отспорила. Отбушевала,
Сгорела чуть ли не дотла...
Каких людей завоевала!
Каких сердец не сберегла!
Одни вопросы и ответы...
Но, ненавидя и любя,
твои пророки и поэты
не в силах выразить тебя.
Настолько ты непостижима,
что — ради бога — отпусти!
Ловить все, что неуловимо,
я не могу... Прощай! Прости!
Ты снова жаждешь откровенья!
Родного сына пожалей!
Он просит одного — спасенья
от бедной памяти своей.



Как озими, укрытые снегами,
живут и верят, что настанет срок,—
мы будем жить, покамест Пушкин с нами,
мы будем жить, покамест с нами Блок.
Пока шумят леса, рождая воды
великих рек и малых родников,—
мы будем жить, разменивая годы
прошедших дней и будущих веков.



Нет, не жажду ни денег, ни славы —
эти страсти уже позади,
лишь бы только цветущие травы
пробуждали волненье в груди.
Ничего не желаю иного
и добро принимаю и зло,
лишь бы мною рожденное слово
чье-то сердце утешить смогло.
Чтобы стало оно облегченьем
неизвестной, но близкой душе,
чтобы кто-то, объятый лишеньем,
устоял на своем рубеже.



Пока живу, не раз бывал
на днях рожденья и на тризне
и потому нежнее стал
ко всякой невеликой жизни.
Не то чтоб пса пихнуть ногой,
не то чтобы обидеть птицу,
но даже былке полевой
готов порою поклониться.
Но здесь, конечно, ни при чем
слова передовой науки —
все дело в том, что за плечом
раскинулись поля разлуки.
Но все равно, но все равно,
коль кто-то с кем-то расстается,
вспоминанье хоть одно
для новой жизни остается.
Нам надо жить и понимать,
что в мир вступают наши дети,
и нищим надо подавать,
покамест есть они на свете.



Мой друг! Под проливным дождем,
под синим азиатским зноем
мы начинаем наш подъем,
необходимый нам обним.
От временных привалов дым
летит и в поднебесье тает
и над твоим виском седым,
как венчик голубой, витает...
Послушай! В мире высоты
немного проку исподлбья
глядеть, как будто ищешь ты
хороший камень для надгробья.
Мы — как единственная связь,
как стык прошедшего с грядущим,
и только в этом наша власть
над временем, ревмя ревущим.
И если мы не затвердим
его приметы честным словом,—
оно исчезнет, словно дым,
растает в космосе суровом...

Мгновенная очная ставка,
Мгновенный напильник тишины —
И вдруг тротуарною давкой
Все трое вы разлучены,
И снова — в иное, в иное,
Над зыбью привычных забот,
Над сказочною глубиною
Кораблик надежды плавает.

Дом на Васильевском острове

Нет, не в минувшем счастье. Но виден
На склоне лет и на исходе сроков
Спасительная бедность давних дней,
Незамутненность жизненных истоков.
Не ночи вспоминаю — вечера,
Не поцелуй, а рукопожатья;
На девочке с соседнего двора
Заботливо застеганное платье.
И никогда не забудет мной забыть
Огромный дом, массив кирпичной плоти,—
Я помню цокот помовых копыт
В таинственных тональных подворотах;
Гул примусов и неуют квартир,
Поленицы с осклизлыми дровами,
И пристальное взглядыванье в мир
Сквозь радужную призму улований.

Назидание

Не стань покорным должником удач,
Когда дорога чересчур легка,
Она предавит счет навстрелкам
За эту легкость — так или иначе.
Задумайся: а нет ли тупика,
Не к пропасти ли ты идешь по ней?
Сверни на ту, что круче и трудней.
Путь все с тебя возьмет судья сполна,
Наличными — усталостью и потом,
Ведя по высям горным, по болотам,
По рванинам без отдыха и сна.
И путь опасен каждый поворот,
Тебя от тупика и от обрыва
Сама дорога предупереждает
Тем, что она не кажется счастливой.

Хрестоматийный мальчик

Голландский бедный мальчик
У грани пенных вод
Дрожит и горько плачет,
А с места не сойдет.
По щиколотку в тине
Стоит он день-деньской,
Промоину в плетине
Закрыв своей рукой,
Уже припухли гланды
И боль в его груди,
Но сгинут Нидерланды,
Лишь руку отдади.
Пробита будет дамба
Солною водой —
Тогда аминь и амба
Всему, что за спиной,
Невесел на картине
Продоршши паренки;



Вадим
Шефнер

Напев тридцатых лет

Быть может — далеке, быть может —
за стеною,
Быть может — подо мной, быть может —
надо мною
Пластинку прежних лет опять заводит
кто-то,
И у меня с утра не спорится работа.
Сквозь известь и кирпич, сквозь плиты
перекрестий,
Сквозь время, сквозь пласти слезавшихся
событий,
Как через кожу шприц — мне прямо
в сердце вколот
Напев тридцатых лет, когда я был
так молод.
Обшарпанный рефрен, любовные угрозы,
И в голосе певца заунывные слезы,
Но за тупою слов, за их усталой сутью
Вся жизнь мне предстает как вечное
расчутье.
Еще не пробил час и жребий наш не выпал,
И тысяча надежд раскинута на выбор;
Все вперед еще — и доброе и злое,
Еще в грядущем все, что отошло в былое,
Мне слышится вдаль: и в громовых
раскатах
Напев тридцатых лет звучит
в пыли дорожной,
Преобразясь в хорал возвышенно-
трезвожкий.

На Невском

На Невском проспекте, где зданья
Сгушаются воспоминанья,
Нежданно сбываются сны.
Порой чрезвычайная схожесть
Тебя оставит на миг —
В том же, среди множества множеств,
Покажется чей-то двойник.
И друг твой сквозь давнюю тьму,
Из памяти тайных отсеков
Выходит навстречу ему.

Что он хрестоматисн,
 Ему и невдомек,
 Он никого не унит,
 Ничьих похвал не ждет,
 Он этот частный случай
 В закон не возведет.
 С усталостью во взоре,
 С надеждой и тоской
 Он сдерживает море
 Немеющей рыкой.

Александр Бугузаров



Повторю опять и опять
 Нашу жизнь, как стихи, найзуст.
 Я боюсь тебя потерять.
 Я тебя потерять боюсь!
 Так земля боится остаться
 От движения туч дождевых,
 Чтобы ливень не потерять
 Для полей и лесов своих.
 Так страшится одиножды лось
 Плуи, что подругу сразила.
 Я забыл все, что раньше было,
 До твоих единственных глаз,
 До твоих несказанных слов,
 До снегов, породивших нас,
 Високосных моих снегов,
 И до той последней черты,
 За которую голос твой...
 Заслонял всю землю тобой,
 Я забыл, что не любишь ты.

Нас разделяет стена,
 Тонкая, как картон.
 Нас разделяют войны,
 Грозы, железобетон.
 Ты в первом классе была,
 Я — на гидроузле.
 Знать ты еще не могла
 О том, что я есть на земле.
 ...Черный пайковый хлеб.

Звезды братских могил,
 Запатаанный ширпотреб,
 Мама моя без сил.
 Она для тебя жила.
 В твой она класс вошла.
 Чтобы прочесть ты смогла
 Книгу добра и зла.
 Я старше, но отчего ж
 Робею тебя, мой друг!
 А жест мой так не похож
 На взмах твоих белых рук.
 И небо стало светлей
 От глаз твоих навсегда,
 Когда ты среди полей
 В мои смотрела года.
 Даверь приоткрыта чуть.
 Ты спишь, я давно не сплю.
 Мне страшно тебя вслугннуть.
 Я за стеной стою.
 Нас разделяет стена,
 Тонкая, как картон.
 Нас разделяют войны
 И светлы и легки твой сон.

Эпистолярного искусства мастера
 Уходят, не оставив на прощанье
 Полет гусиный легкого пера
 И цинкандали в ледяном стакане.
 Покой полудня... Почта на углу.
 Рожок очередного димджанса.
 В альбом Н. Н. пленительные стансы,
 И путник, окунувшийся во мглу.
 «Пишу еще... О чем, мой друг, теперь?
 Сиротели нынче болтухары.
 И то не мор во исполнение кары,
 А следствие естественных потерь.
 Простите, слот, как видно, сховат,
 Нет легкости, мгновенности, паренья,
 Прощальный вздох и возраст вдохновенья
 Зимы последней, нет, не обновят.
 Пишу еще... И горше нет числа,
 И легче нет погибели последней...
 Когда умру, то в сундучок мой бедный
 Поможат письма к вам — я их намердн
 Отправить не успепа, не смогла...»
 Ушло от нас предчувствие чего-то,
 Рождающее гениев подчас,
 Вдруг обожжет и вдруг возвратит нас.

Хранит мой день мое несовершенство,
 Но будду я таким, каков я есть,
 Пока во мне осенних рош блаженство,
 Насное движенье небес.
 В моем лице оставила природа
 След суety пустаыной и страстей...
 Вот с женщиною новой несвобода,
 И, как жене, я вновь подвластен ей,
 И так наивен в эти — шутка ль—сорок,
 Неприязтателен в одежде и еде,
 И бохазив в прокуренной конторе,
 И суетлив в удаче и в беде.
 Но сквозь все это — ощущение цели
 И ясное сознание того,
 Что жили мы и наши песни пели,
 А пели — не страшились ничею!

БОРИС ВАСИЛЬЕВ

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ



РОМАН

Рисунки
Петра ПИНКИСЕВИЧА.

14

Никогда в жизни не было у Кольки своей собаки. Знакомых — весь поселок, а вот своей собственной, от щенка вскормленной, такой не было. И учить ее не приходилось, и дрессировать — тем более. Обидно, конечно.

А вот у Вовки собаки не переводились. Не успеет Федор Ипатыч одну пристрелить, как тут же другую заводит. Прямо в тот же день, а может, даже и раньше.

Федор Ипатович собак собственных уничтожал не по жестокости сердца и не по пьянке, а совсем на трезвую голову. Собака — это ведь не игрушка, собака расходов требует и, значит, должна себя оправдывать. Ну, а коли состарилась, нюх потеряла или злобу порастратила, тогда не обессудь: за что кормить-то тебя? Кормить, конечно, не за что, но чтобы она, собака эта, с голоду во дворе не издохла, Федор Ипатыч ее самолично на собственном огороде из ружья пристреливал. Из гуманных, так сказать, соображений. Пристреливал, шкуру собашикам сдавал (шестьдесят копеек платили!), а тушу под яблоней закапывал. Урожайные были яблоньки, ничего не скажешь.

И нынче у них во дворе здоровенная псина на цепи билась. Небо черное, глаза красные, рык с надрывом и клыки что два ножа. Даже Вовка Пальмы этой остервенелой побаивался, даром что выросли рядышком. Не то чтобы совсем боялся, но остерегался. Береженого бог бережет — эту пословицу Вовка еще в зыбке выучил: часто повторяли.

На цепи, значит, перед входом Пальма металась, а на задах, за банькой, в старой железной бочке Цуцик жил. Тот самый, чью жизнь не часы, а компас

отмеривал: пока нравился компас этот Вовке, жив был Цуцик. Мог и хвостом помахать и косточке порадоваться.

Правда, хвостом махать куда чаще приходилось, чем косточкам радоваться. И не потому, что Вовка извергом каким-то там рос: забывал просто, что собаки тоже есть каждый день хотят. Забывал, а глаза собачьи ничего напомнить ему не могли, потому что в глазах читать — это тоже уметь надо. Тут одной грамоты мало, чтобы в глазах тоску собачью прочитывать. Тут что-то еще требовалось, но ни Вовку, ни тем более Федора Ипатовича эти «что-то» никогда не интересовали, а потому и не беспокоили.

Ну, а Оля Кузина, чьи косички сердца Колькиного однажды коснулись да так и присохли к нему, — так Оля эта Кузина только с Вовкиного голоса говорить могла. И слова у нее Вовкины были и мысли. А вот почему так получалось, Колька никак понять не мог: гонял ведь Вовка девчонку эту, за косы дергал, хватал за что ни попадя, раз прибил даже, а она все равно за ним бегала и ни на кого другого смотреть не желала. Все ей были уроды.

А еще Вовка сказал однажды:

— Может, я его, Цуцика этого, все-таки утоплю. Надоеет компас твой, и утоплю. Пользы от него никакой не получишь.

Колька как раз щенка кормил, язычок его на руке своей чувствовал. Но смолчал.

— Если он ценный, так ты мне цену давай.

— Какую цену? — не понял Колька.

— Настоящую. — Вовка солидно вздохнул.

— Так денег нету. — Колька подумал немного. — Может, я какую книжку в библиотеке стащу?

— Зачем мне книжка? Ты вещь давай.

Вещей у Кольки не было, и разговор тот так ничем и не кончился. Но Колька о нем каждый день думал, каждый день страхом за Цуцика этого горемычного окутывался, а придумать ничего не мог. Мрачнел только. А тут еще Оля Кузина...

Вот почему в этот день он самого главного-то и не услышал. О щенке думал, о Вовке, о ценной вещи,

Окончание. Начало см. в № 6 за 1973 год.

которой у него не было, и об Оле Кузиной, у которой были глазки, смех и косички. Ничего не слышал, хоть и сидел за столом рядом с Нонной Юрьевной напротив нового лесничего.

А разговор за столом вот как складывался.

— Больно уж легко теперь человек с места вспархивает,— говорил тятка его Егор Полушкин.— Враз куда-то устремляется, прибегает в задыхе, вершит, чего попало, и обратно устремляется. И все кругом ему — случай... А из отрезанных кусков каравая не сложишь, Юрий Петрович.

— Люди интересную работу ищут. Это естественно.

— Значит, коль естественно, то и ладно, так выходит? Не согласный я с вами. Всякое место, оно все равно наше, общее, то есть. А что выходит, если по жизни посмотреть? А то выходит, что от поспешаловки мы про все это забываем. Вот приехал я, скажем, сюда, в поселок. Ладно-хорошо. Но и здесь, однако, лес да река, поля да облака. Чьи они? Старые люди толкуют: божьи. А я так мыслю, что если бога нет, то они мои. А мои, стало быть, береги свое-то. Не допускай разору: твоя земля. Уважай. Вот.

— Согласен с вами полностью, Егор Савельич.

Слушали здесь Егора — вот что удивительно было! Слушали, именем-отчеством величали, собственные ответы взвешивали. Егору это не то чтобы нравилось — он ведь не понравиться стремился! — а вошло все в нем. Он уж и чай не пил, а только ложечкой в стакане помешивал и говорил то, что казалось ему и нужным и важным:

— Человек отдыхает, зверь отдыхает, пашня отдыхает. Всем отдыхать положено не для удовольствия, а для скопления сил. Чтоб, значит, обратно работать, так? А раз так, то и лес — он тоже подремать хочет. От людей забыться, от топоров залечиться, раны смолой затянуть. А мы обратно — лыко с него: порядок это? Непорядок. Беспокойство это и липнякам полная смерть. Зачем?

— С липняками полностью моя вина,— сказал Юрий Петрович.— На охранные леса это разрешение не распространяется.

— Не в том дело, чья вина, а в том, чья беда...

Нонна Юрьевна тихо по хозяйству шебуршилась: чайку налить да хлебца подрезать. Слушала и Егора и лесничего, а сама примолкла. Как Колька.

— Много липняка погибло?

— Это есть.— Егор вздохнул, вспомнив свой незадачливый поход.— Деньги сулили, так что уж... Топор не остановишь, коль полтина за килограмм.

— Да,— вздохнул Чувалов.— Жаль. В старых книгах указано, что в лесах наших было когда-то множество диких пчел.

— Мы ведь это... — Егор покосился на упорно молчавшего Кольку и опять вздохнул.— Мы тоже за пыком-то навострились. Да. А как глянули, что в лесу от стволов белое, так и назад. И жалко и совестно.

До чего же хорошо и покойно было ему в этот день! И разговор тек неспешно, и новый лесничий казался приветливым, и сам Егор Полушкин — умным и вполне даже самостоятельным мужчиной. Колька, правда, пытел да хмурился, но на его хмурое сопенье Егору не хотелось обращать внимания: он берег впечатления от встречи с лесничим и нес их домой неторопливо и бережно, точно боялся расплескать.

— Уважительный человек, лесничий новый,— сказал он Харитине, как спать улеглись.— Простая, видать, душа и к сердцу отзывчивая.

— Вот бы на работу ему тебя взять — это отзывчиво.

— Ну, зачем так-то, Тина, зачем?

О том, чтоб работать у Юрия Петровича, Егор да-

же думать боялся. То есть, конечно, думал, поскольку мечта эта заветная в нем уже поселилась, но вслух выражать ее не хотел. Не верил он больше в свое счастье, и даже самые несбыточные мечты опасался до времени спугнуть или сглазить. И поэтому добавил политично:

— Он сюда не для работы приехал, а для туризма.

— А коль для туризма, так людям голову не морочь. А то обратно на три ста нагорим с туризмом с ними.

Очень хотелось Егору защитить хорошего человека, но он только вздохнул и на другой бок повернулся. С женой спорить — бестолочь одна. Все равно последнее слово за ней останется.

А новый лесничий Юрий Петрович Чувалов, до вечера просидев у Нонны Юрьевны, в тот день, естественно, ни в какой поход не пошел. И не только потому, что время уже было позднее, а и по соображениям, не очень пока ясным для него самого.

Все началось с проводов. Поскольку лесничий нагрянул в поселок внезапно и от огласки воздерживался, то и ночевать пошел не к подчиненному Федору Ипатовичу Бурьянову, а к директору школы по рекомендации Нонны Юрьевны. И Нонна Юрьевна к директору этому в тот вечер его и провожала.

С директором у Нонны Юрьевны отношения были добрые. С директором добрые, а с товарищами по школе, с преподавательским, как говорится, коллективом, никаких отношений не сложилось. То есть, конечно, кое-что сложилось, но и не то и не так, как хотелось бы Нонне Юрьевне.

Надо сказать, что встретили молодую учительницу, прибывшую в поселок из города Ленинграда, и по доброму и по-семейному. Всяк помочь рвался и помогал — и делом и советом. И все было отраднo аж до торжественного вечера накануне 8 Марта. Праздник этот отмечался особо, поскольку, кроме директора, мужчин в школе не имелось, и Международный женский день был воистину женским. Все к этому вечеру загодя и в глубокой тайне шили себе наряды.

А Нонна Юрьевна явилась в брючном костюме. Нет, не ради демонстрации, а потому что искренне считала этот костюм вершиной собственного гардероба, надевала его до сей поры один раз, на выпускной институтский вечер, и все девчонки тогда ей завидовали. А тут получился конфуз и поджатые губы.

— Не воскресник у нас, милочка, а праздник. Наш, женский. Международный, между прочим.

— А по-моему, это нарядно,— пролепетала Нонна Юрьевна.— И современно.

— Насчет современности вам, конечно, виднее, только если вы в этой современности позволяете себе на торжественном вечере появляться, то извините. Мы тут, значит, не доросли.

Нонна Юрьевна к двери подалась, директор — за ней. Догнал на третьем повороте.

— Вы напрасно, Нонна Юрьевна.

— Что напрасно? — всхлипнув, спросила Нонна Юрьевна.

— Напрасно так реагируете.

— А они не напрасно реагируют?

Директор промолчал. Шел рядом с разгневанной шагавшей девушкой, думал, что следует сказать. Сказать следовало насчет примера, который обязан являть собою педагог, насчет буржуазных веяний, чуждой нам моды и тому подобного. Следовало все это сказать, но сказал он это про себя, а вслух поведal совсем иное:

— Да завидуют они вам, Нонна Юрьевна! Так, знаете, чисто по-женски. Вы молодая, фигура у вас, извините, конечно. А у них заботы, семьи, мужья,

хозяйство, а вы — завтрашнее утро. Так что пощадите вы их великодушно.

Нонна Юрьевна глянула сквозь слезки и улыбнулась:

— А вы хитрый!

— Ужасно, — сказал директор.

На вечер Нонна Юрьевна не вернулась, но с директором подружилась. Даже иногда на чай заходила. И поэтому вела сейчас к нему лесничего без предупреждения.

А вечер теплый выдался и застенчивый. Вдалеке, возле клуба, музыку наяривали, в небе облака розовели. А ветра не было, и каблучки Нонны Юрьевны с особенной четкостью постукивали по деревянным тротуарам.

— Тихо-то как у вас, — сказал Чувалов.

— Тихо, — согласилась Нонна Юрьевна.

Не ладился у них разговор. То ли лесничий с дороги притомился, то ли Нонна Юрьевна от разговоров отвыкла, то ли еще какая причина, а только шагали они молча, страдали от собственной немоты, а побороть ее и не пытались. Выдавливали из себя слова, как пасту из тюбика: ровнехонько зубки почистить.

— Скучно здесь, наверно?

— Нет, что вы. Работы много.

— Сейчас же каникулы.

— Я с отстающими занималась: знаете, пишут плохо, с ошибками.

— В Ленинград не собираетесь?

— Может быть, еще съезжу. Маму навестить.

И опять — полста шагов молча. Будто зажженные свечи перед собой несли.

— Вы сами эту глухомань выбрали?

— Н-нет. Назначили.

— Но ведь, наверно, могли бы и в другое место назначить?

— Дети — везде дети.

— Интересно, а кем вы мечтали стать? Неужели учительницей?

— У меня мама — учительница.

— Значит, фамильная профессия?

Разговор становился высокопарным, и Нонна Юрьевна предпочла не отвечать. Юрий Петрович почувствовал это, в душе назвал себя индюком, но молчать ему уже не хотелось. Правда, он не очень-то умел болтать с малознакомыми девушками, но идти молчком было бы совсем глупо.

— Литературу преподаете?

— Да. А еще веду младшие классы: учителей не хватает.

— Читают ваши питомцы?

— Не все. Коля, например, много читает.

— Коля — серьезный парнишка.

— Им трудно живется.

— Большая семья?

— Нормальная. Отец у него странный немного.

Нигде ужитья не может, мучается, страдает. Плотник хороший и человек хороший, а с работой ничего у него не получается.

— Что же так?

— Когда человек непонятен, то проще всего объявить его чудаком. Вот и Егора Савельевича бедоносом прямо в глаза зовут, ну, а Коля очень больно переживает это. Простите.

Нонна Юрьевна остановилась. Опершись о забор, долго и старательно вытряхивала из туфель песок. Песку-то, правда, немного совсем набилось, но мысль, которая пришла ей в голову, требовала смелости, и вот ее-то и копила в себе Нонна Юрьевна. И фразы сочиняла, как бы изложить эту мысль половчее.



— Вы один на Черное озеро собираетесь? — Сказала и испугалась: подумает еще, что навязывается. И добавила совсем уж невпопад: — Страшно одному. И скучно. И...

И замолчала, потому что объяснения завели ее совсем не в ту сторону. И с отчаяния брякнула без всякой дипломатии:

— Возьмите Полушкина в помощь. Его отпустят: он разнорабочим тут числится.

— Знаете, я и сам об этом думал.

— Правда? — Нонна Юрьевна улыбнулась с явным облегчением.

— Честное слово. — Юрий Петрович тоже улыбнулся. И тоже почему-то с облегчением на душе.

А на самом-то деле до ее неловких намеков ни о каком Егоре Полушкине лесничий и не помышлял. Он много и часто бродил по лесам один, ценил одиночество, и никакие помощники ему были не нужны. Но захотелось вдруг сделать что-то приятное этой застенчивой и нескладной маминой дочке, безропотно и честно исполнявшей свой долг в далеком поселке. И, увидев, как вспыхнуло ее лицо, добавил:

— И парнишку с собой захватим, если захочет.

— Спасибо, — сказала Нонна Юрьевна. — Знаете, мне иногда кажется, что Коля станет поэтом. Или художником.

Тут они наконец добрались до крытого железом директорского дома, и разговор сам собой прекратился. Возник он случайно, развивался мучительно, но Юрий Петрович его запомнил. Может быть, как раз поэтому.

Передав нового лесничего с рук на руки директору, Нонна Юрьевна тут же убежала домой, потому что ей очень хотелось о чем-то подумать, только она никак не могла понять, о чем же именно. А директор расшуровал самовар и полночи развлекал Чувалова разговорами, особо упирая на то, что без помощи лесничества школе и учителям будет очень сложно с дровами. Юрий Петрович соглашался, гонял чай и все время видел худенькую девушку в больших важных очках. И улыбался не к месту, вспоминая ее странную фразу: «Вы один на Черное озеро собираетесь?»

Утром он зашел в контору и договорился, что для ознакомления с водоохраным массивом ему, лесничему Чувалову, отрядят разнорабочего Полушкина в качестве подсобной силы сроком на одну неделю.

Заулыбались в конторе новому лесничему. Оно и понятно: край-то северный, а зимы вьюжные.

— Полушкина отчетливо знаем. С онерами!

— Шептунной он мужик, товарищ лесничий. Не советуем: сильно шептунной!

— Мотор утопил, представляете?

— Говорят, спяну.

— Говорят или видели? — мимоходом спросил Чувалов, расписываясь в добровольном согласии на получение шептунного мужика Егора Полушкина со всеми его онерами.

— Брехня, она впереди человека...

— Брехня впереди собаки. И то если собака эта за глаза брехать натаскана.

Спокойно высказался. Но так спокойно, что конторские деятели до вечера в собственной конторе шепотом разговаривали.

А Юрий Петрович из конторы направился к Нонне Юрьевне. Она только встала, встретила его в халатике и смутилась до онемения:

— Извините, я...

— Айда с нами на Черное озеро, — сказал он вместо «здравствуйте». — Надо же вам, преподавателю, знать местные достопримечательности.

Она ничего ответить не успела, да он и не ждал

ответа. Кинул на крыльцо рюкзак, спросил деловито:

— Где Полушкин живет? Ладно, вы пока собирайтесь, а я за ним сбегую. И за парнишкой!

И действительно побежал. Бегом, несмотря что новый лесничий.

15

Как Юрий Петрович один в походе со всеми делами управиться рассчитывал, этого ни Егор, ни Колька понять не могли. С самого начала, как только они в лес окунулись, работы оказалось невпроворот.

Колька, например, всю живность, в пути замеченную, должен был в тетрадку заносить, в «Журнал наблюдения за фауной». Встретил, скажем, трясогузку — пиши, где встретил, во сколько времени, с кем была она да чем занималась. Сперва Колька, конечно, путался, вопил на весь лес:

— Юрий Петрович, серенькая какая-то на ветке!

Серенькая, понятное дело, улетала, не дожидаясь, пока ее в журнал занесут, и Егор поначалу побаивался, что за такую активность лесничий Кольку живого назад наладит. Но Юрий Петрович всякий раз очень терпеливо объяснял, как эта серенькая научно называется и что про нее надо писать, и к вечеру Колька уже кое-чего соображал. Не орал, а дышанье затаив и язык высунув, писал в тетрадке:

«17 часов 37 минут. Маленькая птичка лесной конок. Сидел на березе».

Тетрадку эту после каждой записи Колька отцу показывал, чтоб тот насчет ошибок проверял. Но насчет ошибок Егор не очень разбирался, а вспоминал всякий раз про одно:

— Часы, сынок, не потеряй.

Часы Кольке Юрий Петрович выдал. На время, конечно, для точности наблюдений:

«17 часов 58 с половиной минут. Мышка. Куда-то бежала, а откуда, не видал».

— Точность для исследователя — самое главное, — говорил Юрий Петрович. — Это писатель может что-нибудь присочинить, а нам сочинять нельзя. Мы с тобой, Николай, мученики науки.

— А почему мученики?

— А потому, что без мучений ничего в науке уже не откроешь. Что легко открывалось, то давно настезь пооткрывали, а что еще закрыто, то мучительного труда требует. Так-то, Николай Егорович.

Юрий Петрович говорил весело и всегда громче, чем требовалось. Сперва Колька не понимал, зачем это он так старается, а потом сообразил: чтоб Нонна Юрьевна слышала. Для нее Юрий Петрович горло надсаживал, как сам Колька для Оли Кузиной.

А Нонна Юрьевна весь день этот пребывала точно в полусне. Все представлялось ей странным, почти нереальным: и улыбки Юрия Петровича, и старательные Егоровы брови, и Колькин разинутый от великого усердия рот, и тяжесть новенького рюкзака, и запах хвои, и шелест листьев, и хруст валежника под ногами. Она все видела, все слышала, все чувствовала обостреннее, чем всегда, но словно бы со стороны, словно это не она шагала сейчас по звонкому, залитому земляничным настоем заповедному бору, а какая-то иная, вроде бы даже незнакомая девушка, на которую и сама-то Нонна Юрьевна смотрела с недоверчивым удивлением. Да если бы кто-либо еще вчера сказал ей, что она уйдет к Черному озеру с чужим человеком и Егором Полушкиным, она бы, наверно, рассмеялась. А сегодня пошла. Без всяких угоров. Прибежал лесничий от Полушкиных, спросил недовольно:

— Почему не готовы? Да какой там, к дьяволу, чемодан: рюкзак у вас есть? Ничего у вас нет? А магазин где? За углом? Ладно, завтрак готовьте, сейчас сбегаю.

Нонна Юрьевна и моргнула-то всего два раза, а Юрий Петрович уже вернулся с покупкой. Потом они завтракали, и он уговаривал ее поехать поплотнее. А потом пришли Полушкины: Егор и Колька. А потом... Потом Юрий Петрович вскинул свой неподъемный рюкзак и улыбнулся:

— Командовать парадом буду я.

Нонна Юрьевна и опомниться не успела, как оказалась в лесу. Да еще в брюках, которые с того памятного школьного вечера валялись на самом дне чемодана. За год они стали чуточку узки, и это обстоятельство весьма смущало Нонну Юрьевну. Она вообще еще дичилась, еще старалась держаться в одиночестве или на крайний случай где-либо возле Кольки, еще молчала, но уже слушала.

В институте ее по-школьному звали Хорошистка. Прозвище прилипло с первой недели первого курса, когда на первом комсомольском собрании энергичный представитель институтского комитета спросил:

— Вот, например, у тебя, девушка — да не ты, в очках которая! — какие у тебя были общественные нагрузки?

— У меня? — Нонна встала, старательно одернув старенькое ученическое платье. — У меня были разные общественные нагрузки.

— Что значит разные? Давай конкретнее. Кем ты была?

— Я? Я — хорошистка.

Тут Нонна не оговорила: она и впрямь была хорошисткой не только по отметкам, но и по сути, по нравственному содержанию, приобретенному в доме, где никогда не бывало мужчин. Поэтому жизнь здесь текла с женской размеренностью, лишённая резких колебаний и встрясок, столь свойственных мужскому началу. Поэзия заменяла живые контакты, а симфонические концерты вполне удовлетворяли туманные представления Нонны о страстях человеческих. Хорошистка каждый вечер спешила домой, неуютно чувствовала себя среди звонких подружек и старательно гасила смутные душевные томления обильными откровениями великих гуманитариев.

Так и бежали дни, ничем не замутненные, но и ничем не просветленные. Все было очень правильно и очень разумно, а вечера почему-то становились все длиннее, а тревога — странная, беспричинная и безадресная тревога — все росла, и Нонна все чаще и чаще, отложив книгу, слушала эту нарастающую в ней, непонятную, но совсем не пугающую, добрую тревогу. И тогда подолгу не переворачивались страницы, невидящие глаза смотрели в одну точку, а рука сама собой рисовала задумчивых чертиков на чистых листах очередного реферата по древнерусской литературе.

На их факультете было мало юношей, да и тех, кто был, более дальновидные подружки уже прибрали к рукам. На танцы Хорошистка не ходила, случайных знакомств побаивалась, а иных способов пополнить круг друзей у нее не было. И тянулись бесконечно длинные ленинградские вечера, коротать которые приходилось — увы! — с мамой.

— Береги себя, доченька.

— Береги себя, мамочка.

Кто знает, сколько надежд и сколько страха было вложено в эти последние слова, которыми обменялись они, когда поезд уже тронулся. Поезд тронулся, мама семенила рядом с подножкой, все ускоряя и ускоряя шаг, а Нонна улыбалась, мобилизовав для этой улыбки все свои силы. Впрочем, мама улыба-

лась тоже, и ее улыбка была похожа на улыбку дочери, как две слезинки.

— Береги себя, доченька.

— Береги себя, мамочка.

Преодолев три сотни километров и пережив две пересадки, Хорошистка добралась-таки до места назначения, получила класс, уроки, две машины дров и комнату за счет народного просвещения. Написала маме очень длинное и изо всех сил веселое письмо, ответила на добрую сотню вопросов квартирной хозяйки, беззвучно проревела полночи в подушку, а утром явилась в класс и стала Нонной Юрьевой. И постепенно все то, что осталось позади: лекции и мамыны пирожки, концерты и ленинградские мосты, БДТ и чаепития у дальних родственников, — постепенно все это тускло, бледнело, покрывалось прошлым и становилось почти нереальным. Реальным было настоящее: горластые перемены, детские глаза, поселковая пыль, скрипучие тротуары, заботы о собственном жилье и житье. А будущее... Будущего не было, потому что то, о чем мечтала Нонна Юрьевна, ничем не отличалось от прошлого либо настоящего: она мечтала о свидании с мамой и Ленинградом и о том, чтобы всем хватило учебников в будущем учебном году.

А еще она мечтала о том, о чем мечтает всякая девушка. Но мечты эти были настолько тайными, что более или менее связно рассказать о них просто не представляется возможным.

И вот сейчас она шагала по глухому лесу с непривычным рюкзаком за плечами. И туфли ее — обычные городские туфли на низком каблучке, при виде которых Юрий Петрович подозрительно хмыкнул, — то проваливались в мох, то вообще с ног сваливались. И модные брюки (которые, к великому ее ужасу, оказались вдруг такими неприлично тесными!) мокли в росе, и смола к ним липла. И нейлоновая ее курточка, в которой она бегала в школу, все время цеплялась за сучья и стволы. И сама Нонна Юрьевна в походе оказалась такой нескладной, что ее каждую секунду кидало из жара в холод и обратно. И все-таки она упорно тащилась сквозь бурелом и заросли, хотя и чувствовала себя ненужной и несчастной.

К полудню она окончательно выбилась из сил, но Юрий Петрович своевременно распорядился сделать привал. С облегчением скинув рюкзак, Нонна Юрьевна тут же вызвалась готовить, чтобы хоть таким образом оправдать свое участие в походе. Правда, о полевых обедах Нонна Юрьевна имела довольно отвлеченные представления, но принялась за дело с таким энтузиазмом, что через полчаса каша уже лезла из ведра, еще не успев довариться. Нонна Юрьевна суматошно закинула ее обратно, шепотом приговаривая какие-то женские заклинания, но каша упрямо стремилась в костер.

— На Маланьину свадьбу, — улыбнулся Юрий Петрович. — Ну и аппетит же у вас, Нонна Юрьевна!

— Сладим, — сказал Егор.

Сладили. До доньшка выскребли всю посуду, тогда только и отвалились. Нонна Юрьевна побежала к ручью ложки с плоскими мыть. Егор Кольку в помощь ей отрядил, и мужчины остались одни у затухающего огня.

— В семейных состоите или в бобылях? — вежливо поинтересовался Егор.

Юрий Петрович странно посмотрел на него и еще более странно промолчал. Егор почувствовал неладное и засуетился:

— Извиняюсь, конечно, насчет любопытства. Но мужчина вы молодой, при должности, вот я, значит, и... того.

— А я, Егор Савельич, и сам не знаю, в каком звании состою: в семейных или в холостых.

— Как так получается?

— Да вот, получилось.

Замолчал Юрий Петрович. Сигареты достал, Егора угостил. С одного уголька прикурили. Егор, уж о любопытстве своем сто раз пожалев, о чем-то калякать пытался, всхотнул даже раза четыре, но Юрий Петрович был по-прежнему хмур и задумчив и отвечал невпопад.

Нонна Юрьевна посуду в ручье мыла, тоже хмурясь и о своем думая, а рядом Колька журчал без умолку. Пока он о зверье да о птицах журчал, Нонна Юрьевна не слушала, но Колька вдруг замолчал, про ежей не договорив. Подумал, повздыхал, спросил сердито:

— Вы что, с этим с Юрием Петровичем уедете, да?

— Куда уеду? — У Нонны Юрьевны вроде внутри оборвалось что-то, холодок к ногам подкатился. — Зачем, Коля?

— Ну, женитесь и в город уедете, — очень агрессивно пояснил Колька. — Все так делают.

— Женюсь? Женюсь, да? — Нонна Юрьевна изо всех сил хохотать принялась, Кольку водой обрызгала и ложку утопила. — Вы слышите, Юрий Петрович? Слышите?

Нарочно громко кричала, чтобы все слышали. И все действительно слышали: и Егор и лесничий. Только молчали почему-то, и радость с Нонной Юрьевой делить не торопились. И Нонна Юрьевна смешком собственным, кое-как сляпанным, враз подавилась, краснеть начала и ложку в воде шарить.

— Что же вы не отвечаете? — спросил мучитель Колька. — Значит, и вправду от нас удерете, раз отвечать не хотите.

— Глупости это, Коля, глупости. Замолчи сейчас же и никогда об этом не говори.

А почему не говорить, когда все кругом так делают? Вот и его прежняя учительница: женилась — и привет родному дому.

Вздыхнул Колька. А Нонна Юрьевна, вздох этот недоверчивый уловив, закричала вдруг. Ни с того ни с сего, а будто бы со слезой:

— Я никогда не женюсь! Никогда, никогда, слышишь?

Так закричала, что Колька ей поверил. Без сомнения, не женится. Это уж точно.

16

Хоть и взял новый лесничий Егора с собой, хоть и исполнил тем самым затаенную мечту его, а вот прежняя Егорова живость, прежний — звонкий и радостный — оптимизм его уже никак и ни в чем не проявлялся. То ли устал Егор от всех мытарств, то ли не верил больше ни во что хорошее, то ли слишком уж непривычной и какой-то не очень, что ли, мужицкой представлялась ему новая его деятельность, а только радости особой он не испытывал.

Сколько желаний сделать доброе человеку на жизнь отпущено? Сколько раз он, побитый и осмеянный, вновь подняться может, вновь улыбнуться труду своему, вновь силами с ним помериться? Сколько? Кто это знает? Может, на раз кого хватит, может, на сто раз? Может, уж исчерпал Егор весь запас жизнестойкости своей, все закрома до доньшка выскреб, все зерно в муку перемолол и осталась в нем теперь одна половина? Где они, запасы-

то эти, кто измерял их, кто испытывал, и не пора ли махнуть на все рукой, стянуть у Юрия Петровича трояк да дунуть сызнова к Филе да Черепку?

Кто знает, может, и махнул бы Егор на это свое везение. Махнул бы, потому что боялся в него поверить, боялся в себя поверить и в нового лесничего тоже боялся поверить. Удрал бы он отсюда, от новых попыток стать на ноги, поглядеть в себя, заслужить уважение людей и уверенность, что не совсем он, Егор Полушкин, пропащая душа. Удрал бы, да Колька рядом шагал. Радовался, дурачок, лесу и зверью и радостно верил, что вот это и есть самая прекрасная жизнь. И, глядя на радость эту, Егор понимал, что не сможет ее предать. И больше всего, больше самой лютой смерти боялся, что кто-то вообще может предать такую радость. Глаза эти предать, что смотрят в тебя незамутненно и доверчиво. И от незамутненности и доверия даже моргают-то через раз.

— Тять, я правильно про синичку написал?

— Часы, сынок, не потеряй.

— Да знаю я!

Зачем птичек-мурашек пересчитывать, кому они нужны? Для смеху если, так Колька же в полезность верит. Глаза ведь у него огнем горят, душа навострилась, верит он во все ваши штучки, и, если вы нас опять, как тех мурашек, то обождите лучше маленько. Надо мной — это пожалуйста, это сколько угодно, а над мальцом...

— Кольке тетрадку дали для дела или так, для забавы какой?

— Почему для забавы?

— Посмеетесь, поди, у костра-то?

Юрий Петрович ответил не сразу. Подумал, на Егора поглядел. И враз перестал улыбаться:

— Мне не птички нужны, Егор Савельич, не перепись зверья. Мне сам Колька нужен, понимаете? Чтоб в лес он входил не как гость, а как хозяин: знал бы, где что лежит, где кто живет да как называется. А у костра... Что ж, у костра, Егор Савельич, вместе посидим, вместе и посмеемся. Только не над работой: работа, какая б ни была она, есть труд человеческий. А над трудом не смеются.

Нельзя сказать, чтоб эти слова сразу Егора на другие мысли перевели: мысли — не паровоз. Но в отношении Кольки как-то успокоили, и Егор маленько приободрился. Над сыном никто вроде смеяться пока не собирался, а насчет себя самого он мало беспокоился.

Но смеяться вечером им не пришлось, потому что пропала Нонна Юрьевна. Пропала, как стояла, аккуратно после ужина, оставив после себя грязную посуду, и вместо сладкого перекура вышла потная беготня.

А вышла беготня эта потому, что Нонне Юрьевне понадобилось уединение. Улучив момент, когда прилпала-Колька куда-то отвлекся, Нонна Юрьевна шмыгнула в кусты и со всех ног кинулась подальше от костра, от малознакомых мужичин и — главное! — от Кольки. Бежала, покуда слышны были голоса, а поскольку Колька как раз в этот момент решил спеть, то бежать ей пришлось долго. И думала она на бегу не о том, как будет возвращаться, а о том, как бы кто ее не заметил.

Ну, а потом, когда надобность в одиночестве отпала, лес на все триста шестьдесят градусов оказался настолько одинаковым, что Нонна Юрьевна, возвращавшись, решила опираться только на интуицию и отважно шагнула куда-то вперед.

Хватились ее, по счастью, быстро. Колька исполнял песню специально для нее и нуждался в оценке. Однако слушателя нигде не оказалось, и после недолгих поисков Колька доложил об этом отцу.



— Сейчас вернется,— сообразил Егор и пошел вместо Нонны Юрьевны мыть посуду.

Он старательно перемыл все ложки-плоски, а учителька все не появлялась. Егор два раза аукнул, ответа не получил и доложил о пропаже по команде.

— Наверно, так надо,— сказал Юрий Петрович.

— Всякое «надо» полчаса назад должно было кончиться,— сказал Егор.— А она не откликается.

— Нонна Юрьевна! — бодро крикнул лесничий.— Вы где?

Послушали. Только лес шумел. По-вечернему шумел, басовито и таинственно.

— Что за черт,— нахмурился Юрий Петрович.— Нонна!.. Э-гей! Где вы там?

— Вот,— сказал Егор, прислушавшись.— Могила.

— Чего? — озадаченно спросил Юрий Петрович.

— Может, она домой пошла? — тихо предположил Колька.— Обиделась и пошла себе.

— Далеко домой-то,— усомнился Егор.

Юрий Петрович побегал по окрестностям, поорал, посвистел. Вернулся озабоченным:

— Искать придется. Коля, от костра чтоб ни на шаг! Не боисься один-то?

— Не-а,— вздохнул Колька.— Ведь надо.

— Надо, сынок,— подтвердил Егор и трусцой побежал в лес.— Ау, Юрьевна!

Аукали, пока хрип из глоток не пошел. Юрий Петрович сперва жалел, что ружья не прихватил, а потом — что девушку эту с собой пригласить надумал. Дернула же нелегкая! Но об этом особо погоревать ему не пришлось, потому что в непонятных лесных сумерках мелькнуло вдруг что-то совсем не лесное, что-то нелепое, жалкое, плачущее навзрыд. Мелькнуло — и Юрий Петрович не успел сообразить, что это за видение, как Нонна Юрьевна повисла у него на шее.

— Юрий Петрович! Миленький!

Ревела она еще по-детски: громко и некрасиво.

Шмыгала носом, размазывала ладонями слезы и вздыхала.

— Дура вы чертова! — с удвоением сказал ей Юрий Петрович. — Это ведь не Кировский парк культуры и отдыха.

Нонна Юрьевна покорно кивала, всхлипывая уже по инерции. Юрий Петрович радовался, что в лесу темно и что Нонна Юрьевна не видит ни его смеющихся глаз, ни улыбок, которые он старательно прятал.

— Классный руководитель заблудился в трех шагах от палатки. Да если я расскажу об этом вашим ученикам...

— А вы не говорите.

— Я-то уж, так и быть, пощажу вас. А Колька?

Нонна Юрьевна промолчала. Они продирались по темному лесу: Юрий Петрович шел впереди, обламывая сучья, чтобы Нонна не напоролась. Сухие ветки трещали на всю округу.

— Мы идем сквозь револьверный лай, — сказал Юрий Петрович и смутился, подумав, что щеголяет начитанностью не к месту и не ко времени.

— Я идиотка? — доверительно спросила Нонна Юрьевна.

— Есть немного.

Нонна хотела объяснить, как все получилось, но тут раздался грохот, и прямо на них вывалился Егор Полушкин.

— Нашлась? Слава те... Тут, это, медведей нет, но заблудить недолго. Жалко, Колька компас свой потерял, а то бы вам его.

Вопреки тайному опасению Нонны Юрьевны Колька встретил ее очень радостно и никаких вопросов не задавал. Проворчал только:

— Без меня чтоб ни шагу теперь.

— Достукались? — улыбнулся Юрий Петрович. — Ну, спать. Дамы и пажи — в палатку, рыцари — под косматую ель.

Колька и головы до подушки не донес: как свалился, так и засопел. А вот Нонне Юрьевне не спалось долго, хоть и расстарался Егор, наломав ей под бочок самого нежного лапника.

Кажется, она все-таки поцеловала Юрия Петровича. В страхе и слезах она не давала отчета в своих поступках и, не колеблясь, повисла бы на шее у Фили или у Черепка, если бы им случилось найти ее. Но случилось это Юрию Петровичу, и Нонна Юрьевна до сей поры чувствовала на губах жесткую, выдубленную солнцем и ветром щетину, тихонько трогала пальцами эти грешные губы и улыбалась.

Мужчины уснули сразу. Егор храпел, завалив голову, а Юрий Петрович вздыхал во сне и хмурился. То ли видел что-то сердитое, то ли недоволен был звонким Егоровым соседством.

Проснулся он рано: Егор, выбираясь из-под плащ-палатки, которой они оба укрывались, потянул не за тот край.

— Куда? Рано еще.

— Так. — Егор почему-то засмутился. — Погляжу пойду. Вы спите.

Юрий Петрович глянул на часы — было около пяти, — повернулся на другой бок, смутно подумал, как там спится Нонне Юрьевне, и уснул, будто провалился. А Егор взял чайник и пошел к реке.

Легкий туман еще держался кое-где над водой, еще цеплялся за мокрые кусты лозняка, и в тихой воде четко отражалось все, что гляделось в нее в это утро. Егор зачерпнул чайник, по воде разбежались круги, отражение закачалось, померкло на мгновение и снова возникло: такое же неправдоподобно четкое и глубокое, как прежде. Егор всмотрелся в него, осторожно, словно боясь спугнуть, вы-

тащил полный чайник, тихо поставил его на землю и присел рядом.

Странное чувство полного, почти торжественного спокойствия вдруг охватило его. Он вдруг услышал эту тишину и понял, что вот это и есть тишина, что она совсем не означает отсутствия звуков, а означает лишь отдых природы, ее сон, ее предрассветные вздохи. Он всем телом ощутил свежесть тумана, уловил его запах, настоящий на горьковатом мокром лозняке. Он увидел в глубине воды белые стволы берез и черную крону ольхи: они переплетались с всплывающими навстречу солнцу кувшинками, почти неуловимо размытая у самого дна. И ему стало вдруг грустно от сознания, что пройдет миг и все это исчезнет, исчезнет навсегда, а когда вернется, то будет уже иным, не таким, каким увидел и ощутил его он, Егор Полушкин, разнорабочий коммунального хозяйства при поселковом Совете. И он вдруг догадался, чего ему хочется: зачерпнуть ладонями эту нетронутую красоту и бережно, не замутив и не расплескав, принести ее людям. Но зачерпнуть ее было невозможно, а рисовать Егор не умел и ни разу в жизни не видел ни одной настоящей картины. И потому он просто сидел над водой, боясь шелохнуться, забыв о чайнике и о куреве, о Кольке и о Юрии Петровиче, и обо всех горестях своей нелепой жизни.

Совсем рядом раздался шорох. Егор поднял голову: что-то белое колыхнулось за кустом, кто-то вздохнул, осторожно, вполвздоха. Он вытанул шею и сквозь листву увидел Нонну Юрьевну: она только что сняла халатик и белой ногой осторожно, как цапля, пробовала воду. Егор подумал, что надо бы взять чайник и уйти, но не ушел, потому что и этот полувдох и эти плавные женские движения тоже были отсюда, из той картины, над которой он вдруг замер, забыв обо всем на свете.

А Нонна Юрьевна сняла все, что еще оставалось на ней, и вошла в воду. Она шла медленно, ощущая дно, гибкая и неуклюжая одновременно. И с тем же чувством спокойствия, с каким он глядел на реку, Егор смотрел сейчас на молодую женщину, на длинные бедра и покатые худенькие плечи, на маленькие, девчоночьи груди и на тяжелые, важные очки, которые она так и не решилась оставить на берегу. И, глядя, как она тихо плещется на мелководье, он понимал, что не подглядывает, что в этом нет ничего зазорного, а есть то же, что у этой реки, у берез, у тумана: красота.

Наплескавшись, Нонна Юрьевна пошла к берегу, и по мере того, как вырастала она из воды, тело ее словно наполнялось пугливой стыдливостью, а чтобы прикрыть все, что хотелось, рук у нее не хватало, и она изгибалась, изо всех сил вытягивая тонкую шею и настороженно оглядывая кусты большими глазами, на стеклах которых слезинками серебрились капли. И Егор совсем было собрался уходить, но на берегу она спокойно занялась волосами, старательно отжимая и вытирая их, и вновь изогнулась, но уже не испуганно, а свободно, раскованно, и Егор чуть не охнул от вдруг охватившего его непонятого восторга. И опять пожалел о том, что нельзя, невозможно, немисливо сохранить для людей и этот миг, донести его до них в своих заскорузлых ладонях.

А потом он опомнился и, подхватив чайник, нырнул в кусты и прибежал к костру раньше Нонны Юрьевны совсем с другой стороны. Потом они завтракали, разбирали палатку, укладывали пожитки, а Егор все время видел тихую речку и белую гибкую фигуру, отраженную в ясной воде. И вздыхал почему-то.

К обеду вышли на берег Черного озера. Оно и

впрямь было черным: глухое, затаенное, с нависшими над застывшей водой косматыми елями.

— Вот и прибыли,— сказал Юрий Петрович, с удовольствием сбросив рюкзак.— Располагайтесь, а мы с Колей насчет рыбки побеспокоимся.

Он достал складной спиннинг, коробочку с блеснами и пошел к воде. Колька забегал сбоку, во все глаза глядя на непонятную металлическую удочку.

— На червя, дядя Юра?

— На блесну. Щучку или окуня.

— Ну! — усомнился Колька.— Баловство это, поди? — Может, и баловство. Отойди-ка, Николай Егорыч.

На пятом забросе леска резко натянулась, и двухкилограммовая щука свечой взмыла вверх.

— Клюнула! — заорал Колька.— Тятяка! Нонна Юрьевна! Щуку тащим!

— Погоди кричать, еще не вытащили.

Берег был низким, болотистым, заросшим осокой, и Юрий Петрович легко выволок серо-зеленую щуку с широко разинутой черной пастью. Белое брюхо проехало по осоке, Юрий Петрович прижал щуку чоском сапога, вырвал из зева блесну и отбросил рыбу подальше от берега.

— Вот и обед.

— А мне...— Колька даже слюной подавился от волнения.— Попробовать, а?

— Учись,— сказал Юрий Петрович.

Он показал мальчику, как забрасывать спиннинг, и, поддев щуку сучком, пошел к костру. А Колька остался на берегу. Забросы пока не получались, блесна летела куда ей вздумается, но Колька старался.

— Поди, денег стоит,— озабоченно сказал Егор.— Сломает еще.

— Починим,— улыбнулся Юрий Петрович, и Нонна Юрьевна тотчас же улыбнулась ему.

Колька стегал Черное озеро до вечера. Вернулся хмурым, но с открытием:

— За мыском кострище чье-то. Банок много пустых. И бутылок.

Все пошли смотреть. Высокий берег был вытоптан и частично выжжен, и свежие пни метили его, как ослины.

— Туристы,— вздохнул Юрий Петрович.— Вот тебе и заповедный лес. Ай да товарищ Бурьянов!

— Может, не знал он об этом,— тихо сказал Егор.

Туристы умудрились вывернуть из земли и спалить межевой столб: осталась яма да черная голыня.

— Хорошо гуляли! — злился Юрий Петрович.— Столб придется новый поставить, Егор Савельич. Займитесь этим, пока мы вокруг озера обойдем: поглядим, нет ли где еще такого же веселья.

— Сделаем,— сказал Егор.— Гуляйте, не беспокойтесь.

Вечером допоздна засиделись у костра. Утомленный спиннингом, Колька сладко сопел в палатке. Нонну Юрьевну упоенно жрали комары, но она терпела, хотя никакого интересного разговора так и не возникло. Глядели в огонь, перебрасываясь словами, но всем трем было хорошо и спокойно.

— Черное озеро,— вздохнула Нонна Юрьевна.— Слишком мрачно для такой красоты.

— Теперь Черное,— сказал Юрий Петрович.— Теперь Черное, а в старину — я люблю в старые книжки заглядывать — в старину оно, знаете, как называлось? Лебязье?

— Лебязье?

— Лебеди тут когда-то водились. Особенные какие-то лебеди: их в Москву поставляли, для царского стола.

— Разве ж их едят? — удивился Егор.— Грех это.

— Когда-то ели.

— Вкусы были другими,— сказала Нонна Юрьевна.

— Лебедей было много,— улыбнулся Юрий Петрович.— А сейчас, пожалуйста,— Черное. И то чудом спасли.

На предложение обойти озеро Колька отмахнулся: он спозаранку уже покидал спиннинг, убедился, что до совершенства ему далеко, и твердо решил тренироваться. Юрий Петрович встретил его отказ спокойно, а Нонна Юрьевна перепугалась и с перепугу засуетилась неимоверно:

— Нет, нет, Коля, что ты говоришь! Ты должен непременно пойти с нами, слышишь? Это и с познавательной точки зрения и вообще...

— Вообще я хочу щуку поймать,— сказал Колька.

— Потом поймаешь, после. Вот вернемся и...

— Да, вернемся! Мне тренироваться надо. Юрий Петрович вон на пятьдесят метров бросает.

— Коля, но я прошу тебя. Очень прошу пойти с нами.

Юрий Петрович, сдерживая улыбку, следил за струсившей Нонной Юрьевной. Потом сжалился:

— Мы с собой спиннинг возьмем, Егорыч. Тут ты уже всех щук распугал.

Аргумент подействовал, и Колька бросился собираться. А Юрий Петрович сказал:

— А вы, оказывается, трусишка, Нонна Юрьевна.

Нонна Юрьевна вспыхнула — хоть прикуривай. И смолчала.

Оставшись один, Егор неторопливо принялся за дело. Углубил яму саперной лопаткой запасливого Юрия Петровича. Наглядел осину для нового столба, покурил подле, а потом взял топор и затопал вокруг обреченной осины, прикидывая, в какую сторону ее сподручнее свалить. В молодой осинник — осиник жалко. В ельник — так и его грех ломать. На просеку — так убирать придется, мороки часа на три. На четвертую разве сторону?

На той, четвертой стороне ничего примечательного не было: торчал остаток давно сломанной липы. Видно, с тростиночки еще липа эта горя хватила: изогнулась вся, борясь за жизнь. Сучья почти от комя начинались и росли странно, располырой, и тоже извивались в самых разных направлениях. Егор глянул на нее вскользь, потом — еще вскользь, чтоб прицелиться, как осину класть. Потом на руки поплевал, топор поднял, замахнулся, еще раз глянул и... И топор опустил. И, еще ни о чем не думая, еще ничего не поняв, пошел вдруг к той изломанной липе.

Что-то он в ней увидел. Увидел вдруг, разом, словно при всплеске молнии, а теперь забыл и растерянно глядел на затейливое переплетение изогнутых ветвей. И никак не мог понять, что же он такое увидел.

Он еще раз закурил, присел в отдалении и все смотрел и смотрел на эту раскоряку, пытаясь разобраться, что в ней заключено, что поразило его, когда он уже замахнулся на осину. Он приглядывался и справа и слева, откидывался назад, наклонялся вперед, а потом с внезапной ясностью вдруг мысленно отсек половину ветвей и словно прозрел. И вскочил, и заметался, и забегал вокруг этой коряги в непонятном радостном возбуждении.

— Ладно, хорошо,— бормотал он, до физического напряжения всматриваясь в перепутанные ветви.— Тело белое, как у девушки. Это она голову запрокинула и волосы вытирает, волосы...

Он проглотил подкативший к горлу ком, поднял топор, но тут же опустил его и, уговаривая сам себя не торопиться, отступил от липы и снова присел, не сводя с нее глаз. Он уже забыл и про межевой

столб, и про нового лесничего, и про Нонну Юрьевну, и даже про Кольку: он забыл обо всем на свете и ощущал сейчас только неудержимое, мощно нарастающее волнение, от которого дрожали пальцы, туго стучало сердце и покрывался испариной лоб. А потом поднялся и, строго сведя выгоревшие свои бровки, решительно шагнул к липе и занес топор.

Теперь он знал, что рубить. Он увидел лишнее.

Лесничий с учительницей и Колькой вернулись через сутки. Возле давно потухшего костра сидел взъерошенный Егор и по-собачьи смотрел в глаза.

— Тять, а я окуня поймал! — заорал Колька на подходе. — На спиннинг, тять!

Егор не шелохнулся и будто ничего не слышал. Юрий Петрович ковырнул осевшую золу, усмехнулся.

— Придется, видно, нам его и зажарить. На четверых.

— Я кашу сварю, — торопливо сказала Нонна Юрьевна, со страхом и состраданием поглядывая на странного Егора. — Это быстро.

— Кашу так кашу, — недовольно сказал Юрий Петрович. — Что с вами, Полушкин? Заболели?

Егор молчал.

— Столб-то хоть поставили?

Егор обреченно вздохнул, дернул головой и поднялся.

— Идемте. Все одно уж.

Пошел к просеке, не оглядываясь. Юрий Петрович посмотрел на Нонну Юрьевну, Нонна Юрьевна посмотрела на Юрия Петровича, и оба пошли следом за Егором.

— Вот, — сказал Егор. — Такой, значит, столб.

Тонкая, гибкая женщина, заломив руки, изогнулась, словно поправляя волосы. Белое тело матово светилось в зеленом сумраке леса.

— Вот, — тихо повторил Егор. — Стало быть, так вышло.

Все молчали. И Егор сокрушенно умолк и опустил голову. Он уже знал, что должно было последовать за этим молчанием, уже готов был к ругани, уже жалел, что снова увлекся, и сам ругал себя последними словами.

— Баба какая-то, — удивленно хмыкнул подошедший Колька.

— Это — чудо, — тихо сказала Нонна Юрьевна. — Ничего ты, Коля, еще не понимаешь.

И обняла его за плечи. А Юрий Петрович достал сигареты и протянул их Егору. Когда закурили оба, спросил:

— Как же ты один дотацил-то ее, Савельич?

— Значит, сила была, — тихо ответил Егор и заплакал.

копыч, заняв очередь девятнадцатым: у завмага да продавщиц не один Федор Ипатич в знакомых ходил.

— Наше почтение, — отозвался Федор Ипатович и газету развернул — показать, что в разговоры вступать не готовится.

В другой бы день Яков Прокопыч, может, и обратил бы внимание на непочтение это, может, и обиделся бы. А тут не обиделся, потому что новость нес обжигающую и спешил ее с души сложить.

— Что о ревизии слыхать? Какие эффективности?

— О какой такой ревизии?

— О лесной, Федор Ипатыч. О заповедной.

— Не знаю я никакой ревизии, — сказал Федор Ипатыч, а строчки в газете вдруг забежали, буквы запрыгали, и ни единого слова уже не читалось.

— Тайная, значит, ревизия, — сделал вывод Яков Прокопыч. — А свояк ничего не сообщает?

— Какой такой свояк?

— Ваш. Егор Полушкин.

Совсем у Федора Ипатовича в глазах зарябило: какая ревизия? При чем Егор? И спросить хочется, и солидность терять боязно. Сложил газету, сунул ее в карман, похмурился.

— Известно, значит, всем.

А что известно — и сам бы узнать не прочь. Да как?

— Известно, — согласился Яков Прокопыч. — Известны только выводы.

— Какие выводы? — Федор Ипатыч насторожился. — Не будет выводов никаких.

— Видать, не в полном вы курсе, Федор Ипатыч, — сказал введливый Сазанов. — Будут строгие выводы. На будущее. Для тех выводов учительницу и включили.

Какая комиссия? Какая учительница? Какие выводы? Совсем уж Федор Ипатыч намеками истарзался, совсем уж готов был в открытую у Якова Прокопыча все расспросить, да как раз в миг этот магазин открыли. Все туда потекли, вдоль прилавков выстраиваясь, и разговор оборвался.

И уж только потом, когда полностью отоварились, возобновился: Федор Ипатович специально на улице поджидал.

— Яков Прокопыч, чего-то я недопонял. Где, говорите, Полушкин-то обретается?

— В лесу он обретается: комиссию ведет. В ваши заповедные кварталы.

Туча тучей Федор Ипатович домой вернулся. На Марьицу рывкнул, что та чуть стакан в руках удержала. Сел к завтраку — кусок в горло не лез. Ах, Егор Полушкин! Ах, змея подколодная! Недаром, видать, с учителькой любезность разводил: под должность копают. Под самый корешок.

Весь день молчал, думы свои чугунные ворочал. И комиссия не праздник, и ревизия не подарок. Но это еще так-сяк, это еще стерпеть можно, а вот то, что свой же сродственник, друг-приятель, бедоносец чертов, корень жизни твоей вагой поддел, это до глухоты обидно. Огнем это жжет, до боли непереносимой. И простить этого Федора Ипатович не мог. Никому бы этого не простил, а Егору — особо.

Два дня сам не свой ходил и ел через раз. На Марьицу рычал, на Вовку хмурился. А потом отошел вроде, даже заулыбался. Только те, кто хорошо Федора Ипатовича знал, улыбку эту, навеки застывшую, по достоинству оценили.

Ну, а Егор Полушкин про эту улыбку и знать ничего не знал и не догадывался. Да если бы и знал, внимания бы не обратил. Не до чужих улыбок ему было — сам улыбался от уха до уха. И Колька улыбался, не веря собственному счастью: Юрий Петрович ему на всеобщих радостях спиннинг подарил.

17

В то утро, когда Егор круги на воде считал да ненароком Нонной Юрьевной любовался, у продовольственного магазина встретились Федор Ипатович с Яковом Прокопычем. Яков Прокопыч по пути на свою водную станцию всегда в магазин заглядывал, аккурат к открытию: не выбросили ли чего любопытного? А Федор Ипатович приходил по сигналам сверху: ему лично завмага новости сообщал. И сегодня он сюда за селедочкой наострился: забросили в эту точку баночную селедочку. Деликатес. И за этим деликатесом Федор Ипатович первым в очереди угнездился.

— Здорово, Федор Ипатович, — сказал Яков Про-

— Главное, я не сразу углядел-то! — в сотый раз с неиссякаемым восторгом рассказывал Егор. — Сперва, значит, вроде ударило меня, а потом позабыл, чего ударило-то. Глядел, глядел, значит, и углядел!

— Учиться вам надо, Егор Савельич, — упрямо талдычила Нонна Юрьевна.

— Вам оно, конечно, виднее, а меня ударило! Ударило, поверите ли, мил-дружки вы мои хорошие!

Так, радостно вспоминая о своем внезапном озарении, он и пригопал в поселок. И на крайней улице вдруг остановился.

— Что стал, Егор Савельич?

— Вот что, — серьезно сказал Егор и вздохнул. — Не обидите, а? Радость во мне сейчас расставаться не велит. Может, ко мне пожалуете? Не ахти, конечно, угощения, но, может, честь окажете?

— Может, лучше потом, Егор Савельич? — замялась Нонна Юрьевна. — Мне бы переодеться...

— Так хороши, — сказал Юрий Петрович. — Спасибо, Егор Савельич, мы с удовольствием.

— Да мне-то за что, господи? Это вам спасибо, вам!

День был будним, о чем Егор за время своей вольной жизни как-то позабыл. Харитина работала, Ольга в яслях забавлялась, и дома их встретило только кошкони неудовольствие. Егор шарахнул по всем закрамам, но в закрамах было пусто, и он сразу засуетился.

— Счас, счас, счас. Сынок, ты картошечки спроворь, а? Нонна Юрьевна, вы тут насчет хозяйства сообразите. А вы, Юрий Петрович, вы отдохайте куда, отдохайте.

— Может, хозяйку подождем?

— А она аккурат и поспеет, так что отдохайте. Курите тут, умойтесь. Сынок покажет.

Торопливо бормоча гостеприимные слова, Егор уже несколько раз успел слазить за тихвинскую богиню, ощупать пустую коробку из-под конфет и сообразить, что денег в доме нет ни гроша. Это обстоятельство весьма озадачило его, добавив и без того нервной суетливости, потому что параллельно с бормотанием он лихорадочно соображал, где бы раздобыть десятку. Однако в голову, кроме сердитого лица Харитины, ничего путного не приходило.

— Отдыхайте, значит. Отдыхайте. А я, это... Сбегаю, значит. В одно место.

— Может, вместе сбегаем? — негромко предложил Юрий Петрович, когда Нонна Юрьевна вышла вместе с Колькой. — Дело мужское, Егор Савельич.

Егор строго нахмурился. Даже пальцем погрозили.

— Обижаетесь. Ты гость, Юрий Петрович. Как положено, значит. Вот и сиди себе. Кури. А я похлопочу.

— Ну, а если по-товарищески?

— Не надо, — вздохнул Егор. — Не портить праздник.

И выбежал.

Одна надежда была: на Харитину. Может, с собой она какие-никакие капиталы носила, может, одолжить у кого-нито могла, может, присоветовать что путное. И Егор с пустой кошелкой, на дне которой сиротливо перекатывалась пустая бутылка, перво-наперво рванул к своей благоверной.

— А меня спросил, когда приглашал? Вот сам теперь и привечай, как знаешь.

— Тинушка, невозможное ты говоришь.

— Невозможное? У меня вон в кошелке невозможного — полтора целковых до полочки. На хлеб да Ольке на молоко.

Красная она перед Егором стояла, потная, взломаченная. И руки, большие, распаренные, перед собой на животе несла. Бережно, как кормильцев дорогих.

— Может, одолжим у кого?

— Нету у нас одалживателей. Сам звал, сам и хлопочи. А я твоих гостей и в упор не вижу.

— Эх, Тинушка!..

Ушла. А Егор вздохнул, потоптался в парном коридоре, что вел на кухню, и вдруг побежал. К последней пристани и последней надежде: к Федору Ипатовичу Бурьянову.

— Так, так, — сказал, выслушав все, Федор Ипатович. — Значит, в полном удовольствии лесничий пребывал?

— В полном, Федор Ипатыч, — подтвердил Егор. — Улыбался.

— К Черному озеру ходили?

— Ходили. Там... это... туристы побывали. Лес пожгли маленько, набедили.

— И тут он улыбался, лесничий-то?

Егор вздохнул, опустил голову, с ноги на ногу перемялся. И надо было бы соврать, а не мог.

— Тут он не улыбался. Тут он тебя поминал.

— А когда еще поминал?

— А еще порубку старую на обратном конце нашли. В матером сосеннике.

— Ну, и какие же такие будут выводы?

— Насчет выводов мне не сказано.

— Ну, а на порубку-то кто их вывел? Компас, что ли?

— Сами вышли. На обратном конце.

— Сами, значит? Умные у них ноги. Ну-ну.

Федор Ипатович сидел на крыльце в старой рубахе без ремня и без пуговиц — враспах. Подгонял топорича под топоры: штук десять топоров перед ним лежало. Егор стоял напротив, переступая с ноги на ногу: в кошелке брякала пустая пол-литра.

Стоял, переминался, глаза отводил: тот, кто в долг просит, тот загодя виноват.

— Все, значит, сами. И туристов сами нашли, и порубки старые: ловко. Умные, выходит, люди, а?

— Умные, Федор Ипатыч, — вздохнул Егор.

— Так, так. А я, глянь, чего делаю. Я инвентарь чиню: его по описи передавать придется. Ну, так как скажешь, Егор, зря я его чиню или не зря?

— Так чинить — оно не ломать. Оно всегда полезное дело.

— Полезное, говоришь? Тогда слушай мой вывод.

Вон со двора моего сей же момент, пока я Пальму на тебя не науськал! Чтоб и не видел я тебя более и слыхом не слыхивал. Ну, чего стоишь, переминаешься, бедоносец чертов? Вовка, спускай Пальму! Куси его, Пальма, цапай! Цапай!

Тут Пальма и впрямь голос подала, и Егор ушел. Нет, не от Пальмы: сроду еще собаки его не трогали. Сам собой ушел, сообразив, что денег тут не одолжат. И очень поэтому расстроился.

Вышел со двора, постоял, поглядел на петуха, что топором его был сработан. Улыбнулся ему, как знакомому, и враз расстройство его пропало. Ну, не добыл он денег на угощение, ну, стоит ли из-за этого печаловаться, раз с крыши петух орет, а в лесу дева белая волосы расчесывает? Нет, Федор Ипатыч, не достигнешь ты теперь до обиды моей, потому что во мне покой поселился. Тот покой, который никогда не посетит тебя, никогда тебе не улыбнется. А что денег нет и людей принять не могу, так то пустое. Раз деву они мою поняли, так и это они поймут.

И, подумав так, он с легким сердцем и пустой кошелкой потрусил к собственному дому. И пустая бутылка весело брякала в такт.

— Товарищ Полушкин! Полушкин!
Оглянувшись: Яков Прокопыч. С лодочной, видно, станции: ключи в руке несет.

— Здоров, товарищ Полушкин. Куда поспе- шаете-то?

Сказал Егор, куда поспешает.

— Гость важный,— отметил Яков Прокопыч.— А кошелка пустая. Нескладность.

— Чайком побалуемся.

— Нескладность,— строго повторил Яков Прокопыч.— Однако, если по-соседски, то можно рассу- дить. Я имею непочатую банку селедки и заход в магазин с твоей пустой кошелкой. А ты имеешь важного гостя. Пойдет?

— Что пойдёт-то? — не понял Егор.

Яков Прокопыч с упреком посмотрел на него. Вдохнул даже, коря за несообразительность.

— Знакомство.

— Ага! — сказал Егор.— С тобой, что ли?

— Я прихожу со всем припасом из магазина. Ты мне радуешься и знакомишь. Как бывшего справедливого начальника.

— Ага,— с облегчением сказал Егор, уразумев наконец всю сложность товарообмена.— Это пойд- дет.

— Это ты молодец, товарищ Полушкин,— с чув- ством отметил Яков Прокопыч, забирая у Егора пу- стую кошелку.— Лесничий — птица важная. Ежели она не перелетная, конечно.

С тем они и расстались. Егор припустил домой, где уже вовсю кипела картошечка. А через полчаса появился и сам Яков Прокопыч с тяжелой кошелкой, в которой уже не брякало, а булькало. На Якове Прокопыче был невероятно новый костюм и соло- менная шляпа с дырочками.

А фокус состоял в том, что Яков Прокопыч очень любил знакомиться с людьми, занимающими пост. И чем выше был пост, тем больше любил. Даже хвастался:

— У меня секретарь знакомый. И два предсе- дателя.

И незачем для него было, чего они там предсе- датели, а чего секретари. У него свой табель был.

И нового лесничего он точно вычислил: чуть по- выше директора совхоза и чуть пониже инструктора райкома. А личные качества Юрия Петровича Чу- валова не интересовали Якова Прокопыча. Ну зато, правда, он никаких благ от него получать и не рас- считывал. Он бескорыстно знакомился.

— Строгости соблюдаем мало,— говорил он за столом.— Много стало отвлечения в нашем народе. А вот берем мою жизнь: что в ней главное? Глав- ное в ней — что велено. Но я же один, и мне не ра- достно. Что-то мне, дорогой, уважаемый товарищ, не радостно. Может, я чего не достиг, может, я че- го недопонял, не знаю. Знаю, что вхожу в возраст, сказать научно, без полного к себе уважения. Не- понятность.

Юрий Петрович с трудом поддерживал его воз- вышенную беседу, а Егор и вовсе не слушал. Он счастлив был, что в его доме сидят хорошие, весе- лые люди и что Харитина, с работы вернувшись, грудь свою выпятила совсем по другому поводу.

— Гости вы наши дорогие, здравствуйте! Нонна Юрьевна, красавица ты моя, зарумянилась-то как на нашем солнышке! Налилась, девушка, что яблочко, вызрела!

И с Нонной расцеловалась, и Егора уважительно звала, и из тайников своих конфеты с печеньем вы- гребла. А потом увела Нонну Юрьевну на кухню. О чем они там говорили, он не знал, но не пугался, потому что в хорошее верил торопливо и радостно. Не знал, что строгая, шумная и сильная жена его

на табурет рухнула и заплакала. вдруг тихо и жа- лобно:

— Силушек моих нет, Нонна ты моя дорогая Юрьевна. Измотал меня муж мой, измучил и снов лишил. Пусть бы лучше пил он ежедень, пусть бы лучше бил он меня, пусть бы лучше на чужие юб- ки поглядывал. Годы идут, дети растут, а крепости в жизни нашей нету. Никакой нету крепости, девушка. И сегодня нету, и завтра не будет. А можно ли без семейной крепости да людской уважительности де- тей выпестовать? Мать тело питает, отец — душу, так-то мир держится. А коли в семье разнотык, ко- ли я, баба темная да немудрая, и за мать и за от- ца, и хлебом кормлю и душу креплю, так беда ведь то, Нонна Юрьевна, горе горькое! Не скре- пим мы, бабы, душ сынов наших. Крикливы мы, да отходчивы, слезливы да ненаходчивы. Весь день в стирках да стряпне, в тряпках да белье, а на кухне мужика не вырастишь.

Так она плакала, а для Егора все было распре- красно, все было правильно, и после третьей рю- мочки он не выдержал:

— Спокой, Тина, а? Уважь гостей дорогих.

Сказал и испугался: опять «тягры» свои понесет. А Харитина грудь надула, голову откинула, подна- тужилась и завела — аж стекла задрезбуждали:

Зачем вы, девочки, красивых любите...

И Юрий Петрович, брови сдвинув, подпевать ей принялся. А за ним и Нонна Юрьевна: тихонечко, себя стесняясь. А там и Егор с Колькой. Харитина песню вела, а они пели. Уважительно и с береже- нием.

Только Яков Прокопыч не пел: хмурился. И жа- лел, что угощение зря потратил: если начальник песни вторым голосом поет,— разве это начальник? Нет, такой долго не продержится, это точно. Сго- рит.

18

Весь поселок слышал, какие песни пели у По- лушкина. Как потом всем застольем Нонну Юрьевну провожали, как смеялась она и как Егор лично ей спел свою любимую:

Ах, люди добрые, поверьте,
Ды расставање, ды хуже смерти!

А Юрий Петрович вернулся ночевать к Егору, Кольке в доме постелили, и мужчины легли в сара- юшке. И вот, о чем они говорили, об этом никто не слышал, потому что разговор тот был серьезным:

— Егор Савельич, что если я вам этот лес поручу?

— А как же свояк? Федор Ипатыч?

— Жук ваш Ипатыч. Жук и прохвост: сами видели. Ну, а если по совести? Если лесником вас — будет порядок?

Егор помолчал, поразмыслил. Недельку бы назад он за такое предложение горло бы свое надсадил, за- веряя, что и порядок будет, и работа, и все, что положено. А сейчас — странное дело! — сейчас вроде бы и не очень обрадовался. Нет, обрадовался, конечно, но радости своей не высказал, а спокойно обдумал все, взвесил и сказал, как солидный му- жик:

— Порядок будет полный.

— Ну, спасибо, Егор Савельич. Завтра все и ре- шим. Спокойной ночи.

Юрий Петрович на бок повернулся и сонно зады- шал, а Егор долго лежал без сна. Лежал, думал хо- рошие думы, чувствовал полный, торжественный по-



кой, прикидывал, что он сделает в лесу доброго и полезного. И думы эти совсем незаметно перешли в сон, и уснул он крепко и глубоко, как парнишка. Без тревог и волнений.

А вот Федор Ипатыч спал плохо: всхрапывал, метался, просыпался вдруг и собаку слушал. Пальма цепью звякала, рвалась куда-то, лаяла на всю округу, и Федор Ипатыч жалел, что не старая она собака. Злился, ворочался с боку на бок, а потом решил, что жалко не жалко, а весной все равно ее пристрелит. И с этим радостным решением кое-как протянул до утра в тягостной полудремоте.

Завтракать сел без всякого аппетита. Ковырлял яшенку вилкой, хмурился, на Марьицу ворчал. А потом в окно поглядел и чуть вилку не выронил.

Перед домом его стояли Егор Полушкин и новый лесничий Юрий Петрович Чувалов. Егор чего-то на петуха показывал и смеялся. Зубы щерил.

— Убери-ка все это, Марьица,— сказал Федор Ипатович.

— Что все, Феденька?

— Жратву убери! — рявкнул он вдруг.— Все, чтоб дочиста на столе!

Не успела Марьица стол вытереть — дверь распах-

нулась, и оба вошли. Поздоровались, но рук не подали. Ну, Егору-то первому и не положено вроде, а вот, что Чувалсв от бурьяновского пожатия свою уберег, это Федора Ипатовича насторожило.

— Славный у вас домик,— сказал Юрий Петрович.— Не тесно втроем-то?

— Это кому тесно? Это нам тесно? Это в родном-то доме!— начала было Марьяца.

— Годи!— крикнул хозяин.— Ступай отсюда. У нас свой разговор.

Вышла Марьяца к сыну в соседнюю комнату. А Вовка знак ей там сделал и опять ухом к щели замочной припал.

— И полы тесаные. Богато.

— Все уплачено. Все — по закону.

— Насчет закона мы суд спросим. А пока займемся делом: вот вам новый лесник, товарищ Полушкин Егор Савельич. Прошу в моем присутствии по акту передать ему имущество и документацию.

— Приказа не вижу.

— С приказом не задержу.

— Когда будет, тогда и передам.

— Не осложняйте своего положения, Бурьянов. Передадите сейчас, приказ получите завтра. Все ясно? Вот и приступим. Как, Егор Савельич?

— Приступим,— сказал Егор.

— Ну, добро.— Федор Ипатович как пуд уронил.— Приступим.

Два дня Егор имущество принимал, каждый топор, каждый хомут осматривал. А потом проводил Юрия Петровича в город, запряг поступившую в его распоряжение казенную кобылу и вместе с Колькой подался в заповедный лес. Наводить порядок.

— Когда вернетесь-то? — спросила Харитина.

— Не скоро,— сказал.— Пока все там не уделаем как требуется, не вернемся.

Колька вожжами подергал, почмокал: поехали. А Юрий Петрович тем временем, в город прибив, написал сразу два приказа: о снятии с работы Бурьянова Ф. И. и о назначении на должность Полушкина Е. С. Потом оттащил начальнику угрозыска папочку Федора Ипатовича, сочинил заявление, какое требовалось для возбуждения дела, а придя домой, сел за письмо. Крупными буквами написал:

«Здравствуй, дорогая мамочка!»

Закончив письмо, долго сидел, сдвинув брови и уставясь в одну точку. Потом взял ручку, решительно вывел: «Дорогая Марина!» — подумал, зачеркнул «дорогая», написал «уважаемая», зачеркнул и «уважаемую» и бросил ручку. Письмо не складывалось, аргументы казались неубедительными, мотивы неясными, и вообще он еще не решил, стоит ли писать это письмо. И не написал.

А Егор упоенно чистил лес, прорубал заросшие просеки, стаскивал в кучи валежник и сухостой. Он соорудил шалаш, где и жил вместе с Колькой, чтобы не тратить зазря время на поездки домой. И все равно времени ему не хватало, и он был счастлив оттого, что ему не хватает времени, и если бы сутки были вдвое длиннее, он бы и тогда загрузил их от зари до зари. Он работал с азартом, с изнуряющим, почти чувственным наслаждением и, засыпая, всегда успевал подумать, какой он счастливый человек. И спал с улыбкой, и просыпался с улыбкой, и весь день ходил с нею.

— Сынок, ты стихи сочинять умеешь?

Колька сердито засопел и не ответил. Егор, не даваясь, спросил еще раз, погода. Колька опять засопел, но ответил:

— Про это не спрашивают.

— Я для дела,— пояснил Егор.— Понимаешь, сынок, турист все едино сюда проникнет, потому как весь лес не огородишь, а один я не услежу. И бу-

дет снова Юрию Петровичу расстройство. Ну, конечно, можно надписи туристу сделать: мол, то разрешено, а это запрещено. Только ведь скучно это, надписи-то в лесу, правда? Вот я и удумал: стихи. Хорошие стихи о порядке. И туристу будет весело, и нам покойно.

— Ладно,— вздохнул Колька.— Попробую.

После оды на смерть Ункаса Колька написал только одно стихотворение — про девочку с косичками и про любовь до гроба, — но ничего хорошего из этого не вышло. Оля Кузина показала стихи Вовке Бурьянову, Вовка с гоголем зачитал их классу, и Кольку долго дразнили женихом. Он сильно расстроился и решил навсегда порвать с творчеством.

— Для дела разве что. А так — баловство это, тять.

— Ну не скажи,— усомнился Егор.— А песни как же тогда?

— Ну, что песни, что песни... Не будешь же ты песни туристам петь, правда?

— Не буду,— согласился Егор.— Некогда. Мы их... это... выжжем.

На другой день Колька не пошел с отцом в кварталы и подальше отложил спиннинг. Достал тетрадку, карандаш и, хмурясь и сердито шевеля губами, начал сочинять стихи. Дело оказалось трудным, Колька взмок и уморился, но к вечеру выдал первую продукцию.

— Ну, слушай, тять.— Колька в поисках вдохновения посмотрел в вечернее небо, откашлялся и зачастил:

Граждане туристы,
чтобы было чисто,
не палите по лесу
множество костров.
Вы найдите лучше,
где дровишек куча
и кострище сделано
лесником.

— Ага,— сказал Егор.— Про кострище — это хорошо, а то еще, не дай бог, лес поपालят. Это пойдет, сынок, молодец.

— У меня еще про муравьев есть,— объявил Колька, явно польщенный отцовским признанием.— Так, значит:

Я муравей,
я — житель лесной,
и дом мой стоит
под высокой сосной.
Ты мимо пройди
и не трогай его,
нам больше не надо
от вас ничего.

— Вот это да! — с чувством сказал Егор.— Это ты здорово сочинил. И складно.

— Я завтра еще сочиню! — закричал Колька вдохновенно.— Я, может, целую поэму сочиню!

— Надо, чтоб коротко,— уточнил Егор.— Коротко и ясно. Вот, как про мурашей.

— Будет коротко,— уточнил Колька.— Коротко и звонко.

Оставив Кольку сочинять звонкие стихи, Егор на другой день отправился домой. Настругал досок, сколотил из них щиты, погрузил все на телегу, и много-терпеливая казенная кобыла уже к вечеру тронулась в обратный путь к шалашу возле Черного озера.

Старая кобыла шла степенным шагом. Егор сосредоточенно бил комаров и размышлял, что бы еще такое уделать в подведомственном лесу. Может, матерые деревья переметить, чтоб — упаси бог! — не повалил кто на дровишки или на материал. Может, еще что сообразить для туристов, которые, проню-



хав про заповедный уголок, теперь уж ни за что не оставят его в покое. А может, действительно переписать всю лесную живность в толстую тетрадь и подарить эту тетрадь Юрию Петровичу: то-то, поди, удивится!

И так он трясся на телеге по торной лесной дороге и думал свои думы, пока тягучий треск падавшего дерева не привлек его внимания. С тяжким вздохом упало это дерево на землю, на миг стало тихо, а Егор, натянув вожжи, спрыгнул с телеги и побежал. И пока бежал, все отчетливее стучали торопливые воровские топоры, и он бежал на этот стук.

Подле поваленного ствола колошились двое, обрубая сучья. Но Егор сейчас не считал порубщиков: двое — так двое, пятеро — так пятеро. Он осознал свое право, и это сознание делало его бесстрашным. И поэтому он просто забежал со стороны просеки, чтоб дорогу им отсечь, сквозь кусты выломился и заорал:

— Стой и с места не сходи! Фамилия?

Обернулись те двое: Филя и Черепок. И Егор остановился, точно на пень набежал.

— Во! — сказал Филя. — Помощник пришел.

А Черепок глядел злыми, красными глазками. И молчал.

— Какое интересное получается явление, — про-

должал Филя, улыбаясь еще приветливее, чем прежде, в дружеские времена.— Историческая называется встреча. На высоком уровне за круглым пенником.

— Зачем повалили? — тупо спросил Егор, пнув ногой лесину.— Кто это велел валить?

— Долг,— вздохнул Филя, но улыбку не спрятал.— Зачем, интересуешься спросить? А в фонд. Отгрозим завтра три пустых пол-литры: пусть жгут танки империализма бензиновым огнем.

— Кто велел, спрашиваю? — Егор изо всех сил сдвинул брови, чтоб стать строгим хоть маленько.— Опять шабашка ваша дикая, так понимать, да?

— Понимай так, что три пол-литра.— Филя сладко причмокнул и зажмурился.— Одну можем тебе подарить, если поспособствуешь.

Егор поглядел на странно сопевшего Черепка, сказал:

— Топоры давайте.

— Топоры мы тебе не дадим,— сказал Филя.— А дадим либо пол-литра, либо по шее. Сам выбирай, что тебе сподручнее.

— Я как официальный лесник тутошнего массива официально требую...

— А фамилия моя сегодня будет Пупкин,— вдруг глухо, как из бочки, сказал Черепок.— Так и запиши, полицай проклятый.

Замолчал, и сразу стало тихо-тихо, только стрекоты звенели. И Егор услышал и этот звон и эту тишину. И вздохнул:

— Какой такой полицай? Зачем так-то?

— В начальство вылез? — захрипел Черепок.— Вылез в начальники и уже измываешься? Уже фамилию спрашиваешь? А это ты видал? Видал, мать твою перемать?..

Он картинно рванул на груди перепревшую, ветхую рубаху, и она распалась от плеча до пупка, распалась вдруг, без звука, как в немом кино. Черепок, выскользнув из рукавов, повернулся и подставил Егору потную спину:

— Видал?

Грязная, согнутая колесом спина его была вся в бугристых сизых шрамах. Шрамы шли от бока до бока, ломаясь на худой, острой хребтине.

— Художественно расписано,— сказал Филя, ухмыляясь.— Видно руку мастера.

— Все тут расписаны, все! — кричал Черепок, не разгибаясь.— И полицай, и эсэсы, и жандарма немецкая. Ты тоже хочешь? Ну, давай! Давай расписывайся!

— Жену с маленькими детьми у него полицай в избе сожгли,— тихо и неожиданно серьезно сказал Филя.— Укройся. Укройся, Леня, не перед тем выставишься.

Черепок покорно накинуд разодранную рубаху, всхлипнул и сел на только что сваленную сосну. Невзирая на зной, его трясло, он все время тер корявыми ладонями небритое лицо и повторял:

— А жить-то когда буду, а? Жить-то когда начну?

И опять Егор услышал звон стрекоты и звон тишины. Постоял, ожидая, когда схлынет с сердца тягостная жалость, посмотрел, как вздрагивает в непонятном ознобе Черепок, и гулко сглотнул, потому что сжало вдруг горло Егорова, аж подбородок затрясся. Но он проглотил этот ком и тихо сказал:

— При законе я состою.

— А кто знает-то будет? — спросил Филя.— Что он, считанный, лес-то твой?

— Все у государства считано,— сказал Егор.— И потому требую из леса утечь. Завтра акт на порубку составляю. Топоры давайте.

Руку к топорам протянул, но Филя враз перехватил тот, какой поближе. И на руке взвесил:

— Топор тебе? А топором не желаешь? Лес глухой, Егор, а мы люди темные...

— Отдай ему топор,— сказал вдруг Черепок.— Света я не люблю. Я темь люблю.

И пошел сквозь кусты, рубахи не подобрав. И разорванная, перепревшая рубаха волочилась за ним, цепляясь за сучья.

— Ну, Егор, не обижайся, когда впотьмах встретимся!

Это Филя на прощание сказал, топоры ему швырнув. А Егор заклеил поваленные деревья, забрал топоры и вернулся к сонной кобыле. Сел в телегу, вжал в вдруг кнутом по неповинной казенной спине и затрясся к озеру. Только топоры о щиты брякали.

У озера Колька ждал со стихами про хорошее поведение. И это было единственным, о чем хотел сейчас думать Егор.

19

С каждым днем Нонна Юрьевна все острее ощущала необходимость съездить в город. То ли за книжками, то ли за тетрадками. Сперва мыкалась, а потом пошла к директору школы и многогословно, волнуясь, сообщила ему, что учебного года без этой поездки начать невозможно. И что она хоть сейчас готова поехать и привезти все, что требуется.

— А что требуется? — удивился директор.— Ничего, слава богу, не требуется.

— Глобус,— сказала Нонна Юрьевна.— У нас совсем никудышный глобус. Вместо Антарктиды — дыра.

— Нет у меня лимитов на ваши Антарктиды.— проворчал директор.— Они глобусами в футбол играют, а потом дыра. Кстати, с точки зрения философской дыра — это тоже нечто. Это некое пространство, окруженное материальной субстанцией.

— Могу и футбол купить,— с готовностью заявила Нонна Юрьевна.— И вообще. Инвентарь.

— Ладно,— согласился директор.— Если в тридцатку уложитесь,— отпущу. Дорога за ваш счет.

В городе проходило какое-то областное совещание, и мест в гостиницах не оказалось. Однако это обстоятельство скорее обрадовало Нонну Юрьевну, чем огорчило. Она тут же позвонила Юрию Петровичу, сказала, что ее насильно отправили сюда в командировку, и не без тайного злорадства сообщила, что мест в гостиницах нет.

— Вы человек авторитетный,— говорила она, улыбаясь телефонной трубке.— Походатайствуйте за командировочного педагога из дремучего угла.

— Походатайствую,— сказал Юрий Петрович бодро.— Голодная, поди? Ну приходите, что-нибудь сообразим.

— Нет...— вдруг пискнула Нонна Юрьевна.— То есть приду.

Именно в этот момент Нонна вдруг обнаружила, что в ней до сего времени мирно уживались два совершенно противоположных существа. Одним из этих существ была спокойная, уверенная в себе женщина, выбившая липовую командировку и ловко говорившая по телефону. А другим — трусливая девчонка, смертельно боявшаяся всех мужчин, а Юрия Петровича особенно. Та девчонка, что пискнула в трубке «нет».

А Юрий Петрович вместо ходатайства в буфет бросился. Накупил булочек, молока, сладостей, заказал чай горничной. Только успел в номере прибраться и накрыть на стол, как постучала сама Нонна Юрьевна:

— Извините. Вам не удалось помочь мне, Юрий Петрович?

— Что? Ах да, с устройством. Я звонил. Обещали к вечеру что-нибудь сделать, но без гарантии. Вот чайку попьем — еще позвоню.

Врал Юрий Петрович с некоторым прицелом, хотя никаких заранее обдуманных намерений у него не было. Просто ему очень нравилась эта застенчивая учительница, и он не хотел, чтобы она уходила. Номер был двухкомнатный. Втайне мечталось, что Нонна Юрьевна вынуждена будет остаться здесь до утра. Вот и все, а остальное он гнал от себя искренне и настойчиво. И потому угощать Нонну Юрьевну мог с чистой совестью.

Проголодавшаяся путешественница поглощала бутерброды с неведимым аппетитом. Юрий Петрович лично соорудил их для нее, а сам довольствовался созерцанием. И еще расспрашивал: ему нравилась ее детская привычка отвечать с набитым ртом.

— Значит, вы считаете исполнительность положительным качеством современного человека?

— Безусловно.

— А разве тупое «будет сделано» не рождает бездумного соглашательства? Ведь личность начинается с осознания собственного «я», Нонна Юрьевна.

— Личность сама по себе еще не идеал: Гитлер тоже был личностью. Идеал — интеллигентная личность.

Нонна Юрьевна была максималисткой, и это тоже нравилось Юрию Петровичу. Он все время улыбался, хотя внутренне подозревал, что эта улыбка может выглядеть идиотской.

— Под интеллигентной личностью вы понимаете личность высокообразованную?

— Вот уж нет. Образование — количественная оценка человека. А интеллигентность — оценка качественная. Конечно, количество способно переходить в качество, но не у всех и не всегда. И для меня, например, Егор Полушкин куда более интеллигент, чем некто с тремя дипломами.

— Суровая у вас шкала оценки.

— Зато правильная.

— А еще какое качество вы хотели бы видеть в людях?

— Скромность, — сказала она, вдруг потупившись.

Юрий Петрович подумал, что этот ответ скорее реакция на ситуацию, чем точка зрения, но развивать эту тему не решился. К этому времени Нонна Юрьевна съела все пирожные и теперь послушно дохлебывала пустой чай.

— Вы не позабудете позвонить насчет гостиницы?

— Ах, да! — спохватился Юрий Петрович. — Конечно, конечно.

Он прошел к телефону и, пока Нонна Юрьевна убирала со стола, набрал несуществующий номер. В трубке сердито гудело, и Юрий Петрович боялся, что она услышит этот гудок. И говорил громче, чем требовалось:

— Коммунхоз? Мне начальника отдела. Здравствуйте, Петр Иванович, это Чувалов. Да-да, я звонил вам. Что? Но это невозможно. Иван Петрович! Что вы говорите? Послушайте, я очень вас прошу...

По неопытности Юрий Петрович не только путал имя начальства, но и не делал пауз между предложениями, и если бы Нонна Юрьевна слушала, что он бормочет, она бы сразу все поняла. Но Нонна Юрьевна была погружена в свои думы, предоставляя Юрию Петровичу возможность наивно врать в гудящую телефонную трубку.

Секрет заключался в том, что Нонна Юрьевна впервые в жизни была в гостях у молодого человека.

Пока шел студенческий ужин с молоком и пирожными, девчонка, уживавшаяся в ее существовании рядом с женщиной, чувствовала себя вполне в своей тарел-

ке. Но когда чаепитие закончилось, а за окном сгустились сумерки, девчонка стала пугливо отступать на второй план. А на первый все заметнее выходила женщина: это она сейчас оценивала поведение Юрия Петровича, это она чувствовала, что нравится ему, это она настойчиво вспоминала, что никто не заметил, как Нонна Юрьевна прошла в этот номер.

И еще эта женщина сердито говорила сейчас Нонне: «Не будь душой». Нонна очень пугалась этого голоса, но он звучал в ней все настойчивее: «Не будь душой. Ты же ради него организовала эту командировку, так не будь же идиоткой, Нонка». И Нонна очень пугалась этого голоса, но не спорила с ним.

Вот почему она и не разобралась в наивной игре Юрия Петровича с телефонной трубкой. А ощутила только, когда он сказал:

— Знаете, Нонна, а мест действительно нет. Ни в одной гостинице.

Женщина возликовала, а девчонка перетрусилась. И Нонна никак не могла сообразить, что же делать ей-то самой: радоваться или пугаться.

— А я? — Юрий Петрович спросил сердито, потому что боялся, как бы Нонна не заподозрила его в тайных намерениях. — Номер «люкс», места хватит.

— Нет, нет... — сказала Нонна Юрьевна, но эти два «нет» прозвучали, как одно «да», и Юрий Петрович молча пошел стелить себе на диване.

Теперь, когда молчаливо решилось, что Нонна остается, они вдруг перестали разговаривать и вообще старались не видеть друг друга. И пока сидевшая в Нонне девчонка замирала от страха, женщина вела себя с горделивой невозмутимостью.

— Можно воспользоваться ванной?

— Пожалуйста, пожалуйста. — Юрий Петрович вдруг засуетился, потому что это спросила женщина, и он мгновенно почувствовал себя мальчишкой. — Полотенце только сегодня меняли. Вот...

— Благодарю вас.

И женщина гордо проследовала мимо, перебросив через руку свой самый нарядный халатик. Юрий Петрович еще не успел прийти в себя от неожиданного тона, как трусливая девчонка тут же высунула голову из ванной комнаты:

— Тут задвижки нет!

— Я знаю, не беспокойтесь, — улыбнулся Юрий Петрович, почувствовав некоторое облегчение.

Надо сказать, что в отличие от Нонны Юрьевны он попадал в сходные ситуации, но всегда все его женщины сами решали, как им поступать, и Юрию Петровичу оставалось только не быть идиотом. Но женщина, которая вдруг выглядывала из Нонны Юрьевны, скорее играла в какую-то игру, и лесничий никак не мог сообразить, сколь далеко игра эта заходит. И поэтому ему было и легче и проще, когда на смену этой таинственной женщине приходила знакомая девчонка с круглыми от страха глазами.

— Ой! — сказала эта девчонка, старательно запахивая халатик. — У вас и дверей нет.

Спальня двухкомнатного номера отделялась от гостиной портьерой, и сейчас Нонна Юрьевна в растерянности топталась на пороге.

— Стул поставьте, — посоветовал Юрий Петрович. — Если я спростонок перепутаю, куда идти, то наткнусь на стул. Он загремит, и вы успеете заорать.

— Благодарю вас, — холодно отпарировала Нонна Юрьевна женским голосом. — Спокойной ночи.

Юрий Петрович ушел в ванную, Нонна Юрьевна успела не только умыться, но и успокоиться. Затем погасил свет, на цыпочках прокрался к дивану, и старый диван завопил всеми пружинами, как только он на него уселся.

— Ч-черт! — громко сказал он.
— Вы еще не спите? — вдруг тихо спросила Нонна Юрьевна.

— Нет еще,— Юрий Петрович снимал рубашку, но тут же надел ее снова.— Что вы хотели, Нонна?
Нонна промолчала, а его сердце забило легко и стремительно. Он вскочил, шагнул в соседнюю комнату, с грохотом оттолкнув стоявший на пороге стул.
— Ч-черт!..

Нонна Юрьевна тихо засмеялась.
— Вам смешно, а я рассадил ногу.
— Беденький.

В густых сумерках он увидел, что она сидит на кровати, по-прежнему кутаясь в халатик. И сразу остановился.

— Вы так и будете сидеть всю ночь?
— Может быть.
— Но ведь это глупо.
— А если я дура?

Она говорила совершенно спокойно, но это было спокойствие изо всех сил: ему казалось, что он слышит бешеный стук ее сердца. Юрий Петрович сделал еще шаг, неуверенно опустился на колени на вытертый гостиничный коврик и бережно взял ее руки. Она покорно отдала их, и халатик на ее груди сразу разошелся наивно и беззащитно.

— Нонна...— Он целовал ее руки.— Нонночка, я...
— Зажгите свет. Ну, пожалуйста.
— Нет. Зачем?
— Тогда молчите. Хотя бы молчите.

Они разговаривали так тихо, что не слышали, а угадывали слова. А слышали только, как неистово бьются сердца.

— Нонна, я должен тебе сказать...
— Да молчите же. Молчите, молчите!

Что он мог сейчас ей сказать? Что любит ее? Она это чувствовала. Или, может быть, не любит? Боже мой, как же он может не любить ее, когда он здесь, рядом? Когда он стоит на коленях и целует ей — ей! — руки?

Так думала Нонна Юрьевна. Даже не думала, нет — она не способна была сейчас ни о чем думать. Это все пронеслось, мелькало в ее голове, это все пыталась осознать, ухватить пугливая девчонка, а женщина неотступно думала лишь о том, что он слишком уж долго целует ее руки.

Она осторожно потащила их на себя, а он не отпущал и утыкался в ладони лбом.

— Нонна, я должен тебе сказать...
— Нет, нет, нет! Не хочу. Не хочу ничего слышать, не хочу!

— Нонна, я старше, я обязан...
— Поцелуй меня.

Нонна с ужасом услышала собственный голос, и девчонка забунтовала, забила в ней. А Юрий Петрович еще стоял на коленях, еще был далек, так недосягаемо далек для нее. И она повторила:

— Поцелуй, слышишь? Меня еще никто, никто не целовал. Никогда.

Если бы он промедлил еще миг, она бы бросилась из окна, убежала бы куда глаза глядят или назло всем съела бы целую коробку спичек: таким путем, по словам мамы, покончила с собой какая-то очень несчастная девушка. Это была последняя попытка отчаянной женщины, что до сих пор тайно жила в ней. Последняя попытка победить одиночество, ночную тоску, беспричинные слезы и важные очки, которых Нонна мучительно стеснялась.

А потом... Что было потом?

— Нонна, я люблю тебя.
— Теперь говори. Говори, говори, а я буду слушать.

Они лежали рядом, и Нонна все время тянула на себя простыню. Но сейчас в ней уже не было спора, сейчас и отважная женщина и трусливая девчонка очень согласно улыбались друг другу в ее душе.

— Я схожу за сигаретой. Ничего?
— Иди.

Она лежала с закрытыми глазами и живой улыбкой. У нее спрашивали позволения, она могла что-то запрещать, а что-то разрешать, и от этого внезапно обретенного могущества чуть кружилась голова. Она приподняла ресницы, увидела, как белая фигура, опять громыхнув стулом и чертыхнувшись, проплыла в соседнюю комнату, услышала, как чиркнула спичка, почувствовала дымок. И сказала:

— Кури здесь. Рядом.

Белая фигура остановилась в дверном проеме.
— Ты должна презирать меня. Я поступил подло, я не сказал тебе, что...— Смелость Юрия Петровича испарялась с быстротой почти антинаучной.— Нет, я не женат... То есть формально я женат, но... Понимаешь, я даже маме никогда не говорил, но тебе обязан...

— Обязан? Уж не решил ли ты, что я женить тебя хочу?

Это был чужой голос. Не женщины и не девушки, а кого-то третьего. И Нонна Юрьевна обрадовалась, обнаружив его в себе.

— Не волнуйся: мы же современные люди.

Он что-то говорил, но она слышала только его виноватый, даже чуточку заискивающий голос, и в ней уже бунтовало что-то злое и гордое. И, подчиняясь этой злой, торжествующей гордости, Нонна сбросила одеяло и начала неторопливо одеваться. И, не смотря на то, что она впервые одевалась при мужчине, ей не было стыдно: стыдно было ему, и Нонна это понимала.

— Мы вполне современные люди,— повторяла она, изо всех сил улыбаясь.— Замужество, загсы, свадьбы — какая чепуха! Какая, в сущности, все чепуха! Все на свете! Я сама пришла и сама уйду. Я свободная женщина.

Он растерянно молчал, не зная, что сказать ей, как объяснить и как удержать. Нонна спокойно оделась, спокойно расчесала волосы.

— Нет, нет, не провожай. Ты человек семейный, лицо официальное, что могут подумать горничные, представляешь? Ужас, что они могут про тебя подумать!

Нонна Юрьевна возвращалась домой неудобным утренним поездом. Сидела, забившись в угол, прижав к себе новый, круглый, как футбольный мяч, ученический глобус, и впервые в жизни жалела, что никак не может заплакать.

А Юрий Петрович остался в полном смятении. Просидев на работе весь день без движения и выкурив пачку сигарет, вечером написал-таки письмо таинственной Марине, но не отправил, а три дня таскал в кармане. А потом перечитал и порвал в клочья. И опять недвижимо сидел за столом, который каждый день покрывался новыми слоями входящих и исходящих. И опять полночи сочинял письмо, которое на этот раз начиналось: «Любимая моя, прости!» Но Юрий Петрович не был мастак сочинять письма, и это письмо постигла участь предыдущих.

— Надо поехать,— твердил Юрий Петрович, без сна ворочаясь на гостиничной кровати.— Завтра же утренним поездом.

Но приходило утро, и уходила решимость, и Чувалов опять мыкался и клял себя последними словами. Нет, не за Нонну Юрьевну.

Два года назад в глухое алтайское лесничество приехала из Москвы практикантка. К тому времени Юрий Петрович уже отвык от студенческой болтовни, еще не привык к мини-юбкам и ходил за практиканткой, как собачонка. Девчонка вертела застенчивым лесничим с садистским наслаждением, и порой Юрию Петровичу казалось, что не она у него, а он у нее проходит практику. Через неделю она объявила, что у нее день рождения, потребовала шампанского, и руководитель хозяйства лично смотался за двести километров на казенном мотоцикле. Когда шампанское было выпито, практикантка покружилась по комнате и объявила:

— Стели постель. Только, чур, я сплю у стенки.

К утру Юрий Петрович окончательно потерял голову.

— Одевайся,— сказал он.— Едем в сельсовет.

Практикантка нежилась поверх взбитых простыней.

— В сельсовет?

— Распишемся,— сказал он, торопливо натягивая рубаху.

— Вот так, сразу? — Она рассмеялась.— Как интересно!

Они подкатили к сельсовету на дико рычавшем мотоцикле, в десять минут получили свидетельство и жирные штампы в паспорта, а через три дня молодая жена укатила в Москву. Юрий Петрович в то время боролся с непарным шелкопрядом на дальнем участке и, вернувшись, обнаружил дома только записку:

«Благодарю».

Обратного адреса практикантка не оставила, и Юрию Петровичу пришлось писать на институт. Письмо долго где-то блуждало, ответ пришел только через два месяца и был коротким, как их супружеская жизнь:

«Я потеряла паспорт.

Советую сделать то же самое».

Юрий Петрович не стал терять паспорт, а постарался забыть об этой истории и писал больше не писал. Потом пришлось сдавать дела, и уже в Ленинграде от студенческого товарища Чувалов узнал новость, заставившую его вновь разыскать утерявшую паспорт жену:

— Знаешь, у Марины ребенок.

Он все-таки разыскал ее. Написал письмо на домашний адрес, и в ответ на вопрос, не его ли это ребенок, получил ровно три слова:

«Все может быть».

И вот теперь ему надо было знать правду, как никогда. Знать, кто он: муж или не муж, отец или не отец, свободен или не свободен. Но насмешливый цинизм ее ответов выводил Чувалова из равновесия, и он только писал письма, рвал их и писал снова.

А сейчас он боялся потерять Нонну. Здесь было кого терять, и поэтому Юрий Петрович никак не мог решиться сесть в поезд и приехать к ней. Приехать означало решить: да или нет,— а так оставалось еще спасительное «может быть». А тут как раз из Москвы прибыл большой начальник, и Юрий Петрович обрадовался, потому что никуда не мог поехать. Три дня он вводил начальство в курс дела, а потом вдруг затосковал и неожиданно для себя объявил:

— Тут интересного для тебя мало: леса в основном вторичные. А вот возле Черного озера сохранился еще любопытный массивчик.

Сказал и испугался: вдруг согласится?

— Опять комаров кормить?

— Комаров нет: мошка появилась.— Юрий Петрович с удивлением обнаружил, что уговаривает.— А массив интересен с точки зрения естественного биоценоза: как раз твой конек.

— Ладно, уговорил,— сказал начальник, и Юрий Петрович расстроился.

Прибыв в поселок, Чувалов представил начальство местным властям и побежал к Нонне Юрьевне. Сочинял на бегу горячие речи и не сразу поверил глазам, увидев на знакомых дверях амбарный замок. Потрогал его рукой, походил вокруг и пошел к директору школы.

— В Ленинграде Нонна Юрьевна. Три дня как уехала.

— Когда вернется?

— Должна двадцатого августа, но...— Директор вздохнул.— Аналогичный случай был в позапрошлом году.

— Что вы говорите?

— Ее предшественница тоже уехала повидаться с мамой, а прислала заявление с просьбой «по собственному желанию».

— Не может быть!

— Все может быть,— философски сказал директор.— Конечно, Нонна Юрьевна — педагог серьезный, но ведь и Ленинград — город серьезный.

— Да, да,— тихо сказал Юрий Петрович.— Адреса мамы не знаете?

Записал адрес, рассеянно пообещал директору дровишек для школы и уже без всякого интереса повел большого начальника в заповедный массив.

— Пешком поволок,— ворчал начальник, не без удовольствия шлепая босиком по лесной дороге.— И спать, наверно, на лапнике заставишь? Бирюк ты, Чувалов, недаром до сих пор бобылем живешь.

— Оставь это! — вдруг заорал сдержанный Юрий Петрович.— Привыкли треп в кабинетах разводить!

— Нет, ты настоящий бирюк,— сказал, помолчав, начальник.— Самая пора тебе в министерство. Между прочим, как инспектирующий, могу там доложить о полном порядке в твоём хозяйстве. Лес ухожен, порубок не видно. Нет, знаешь, Юра, мне нравится. Ей-богу, нравится.

Юрий Петрович хмуро молчал. Впрочем, начальник замолчал тоже, наткнувшись на солидных размеров щит, сбитый из струганых досок. На щите были выжжены стихи:

Стой, турист, ты в лес вошел,
не шути в лесу с огнем,
лес — наш дом,
мы в нем живем.
Если будет в нем беда,
где мы жить будем тогда?

По бокам щита раскаленным гвоздем были выжжены зайцы, ежи, белки, птицы и большой лось, похожий на усталого Якова Прокопыча.

— Толково,— сказал начальник.— Твоя инициатива?

— Еще чего! — сказал Юрий Петрович.— Сам удивляюсь, когда он все успел.

— Кто?

— Лесник мой. Егор Полушкин.

— Любопытно,— сказал начальник.— Это я сниму. И полез за фотоаппаратом. Чувалов усмехнулся:

— Пленки не хватит.

К вечеру они добрались до Егорова шалаша. Начальник переписал по дороге все Колькины сочинения и растратил всю пленку.

— Значит, ты автор? — допрашивал он Кольку.— Молодец! Поэтом будешь?

— Не-а.— Колька застенчив.— Лесничим. Как Юрий Петрович.

— За это ты вдвойне молодец, Николай!

Утомленный и немного обеспокоенный вниманием большого начальства, Егор тихо отодвигался от костра.

Чувалов был хмур, но Егор не обращал на это внимания. Его занимал незнакомый начальник, и он все думал, не допустил ли где промашки.

— В Москве бывал когда, Егор Савельич?

— В Москве? — Егор не умел так быстро перестраиваться. — Чего там?

И Юрий Петрович с ходу поведал Егору печальную историю своей семейной жизни. Егор слушал, сокрушался, но ему все время мешало смутное упоминание о Москве. Поэтому он и переспросил:

— Ну, дык, она-то в Москве?

— Эй, заговорщики, уху хлебать! — весело окликнул начальник.

Через неделю из Москвы пришел официальный вызов. Лесник водоохранного массива Егор Полушкин приглашался на Всесоюзное совещание работников лесного хозяйства за особые, видать, заслуги, поскольку в лесниках ходил без году неделю.

— Слона погляжу, сынок, — сказал Егор.

— Слона глядеть — невелик прибыток, — проворчала Харитина. — Ты главный ГУМ погляди: люди денег собрали и список составили, кому чего нужно.

Никого на Егоровых проводах не было: только Яков Прокопыч. У того своя просьба:

— Докладывать придется — про лодочную станцию не забудь, товарищ Полушкин. Пригласи вежливо: мол, удобства, вода мягкая, лес с грибом. Может, кто из центра оживит нашу окрестность.

Совсем уж к поезду собрались — Марьица. Засветилась улыбкой еще сквозь двери:

— Ах, Егор Савельич, ах, Тинушка! В Москву ведь, не в область.

— Совершенно согласен, — сказал Яков Прокопыч.

Но не Яков Прокопыч Марьице сейчас был нужен. Она с Егора Полушкина, с бедоносца божьего, глаз масляных не сводила.

— Егор Савельич, батюшка, тайно я тебе кланяюсь. И от мужа тайно и от сына тайно. Спаси ты нас, Христа ради. Угрозыск ведь Федора-то Ипатыча таскает. По миру ведь закружить грозятся.

— Закон уважения требует, — строго сказал Яков Прокопыч.

Егор промолчал. А Марьица заплакала и сестре в плечо уткнулась.

— Пропадаем!

— Скажи ты начальнику какому, Егор, — вздохнула Харитина. — Родня ведь. Не сторонние.

— А кто меня спросит? — нахмурился Егор. — Велю ли дело — лесник в Москву приехал.

Как ни плакала Марьица, как ни убивалась, ничего он больше не сказал. Взял чемодан — специально для Москвы самый большой купили — попрощался, посидел перед выходом и пошел на вокзал. А Марьица домой побежала.

— Ну, что обронено? — спросил Федор Ипатыч.

— Отказал он, Феденька. Гордый стал больно.

— Гордый? — И желваки по скулам забегали. — Ну, добро, если гордый. Добро.

А Егор сидел у окна в вагоне, и колеса стучали: в Москву, в Москву, в Москву!..

Но пока не в Москву, правда, а в областной центр, на пересадку. И как раз в это время из областного того центра другой поезд отходил: с Юрием Петровичем у вагонного окна. И колеса тут по-иному стучали: в Ленинград! в Ленинград! в Ленинград!..

Не обнаружив в областном городе Юрия Петровича, Егор сразу утратил всю гордость и сел в московский поезд очень растерянным. Правда, билет ему Чувалов взял заранее и оставил в гостинице, где Егору этот билет и вручили с сообщением, что сам Чувалов отбыл в неизвестном направлении.

Впервые Егор ехал в купейном вагоне, где из бережливости не стал брать постель. Попутчики попались солидные, о чем-то калякали, но Егор разговора не поддерживал. Он не получил последних напутственных указаний от Юрия Петровича, и ему было не до разговоров. И ночь почти не спал и мыкался на голом тюфяке, опасаясь ворочаться, чтобы никого не разбудить.

К утру он весь занемел и прибыл в столицу в окостенелом состоянии.

Однако его опасения оказались преждевременными: в Москве Егора встретили и определили в гостиницу.

— Вам, вероятно, придется выступить в прениях, — сказал встречавший его молодой человек, когда они прошли в номер.

— В чем?

— В прениях. — Молодой человек достал бумагу, положил на стол. — Мы подготовили для вас кое-какие тезисы. Ознакомьтесь.

— Ага, — сказал Егор. — А зоопарк далеко?

— Зоопарк? — недоверчиво переспросил молодой человек. — По-моему, метро «Краснопресненская». Завтра в десять утра ждем в министерстве.

— Загодя приду, — заверил Егор.

Встречавший ушел, а Егор, наскоро перекусив в буфете, расспросил, как проехать до станции «Краснопресненская», и не очень уверенно спустился на эскалаторе в метро.

В зоопарке он подолгу задерживался перед каждой клеткой, а перед слоновником замер. Вокруг менялись люди, приходили, смотрели, уходили, а Егор все стоял и стоял, сам себе не веря, что видит живого слона. Правда, слон этот не ходил по улицам, а стоял в крепко огражденном вольере, но вел себя свободно: обсыпался песком, фыркал и подбирал булки, что кидали ему дети через загородку. Егор следил за каждым движением слона, потому что очень хотел все запомнить и потом показать Кольке. Так следил, что даже служитель заинтересовался:

— Что, мужик, хороша скотинка?

— Это животная, — строго поправил Егор.

— Верно. — Служитель был пожилым, и Егор разговаривал с ним свободно. — Не боишься?

— А чего? Ты же не боишься?

— Ну, помоги тогда. Потом в деревне хвастать будешь, что слона кормил.

— Я в поселке живу.

— Все равно похвастаешься.

Служитель провел Егора в зимнее помещение, где стоял еще один слон, поменьше. Он вкусно хрюпал свеклу с морковкой и дважды вежливо обнюхал Егора черным крючком хобота.

— Умная животная! — восторгался Егор.

Потом служитель провел Егора по зоопарку, рассказал, кого из зверей как и когда кормят. Сводил и в обезьянник, но там Егору не понравилась:

— Орут.

Они вместе пообедали в столовой для сотрудников и окончательно подружились. Егор рассказал о совещании, о поселке и особо о Черном озере.

— Раньше Лебяжьим называлось, а теперь — Черное.

— Вымирает живая красота, — вздыхал служитель. — Одни зоопарки скоро останутся.

— Зоопарк — это не то.

— Не то, ясное дело.

Егор ушел из зоопарка последним, когда ГУМы и ЦУМы были уже закрыты.

Подумал маленько, припомнил рассказ Юрия Петровича, упомянутый им адрес и узнал у милиционера, как ехать.

Он не очень представлял себе цель этого посещения, но потерянное лицо Чувалова упорно не уходило из памяти.

На девятый этаж он поднялся без лифта, поскольку пользоваться им не умел. На площадке отдышался, нашел квартиру, позвонил. Дверь открыла молодая длинноволосая женщина.

— Здравствуйте, — сказал Егор, загодя сняв кепку. — Мне бы Марину.

— Я Марина.

Длинноволосая глядела недобро, и разговор пришлось начинать через порог.

— Я к вам от Чувалова. От Юрия Петровича.

Она явно решала, как поступить, и Егору показало, что решала со страхом.

— Так, — наконец сказала она и плотно прикрыла дверь, ведущую в комнаты. — Ну, проходите. На кухню.

Кепку повесить было некуда, и Егор прошел на кухню, держа ее в руке.

Хозяйка шла следом, наступая на пятки. Точно загоняла.

— Кто там, Мариночка? — донесся из комнат мужской голос.

— Это ко мне! — резко ответила длинноволосая, закрыв за собой и кухонную дверь. — Так в чем же дело?

Сестра она не предлагала, и это враз успокоило Егора.

Еще у порога он не знал, как и что говорить, а теперь понял.

— В комнатах-то, поди, муженек обретается?

— А вам какое дело?

— Мне дела нет, а вот ему — не знаю.

— Угрожать пришли?

— Зачем же так-то? Я к тому, что вы, стало быть, устроились, а другому устроиться не даете. Хорошо ли?

— Да как вы смеете?..

— Смеею уж, — негромко сказал Егор. — Хватит злом-то пыхать. Что он дурного-то сделал вам?

— Сделал, — усмехнулась она и закурила сигарету. — Объяснять бесполезно: если он до сих пор не понял, то вы и подавно.

— Растолкните, — сказал Егор и сел на маленькую красную табуретку. — За тем и пришел.

— Я вас выгоню сейчас отсюда, вот и все объяснения.

— Нет, не выгоните, — сказал Егор. — Раньше, может, и выгнали бы, а теперь побоитесь. Вы вон все двери за собой позакрывали и, значит, семейством своим дорожите.

— Опять угрозы? Слушайте, мне надоело...

— Дали б водички, — вздохнул Егор. — В столовке селедки три порции съел — горю.

— Ух, нахалище! — Она достала из стенного шкафчика расписную глиняную кружку, спросила через плечо: — Прикажете со льдом?

— Зачем? — удивился Егор. — Простой налей, колодезной.

— Колодезной... — Она шмякнула о стол кружкой,

вода плеснула через край. — Пейте и уходите. Чувалову скажите, что ребенок не его, пусть успокоится.

Егор неторопливо выпил невкусную московскую воду, помолчал.

Женщина стояла у окна, яростно дымя сигаретой и через плечо поглядывая на него колючими глазами.

— Что вам еще от меня нужно?

— Мне-то? — Егор посмотрел: и чего хорохорится девка? — Муж ведь он вам-то.

— Муж!.. — Она презрительно передернула плечами. — Пенек он лесной, ваш Чувалов.

— Ругать не ласкать: не скоро заморишься.

— Оскорбить женщину и даже не заметить — как это благородно!

— На оскорбить не похоже, — с сомнением сказал Егор. — Юрий Петрович — человек уважаемый.

— Уважаемый! — насмешливо повторила Марина. — Скажите честно, если женщина — ну, по минутной слабости, под настроение, по увлеченности, наконец — перес... — она запнулась, — ну, переночует, у вас хватит соображения утром не совать ей деньги?

— Соображения у нас хватит. Денег у нас нет.

— Он тоже платил не наличными. Просто решил меня осчастливить и потащил ставить этот дурацкий штамп, не соизволив даже поинтересоваться, люблю ли я его.

— Что, силой штампы ставили-то?

— Ну зачем же... — Она вдруг улыбнулась. — Ну я дура, дура я была легкомысленная, это вам надо? Мне сначала даже понравилось: романтика! А потом опомнилась и сбежала.

— Сбежала, — сердито сказал Егор. — А штамп? От него куда сбежишь?

Длинноволосая растерянно промолчала, и Егору стало жаль ее. Разговор словно поменял их местами, теперь главным в этой кухне был он, и оба это понимали.

— Я паспорт потеряла, — виновато сказала она. — Может, и он так, а?

— Сама завралась и его врать учишь? С новым-то как живешь?

— Хорошо.

— Я не про то. Я про закон...

— Расписались.

— Ах ты, господи!..

Егор вскочил, пометался по кухне. Марина внимательно следила за ним, и во внимании этом была почти детская доверчивость.

— Хорошо, говоришь, живете?

— Хорошо.

— Зови его сюда.

— Что? — Она вдруг выпрямилась, вновь став холодно-надменной. — Вон отсюда. Немедленно, пока я милицию...

— Ну, зови милицию, — согласился Егор и опять уселся.

Марина отвернулась к окну, беспомощно повела опущенными плечами. Она плакала тихо, боясь мужа и стесняясь постороннего человека.

Егор посидел, повздыхал, а потом тронул ее за плечо.

— Узнают — хуже будет: закон ведь нарушен.

— Уходите! — почти беззвучно закричала она. — Зачем вы пришли, зачем? Ненавижу шантаж!

— Чего ненавидишь?

Она промолчала. Егор потоптался, помял кепку и пошел к дверям.

— Стойте!

Егор не остановился. Нарочно хлопнул кухонной дверью, услышал, как зло и беспомощно зарыдали

у окна, и, выйдя в коридор, распахнул дверь в комнату.

У стола над чертежной доской страдал молодой парень. Он поднял на Егора спокойные глаза, моргнул, улыбнулся. Сказал неожиданно:

— Черчу, как проклятый. Диплом в сентябре защищать.— В противоположном углу в кровати спал ребенок. А парень с удовольствием потянулся и пояснил: — Я на вечернем. Трудно!

То ли действительно тишина в комнате стояла, то ли оглох Егор враз на оба уха, а только услышал он жаркий перезвон стрекоз. Услышал, и снова сжала сердце тягостная жалость, снова подкатил к горлу знакомый ком, снова задрожал вдруг подбородок. И услышал еще Егор, как на кухне громко плакала Марина.

— Ну, давай, давай трудись,— сказал он парню и тихонько вышел из комнаты.

Егор поздно вернулся в гостиницу. Съел булку, что Харитина в чемодан сунула, попил водички и улегся. Кровать была непривычно мягкой, но он все никак не мог заснуть, все почему-то ворочался и вздыхал.

Утром он встал позже, чем рассчитывал. Умывшись, спустился в буфет, а там оказалась очередь, и он все боялся, что опоздает.

Кое-как, наспех проглотил завтрак и побежал в министерство, так и не заглянув в забытые на столе тезисы.

А вспомнил он об этих тезисах, когда услышал вдруг собственную фамилию:

—...такие, как, например, товарищ Полушкин. Своим самозабвенным трудом товарищ Полушкин еще раз доказал, что нет труда нетворческого, а есть лишь нетворческое отношение к труду. Я не стану вам рассказывать, товарищи, как понимает свой долг товарищ Полушкин: он сам расскажет об этом. Я хочу только сказать...

Но Егор уже не слушал, что хотел сказать министр. Его враз кинуло в жар: бумажки-то остались на столе, и что в них было сказано, Егор и знать не знал и ведать не ведал. Он кое-как дослушал доклад, похлопал вместе со всеми и, когда объявили перерыв, торопливо стал пробираться к выходу, надеясь сбегать в гостиницу. И уж почти добрался до дверей, но тут гулко покашляли в микрофон, и чей-то голос сказал:

— Товарища Полушкина просят срочно подойти к столу президиума. Повторяю...

— Это меня, что ль, просят? — спросил Егор у соседа, что вместе с ним толкался в дверях.

— Ну, если вы тот Полушкин...

— Ага! — сказал Егор и полез встречь людского потока. За столом президиума уже не было министра, а сидел председатель да вокруг вертелись какие-то мужики. Когда Егор спросил, чего, мол, звали, они сразу зашебурились, резво схватившись за аппараты.

— Несколько снимков. Повернитесь, пожалуйста.

Егор вертелся, как велено, с тоской думая, что время уходит напрасно. Потом долго отвечал на вопросы, кто да откуда, да что думал такое особенное. Поскольку он считал, что ничего еще не удумал, то и отвечал длиннее, чем требовали, и беседа затянулась: уж звонки прозвенели. Егора отпустили, но выйти он уже не смог, а сел на место, решив, что сбегать придется на втором перерыве.

Первый выступавший говорил складно и Егору понравился. Он хлопал дольше всех и опять чуть не упустил свою фамилию.

— Подготовиться товарищу Полушкину.

— Чего сказали-то?

— Подготовиться.

— Как это?

— Тише, товарищи! — недовольно зашумели сзади.

Егор примолк, лихорадочно соображая, как готовиться. Он мучительно припоминал нужные слова, взмок и пропустил половину выступления. Однако вторую половину расслышал, и эта половина вызвала в нем такое несогласие, что он маленько даже успокоился.

— Нужны дополнительные законы,— говорил оратор, суровая от собственных слов.— Ужесточить требования. Карать...

Кого карать-то? Егор с неохотой — из вежливости — похлопал, а тут выкрикнули:

— Слово предоставляется товарищу Полушкину.

— Мне? — Егор встал.— Мне бы потом, а? Я это... бумажки забыл.

— Какие бумажки?

— Ну, речь. Мне речь написали, а я ее на столе позабыл. Вы погодите, я сбегаю.

Зал весело зашумел:

— Давай без бумажек!

— А кто написал-то?

— Смелей, Полушкин!

— Проходите к трибуне,— сказал председатель.

— Зачем проходить-то? — Егор все же вылез из ряда и пошел по проходу.— Я же говорю: сбегаю. Они... это... на столе.

— Кто они?

— Да бумажки. Написали мне, а я позабыл.

Хохотали, слова заглашая. Но Егору было не до смеха. Он стоял перед сценой, виновато склонив голову, и вздыхал.

— А без чужих бумажек вы говорить не можете? — спросил министр.

— Ну, дык поди, не то скажу.

— То самое. Проходите на трибуну. Смелей, товарищ Полушкин!

Егор нехотя поднялся на трибуну, поглядел на стакан, в котором пузыри бежали. Зал сразу стих, все смотрели на него, улыбались и ждали, что скажет.

— Люди добрые! — громко сказал Егор, и зал опять покатило со смеху.— Погодите ржать-то: я не караул кричу. Я вам говорю, что люди — добрые!

Замолчали все, а потом вдруг зааплодировали. Егор улыбнулся.

— Погодите, не все еще сказал. Тут товарищ говорил, так я с ним не согласен. Он законов просил, а законов у нас хватает.

— Правильно! — сказал министр.— Только уметь надо ими пользоваться.

— Нужда научит,— сказал Егор.— Но я к тому, чтоб нужды такой не было. Этак-то просто: поставил солдат с ружьями и гуляй себе. Только солдат не наберешься.

И опять зааплодировали. Кто-то крикнул:

— Вот дает товарищ!

— Вы мне не мешайте, я и сам собою. Мы с вами при добром деле состоим, а доброе дело радости просит, а не угрюмства. Злоба злобу плодит, это мы часто вспоминаем, а вот что от добра добро родится, это не очень. А ведь это и есть главное!

Егор ни разу не выступал и поэтому не особо боялся. Велели говорить, он и говорил. И говорилось ему, как пелось:

— Вот сказали: делись, мол, опытом. А зачем им делиться? Чтоб обратно у всех одинаковое было, да? Да какой же в этом нам прок? Это у баранов и то шерсть разная, а уж у людей — сам бог велел. Нет, не за одинаковое нам драться надо, а за разное, вот тогда и выйдет радостно всем.

Слушали Егора с улыбками, смехом, но и с интересом: слово боялись проворонить. Егор это чувствовал и говорил с удовольствием:

— Но радости покуда наблюдается мало. Вот я при Черном озере состою, а раньше оно Лебяжьим называлось. А сколько таких Черных озер по всей стране нашей замечательной — это ж подумать страшно! Так вот, надо бы так сотворить, чтобы они обратно звонкими стали: Лебяжьими или Гусиными, Журавлиными или еще как, а только чтоб не Черными, мил дружки вы мои хорошие. Не Черными — вот какая наша забота!

Снова заплодировали, зашумели. Егор покосился на стакан, что поставили ему, и, поскольку вода в том стакане перестала пузыриться, хлебнул. И сморщился: соленая была вода.

— Все мы в одном доме живем, да не все хозяева. Почему такое положение? А путают. С одной стороны, вроде учат: природа — дом родной. А что с другой стороны имеем? А имеем покорение природы. А природа, она все покуда терпит. Она молчком умирает, долголетно. И никакой человек не царь ей, природе-то. Не царь, вредно это — царем-то зваться. Сын он ее, старший сыночек. Так разумным же будь, не вгоняй в гроб маменьку.

Все захлопали. Егор махнул рукой, пошел с трибуны, но вернулся:

— Стойте, поручение забыл. Если кто тем летом насчет туризма хочет, так к нам давайте. У нас и гриб, и ягода, и Яков Прокопыч с лодочной станцией. Распишем лодочки: ты — на гусенке, а я — на поросенке: ну-ка, догоняй!

И под общий смех и аплодисменты пошел на свое место.

Два дня шло совещание, и два дня Егора поминали с трибуны. Кто в споре: какое, мол, тебе добро, когда леса стонут? Кто в согласии: хватит, мол, покорять, пора оглянуться. А министр напоследок особо остановился насчет того, чтоб обратно превратить Черные озера в живые и звонкие, и назвал это почином товарища Полушкина. А потом Егора наградили Почетной грамотой, похвалили, уплатили командировочные и выдали билет до дома.

С этим билетом Егор и пришел в гостиницу. Ехать надо было завтра, а сегодняшний день следовало провести в бегах по ГУМам и ЦУМам. Егор посмотрел список вещей, что просили купить, пересчитал деньги, полюбовался грамотой и поехал в зоопарк.

Там долго ничего понять не могли. Пришлось до главного дойти, да и тот удивился:

— Каких лебедей? Мы не торгующая организация.

— Я бы и сам словил, да где? Говорю же, Черное у нас озеро. А было Лебяжье. Министр говорит: почин, мол, полушкинский, мой, значит. А раз почин мой, так мне и начинать.

— Так я же вам объясняю...

— И я вам объясняю: где взять-то? А у вас их полон пруд. Хоть в долг дайте, хоть за деньги.

Егор говорил и сам удивлялся: сроду он так с начальниками не разговаривал. А тут и слова нашлись и смелость — свободу он в душе своей чувствовал.

Весь день спорили. К какому-то начальству ездили, какие-то бумажки писали. Столковались, наконец, и выделили Егору две пары шипунов; избili и исщипали они Егора до крови, пока он их в клетку закинул. Потом на вокзал кинулся, а там тоже морока. И там упрашивал, и там бумажки писали, и там уговорил. В багажном вагоне при сопровождающем.

Полтора дня метался да хлопотал, а про ГУМ с ЦУМом только у поезда и вспомнил. Да и то зря: денег на ГУМы не осталось, все в лебедей пошло. Купил Егор прямо на вокзале что под руку попало,

залез в багажный вагон, пожевал булки с колбасой, а тут и поехали. И лебеди закликали в клетках, зашумели. А Егор лег на ящик, укрылся пиджаком и заснул.

И приснились ему слоны...

21

Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов!..

Егор стоял перед Харитиной, виновато склонив голову. В больших ящиках по-змеиному шипели лебеди.

— У людей мужики так уж добытчики так уж дом у них чаша полная так уж жены у них как лебедушки!..

— Крылья им подрезать велели, — вдруг встрепенулся Егор. — Чтоб на юг не утекли.

Заплакала Харитина. От стыда, от обиды, от бесилия. Егор за ножницами побежал — крылья резать. А Федор Ипатыч в доме своем со смеху показывался:

— Ну, бедоносец чертов! Ну, бестолочь! Ну, экземпляр!

Все над Егором потешались: надо же, вместо ГУМов с ЦУМами лебедей приволок! В долги влез, людей обманул, жену обидел. Одно слово — бедоносец.

Только Яков Прокопыч не смеялся. Серьезно одобрил:

— Привлекательность для туризма.

А Кольке было не до смеху. Пока тятка его в Москве слонами любовался, дяденьку Федора Ипатыча уж трижды к следователю вызывали. Федор Ипатыч по этому случаю Кодекс купил, наизусть выучил и так сказал:

— Видать, дом отберут, Марья. К тому клонится.

Марьяца в голос взвыла, а Вовка затрясся и щенка побежал топить. Еле-еле Колька умолил его, да и то временно:

— Коли выселят — назло утоплю!

Сказал — как отрезал. И сомнения не осталось: утопит. А тут еще Оля Кузина заважничала чего-то, дружить с ними перестала. Все с девчонками вертелась, какие постарше, и на Кольку напраслину наговаривала. Будто он за нею бегаёт.

А Егор на другой день к озеру подался. Домики лебедям построил, а тогда и лебедей выпустил. Они сперва покричали, крыльями подрезанными похлопали, подрались даже, а потом успокоились, домики поделили и зажили двумя семействами в добром соседстве.

Устроив птиц, Егор надолго оставил их: ходил по массиву, клеймил сухостой для школы. А директору напилил лично не только потому, что уважал ученых людей, но и для разговора.

Разговор состоялся вечером у самовара. Жену — докторшу, что столько раз Кольку йодом мазала, — к роженице вызвали, и директор хлопотал сам.

— Покрепче, Егор Савельич?

— Покрепче. — Егор взял стакан, долго размешивал сахар, думал. — Что же нам с Нонной-то Юрьевой делать, товарищ директор?

— Да, жалко. Хороший педагог.

— Вам — педагог, мне — человек, а Юрию Петровичу — зазноба.

То, что Нонна Юрьевна для Чувалова — зазноба, для директора было новостью. Но вида он не подал, только что бровями шевельнул.

— Официально разве вернуть?
— Официально — значит через «не хочу». Нам годится, а Юрию Петровичу — вразрез.
— Вразрез, — согласился директор и пригорюнился.

— Видно, ехать придется, — сказал Егор, не давшаись от него совета. — Вот зазимует, и поеду. А вы письмо напишите. Два.

— Почему два?

— Одно — сейчас, другое — погодя. Пусть свыкнется. Свыкнется, а тут я прибуду, и решать ей придется.

Директор подумал и принялся за письмо. А Егор неторопливо курил, наслаждаясь уютом, покоем и директорским согласием. И оглядывался: сервант под орех, самодельные полки, книги навалом. А над книгами картина.

Егор даже встал, углядев ее. Красным полыхала картина та. Красный конь топтал иссиня-черную тварь, а на коне том сидел паренек и тыкал в тварь палкой.

Вся картина горела яростью, и конь был необыкновенно гордым и за эту необыкновенность имел право быть неистово красным. Егор и сам бы расписал его красным, если б случилось ему такого коня расписывать, потому что это был не просто конь, не сивка-бурка — это был конь самой Победы. И он пошел к этому коню как замороженный — даже на стул наткнулся.

— Нравится?

— Какой конь! — тихо сказал Егор. — Это ж... Пламя это. И парнишка на пламени том.

— Подарок, — сказал директор, подойдя. — И символ прекрасный: борьба добра со злом, очень современно. Это Георгий Победоносец. — Тут директор испуганно покосился на Егора, но Егор по-прежнему строго и уважительно глядел на картину. — Вечная тема. Свет и тьма, добро и зло, лед и пламень.

— Тетка, — вдруг сказал Егор. — А меня в поселке бедоносцем зовут. Слыхали, поди?

— Да. — Директор смутился. — Знаете, в наших краях прозвище...

— Я-то чего думал? Я думал, что меня потому бедоносцем зовут, что я беду приношу. А не потому зовут-то, оказывается. Оказывается, не под масть я тезке-то своему, вот что оказывается.

И сказал он это с горечью, и всю дорогу конь этот перед глазами его маячил. Конь и всадник на том коне.

— Не под масть я тебе, Егор Победоносец. Да уж стало быть так, раз оно не этак!

А лебеди были белыми-белыми. И странная горечь, которую испытал он, открыв для себя собственное несоответствие, рядом с ними вскоре растаяла без следа.

— Красота! — сказал Юрий Петрович, навестив Егора.

Птицы плавали у берега. Егор мог часами смотреть на них, испытывая незнакомое доселе наслаждение.

Он уже побегал по лесу, выискивал пару коряг, и еще два лебедя гнули шеи возле его шалаша.

— Тоскуют, — вздохнул Егор. — Как свои пролетают — кричат. Аж сердце лопается.

— Ничего, перезимуют.

— Я им сараюшку уделаю, где кабанчик жил. Ледок займется — переведу.

Юрий Петрович ничего на это не ответил. Нонна Юрьевна возвращаться отказалась, как он ни упрашивал ее там, в Ленинграде, и Чувалов разучился улыбаться.

— Ну, Юрий Петрович, пишите заявление, чтоб озеро обратно Лебяжьим звали.

— Напишу, — вздохнул Чувалов.

Юрий Петрович, невесело приехав, невесело и уехал. А Егор остался: недалеко от его участка дорогу прокладывали, и он беспокоился насчет порубок. Но на заповедный лес никто не покушался: Фила с Черепком на строительство дороги подались. Черепок матерые сосны с особым наслаждением рвал: любил взрывчаткой баловаться. С войны, еще, с партизанщины.

Потом, однако, заглохли и дальние взрывы и рев машин: дорога в поля ушла, и рвать стало нечего. Но Егору не хотелось уходить из обжитого шалаша, но обе стороны которого гордо гнули шеи деревянные лебеди.

Осень у крыльца уж бубенцами звенела. Она темной выдалась, дождливой и выжила-таки Егора с озера. Он перебрался в дом, сперва наведывался к лебедям ежедневно, потом стал ходить пореже. Да и сараюшку уделить требовалось: по утрам уж ледок похрустывал.

А та ночь на диво разбойной была. Тучи чуть за ели не цеплялись, косило из них дождем без передыху, а ветер гулял — аж сосны стонали. Накануне Егор прихворнул маленько, баньку парную принял, чайку с малиной — спать бы ему да спать. А он тревожился: как лебеди там? Надо бы перевезти — уж и сараюшка почти готова, — да расхворался некстати. Ворочался, жег Харитину то спиной, то боком, а к полуночи оделся и вышел покурить.

Чуть вроде затишело: и лес шумел поласковее, и дождик не сек — моросил только. Егор скрутил сигарку, пристроился на крыльце, прикурил — ударило вдруг за дальним лесом. Тяжко ударило, и он сперва подумал, что гром, да какой мог быть гром темной осенью? И, еще не поняв, что это ударило, что за гул принесло мокрым ветром, вскочил и побежал кобылу седлать.

Ворота скрипучими были, и на скрип тот Харитина выглянула, в одной рубашке, грудь прикрывая.

— Ты что это удумал, Егор? Жар ведь у тебя.

— На озеро съезжу, Тинушка, — сказал Егор, выводя со двора сонную кобылу. — Непокойно мне что-то. Да и Колька давеча про туриста говорил.

А Колька вчера дяденку сивого у магазина встретил. Того, что муравейник поджигал.

— А, малец!

— Здравствуйте, — сказал Колька и убежал.

Водку сивый тот нес. Целую авоську: в дырки горлышки торчали. Колька об этом отцу и рассказал.

Не удержала его тогда Харитина, и гнал Егор казенную кобылку сквозь осеннюю темь. Знала бы, поперек дороги бы легла, а не зная, ругнула только:

— Да куда же понесло-то тебя, бедоносец божий?

Таковыми были ее последние слова. Неласковыми. Как жизнь.

Второй раз ударило, когда Егор полпути миновал. Гулко и далеко разнесло взрыв по сырому воздуху, и Егор понял, что рвут на Черном озере. И подумал о лебедях, что подплывали на людские голса, доверчиво подставляя крутые шеи.

Гнал Егор старую кобылу, бил каблуками по ребрам, но бежала она плохо, и он в нетерпении соскочил с нее и побежал вперед. А кобыла бежала следом и жарко дышала в спину. Потом отстала: сил у нее Егоровых не было, даром что лошадь.

Издали он костер углядел: сквозь мокрые еловые лапы. У костра фигуры виднелись, а с берега и голос донесся:

— Под кустами смотри: вроде щука.

— Темно-о!..



Егор бежал напрямик, ломая валежник. Ветки хлестали по лицу, сердце в горле билось, и трясло его.

— Стой! — закричал он еще в кустах, в темноте еще.

Вроде замерли у костра. Егор хотел снова крикнуть, да дыхания не хватило, и выбежал он к костру молча. Стал, хватая ртом воздух, в миг какой-то успел увидеть, что над огнем вода в кастрюльке кипит, а из воды две лебединых лапы выглядывают. И еще троих лебедей увидел — подле. Белых, еще не ошипанных, но уже без голов. А в пламени пятый его лебедь сгорал: деревянный. Черный теперь, как озеро.

— Стой... — шепотом сказал он. — Документ дайте.

Двое у костра стояли, но лиц он не видел. Один сразу шагнул в темноту, сказав:

— Лесник.

Шумел ветер, булькала вода в кастрюле, да трещал, догорая, деревянный лебедь. И все покуда молчали.

— Документы, — пересохшим горлом повторил Егор. — Задерживаю всех. Со мной пойдете.

— Вали отсюда, — негромко и лениво сказал тот, что остался у костра. — Вали, пока добрые. Ты нас не видел, мы тебя не знаем.

— Я в доме своем, — задыхаясь, сказал Егор. — А вы кто есть, мне неизвестно.

— Вали, говорю.

С озера опять донесся весельный плеск и голос:

— Хорош навар! Пуда полтора...

— Рыбу глушите, — вздохнул Егор. — Лебедей поубивали. Эх, люди!..

В темноте возник силуэт.

— Продрог, растудыт твою. Сейчас водочки бы хватануть, хозяин...

Замолчал, увидев Егора, и в тень отступил. И еще кто-то у берега стучал веслами. И четвертый где-то прятался, не появляясь больше в освещенном круге.

— Чего ему тут надо? — спросил тот, что в тень отступил.

— По шее.

— Это мы можем.
— Документы,— упрямо повторил Егор.— Все равно не уйду. До самой станции идти за вами буду, пока милиции не сдам.

— Не страдай,— сказали в темноте.— Не ясный день.

— Он не страшит,— сказал первый.— Он цену набивает. Точно, мужик? Ну как, сойдемся? Пол-литра у костра да четвертной в зубы — и гуляй, Вася.

— Документы,— устало вздохнул Егор.— Задерживаю всех.

Он весь горел сейчас, в голове шумело, и противно слабели колени. Очень хотелось сесть, погреться у огня, но он знал, что не сядет и не уйдет отсюда, пока не получит документов.

Еще один, насвистывая, шел от берега. Двое о чем-то шептались, а четвертого не было: прятался.

— Полсотни,— сказал первый.— И заворачивай гужи.

— Документы. Задерживаю всех. За нарушения.

— Ну, гляди,— угрожающе сказал первый.— Не хочешь миром — ходи в соплях.

Он наклонился к кастрюле, потыкал ножом в лебедя. Второй пошел к озеру, навстречу тому, что насвистывал.

— Зачем же лебедей-то? — вздохнул Егор.— Зачем? Они ведь украшение жизни.

— Да ты поэт, мужик.

— Собирайтесь. Время позднее, идти не близко.

— Дурак! Дай ему по мозгам.

Хакнули за спиной, и тяжелая жердь, скользнув по уху, с хрустом обрушилась на плечо. Егор качнулся, упал на колени.

— Не смей! Нельзя меня бить: я законом поставлен! Документы требую! Документы...

— Ах, документы тебе?..

Еще и еще раз обрушилась жердь, а потом Егор перестал уж и считать-то удары, а только ползал на дрожащих, подламывающихся руках. Ползал, после каждого удара утыкаясь лицом в мокрый, холодный мох, и кричал:

— Не смей! Не смей! Документы давай!

— Документы ему!..

И уже не одна, а две жердины гуляли по Егоровой спине, и чей-то тяжелый сапог упорно бил в лицо. И кто-то кричал:

— Собаку на него! Собаку!

— Куси его! Куси! Цапай!

Но собака не брала Егора, а только выла, страшась крови и людской злобы. И Егор уже не кричал, а хрипел, выплевывая кровь, а его все били и били, озлобляясь от ударов. Егор уже ничего не видел, не слышал и не чувствовал.

— Брось, Леня, убьем еще.

— У, гад!..

— Оставь, говорю! Сматываться пора. Забирай рыбу, хозяин, да деньги гони, как сговорено.

Кто-то с отяжкой, изо всей силы ударил сапогом в висок, голова Егора дернулась, закачалась на мокром от дождя и крови мху — и бросили. Пошли к костру, возбужденно переговариваясь. А Егор поднялся, страшный, окровавленный, и, шлепя разбитыми губами, прохрипел:

— Я законом... Документы...

— Ну, получи документы!

Кинулись и снова били. Били, пока хрипеть не перестал. Тогда оставили, а он только вздрагивал щуплым, раздавленным телом. Редко вздрагивал.

Нашли его на другой день уже к вечеру на полпути к дому. Полдороги он все же прополз, и широкий кровавый след тянулся за ним от самого Черного озера. От кострища, разоренного шалаша, пти-

чьих перьев и обугленного деревянного лебедя. Черным стал лебедь, нерусским.

На второй день Егор пришел в себя. Лежал в отдельной палате, еле слышно отвечая на вопросы. А следователь все время переспрашивал, потому что не разобрал слов: и зубов у Егора не было, и сил, и разбитые губы шевелиться не желали.

— Неужели ничего не можете припомнить, товарищ Полушкин? Может быть, мелочь какую, деталь? Мы найдем, мы общественность поднимем, мы...

Егор молчал, серьезно и строго глядя в молодое, пышущее здоровьем и старательностью лицо следователя.

— Может быть, встречались с ними до этого? Припомните, пожалуйста. Может быть, знали даже?

— Не знал бы — казнил,— вдруг тихо и внятно сказал Егор.— А знаю — и милую.

— Что? — Следователь весь вперед подался, напрягся весь.— Товарищ Полушкин, вы узнали их? Узнали? Кто они? Кто?

Егору хотелось, чтобы следователь поскорее ушел. После уколов боль отпустила, и ласковые, неторопливые думы уже проплывали в голове, и Егору было приятно встречать их, разглядывать и вновь провозжать куда-то. Он вспомнил себя молодым, еще в колхозе, и увидел себя молодым: председатель за что-то хвалил его и улыбался, и молодой Егор улыбался в ответ. Вспомнил переезд свой сюда, и петуха вспомнил и тотчас же увидел его. Вспомнил веселых гусенков-поросенков, гнев Якова Прокопыча, туристов, утопленный мотор, а зла в душе ни к кому не было, и он улыбался всем, кого видел сейчас, даже двум пройдохам у рынка. И, улыбаясь так, он как-то очень просто, тихо подумал, что прожил свою жизнь в добре, что никого не обидел и что помирать ему будет легко. Совсем легко — как уснуть.

Но додумать этого ему не дали, потому что нянечка голову из коридора в комнату сунула и сказала, что очень уж к нему просятся, что, может, позволит он: уж больно человек убивается. Егор моргнул в ответ, она из щели исчезла, а дверь отворилась, и вошел Федор Ипатович.

Он вошел неуклюже, бочком, будто нес что-то и боялся расплескать. Потоптался у порога, то поднимая, то вновь пряча глаза, позвал:

— Егор. Егорушка.

— Садись.— Егор с трудом разлепил губы.

Федор Ипатович присел на краешек, покачал головой горестно. Будто и донес ношу, а сбросить ее не мог и страдал от этого. И Егор знал, что он страдает, и знал почему.

— Живой ты, Егор?

— Живой.

Федор Ипатович вновь завздыхал, заскрипел табуреткой, а потом вытащил из-под полы халата пузатую бутылку.

Долго откручивал пробку корявыми, непослушными пальцами, и пальцы эти дрожали.

— Ты не страшись, Федор Ипатыч.

— Что? — вздрогнул Бурьянов, глаза расширив.

— Не страшись, говорю. Жить не страшись.

Гулко слотнул Федор Ипатович. На всю палату. Взял с тумбочки стакан, налил из бутылки что-то желтое, пахучее.

— Выпей, Егорушка, а? Сглотни.

— Не надо.

— Хоть глоточек, Егор Савельич. Двадцать пять рубликов бутылочка, не для нас сварено.

— Не для нас, Федор.

— Ну выпей, Савельич, выпей. Облегчи ты мне душу-то, облегчи!

— Нету во мне зла, Федор. Покой есть. Ступай домой.

— Да как же, Савельич...

— Да уж стало быть так, раз оно не этак.

Федор Ипатыч всхлипнул, тихо поставил стакан и встал.

— Только прости ты меня, Егор.

— Простил. Ступай.

Федор Ипатыч покачал большой головой, постоял еще маленько, шагнул к дверям.

— Пальму не стрели,— вдруг сказал Егор.— Что не взяла она меня, в том вины ее нет. Меня собаки не берут, слово я собачье знал.

Федор Ипатыч тяжело и медленно шел коридором больницы. В правой руке он нес початую бутылку, и дорогой французский коньяк выплескивался на пол при каждом его шаге. По небритому, черному лицу его текли слезы. Одна за другой, одна за другой.

А Егор опять закрыл глаза, и опять мир широко раздвинулся перед ним, и Егор перешагнул боль, печаль и тоску. И увидел мокрый от росы луг и красного коня на этом лугу. И конь узнал его и заржал призывно, приглашая сесть и скакать туда, где идет нескончаемый бой и где черная тварь, извиваясь, все еще изрыгивает зло.

Вот. А Колька Полушкин все-таки отдал спиннинг за шелудивого щенка с надорванным ухом. Видно, ему тоже снился красный отцовский конь.

ОТ АВТОРА

Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь. Она зовет меня негромко и застенчиво, и я сажусь в поезд и через три пересадки еду в далекий поселок.

Мы гуляем с Колькой и Цуциком по улицам, заходим на лодочную станцию, и Яков Прокопыч дает нам самую лучшую лодку. А вечером пьем с Хариной чай, глядим на Почетную грамоту и вспоминаем Егора.

Яков Прокопыч стал говорить еще учнее, чем прежде, Черепок попал под Указ, а Филя по-прежнему немного шабашит и много пьет. Каждую весну на второй день пасхи он идет на кладбище и заново красит жестяной Егоров обелиск.

— Погоди, Егор, Черепок вернется, мы тебе памятник отгрохаем. Полмесяца шабашить будем, глотки собственные перевяжем, а отгрохаем.

Федор Ипатович Бурьянов уехал со всем семейством. И не пишут. Дом у них отобрали; там теперь общежитие. Петуха уже нет, а Пальму Федор Ипатович все-таки пристрелил.

К Черному озеру Колька ходить не любит. Там другой лесник, а Егоровы зайцы да белки постепенно заменяются обыкновенными осиновыми столбами. Так-то проще. И понятнее.

На обратном пути я непременно задерживаюсь у Чуваловых. Юрий Петрович получил квартиру, но места все равно мало, потому что в большой комнате расчесывает волосы белая дева, витесанная когда-то Егором одним топором из старой липы. И Нонна Юрьевна осторожно обносит вокруг нее свой большой живот.

А Черное озеро так и осталось Черным. Должно быть, теперь уж до Кольки...

Александр Гришин



Скрипач

Все состоит из мелочей...
Но вот на сцене освещенной
соленым потом, освященный
скрипач со скрипкою своей.

Я нотка в звуковом ключе,
я что-то значу и не значу,
мне не дано понять, кто плачет —
скрипач или скрипка на плече.

Не разделяю скрипачей
и скрипки стенкою стальнойю.
Есть музыка. А остальное...
Все состоит из мелочей.



На том холме, где синеве раздольно
среди березовых зеленых куполов,
стояла тишина, как колокольня,
как колокольня без колоколов,

и облаков и облаков касалась,
и обжигала водяную гладь.
Той тишины—казалось мне, казалось —
не пережить
и не перекричать.
Но вздрогнул лист,
роса упала громко...

Осенью

Меня растрогали нагие деревья
и воробьи, озябшие в пыли,
и ветры влажные—глаза мои, слова
растрогали они—и разнесли...
Как у меня кружится голова
от быстрого вращения Земли...

Маятник

Мои часы
остановили бег,
мне маятника звук
не ранит слух —
то тополиный пух
летит, как снег,
то снег летит,
как тополиный пух.

Игорь Жданов



Монолог

*Яннису Мочосу —
греческому партизану и поэту.*

— Ты видишь:
Я занят совсем другим,
Мне это все
Ни к чему.
И дым отечества,
Сладкий дым,
Претит не мне одному.
Но если
Летишь ты
Туда, туда...
Где юность моя
И страх,
Любовь моя
и моя беда,
И рухнувший дом в горах,
Тогда извини...
Не сочти за труд —
Поближе придвинь скамью.
Из этих
Желтых
Бумажных груд
Я Грецию достаю.
Английская карта —
Таких у нас
Не делают
и сейчас.
Найди Венетикос —
Это раз!
И выпей,
не горячась.
Теперь помолчим,
Помолчим о тех,
Кто в память запал едва.
Мы живы —
Под нами московский снег,
Над ними полынь-трава.
А им оставаться
на сто веков
Без имени,
без венков —
Найдет пастух,
напоив быков,

Подковки

от каблуков...

Ты видишь:
Дядюшка Митрос спит
И разные видит сны,
И служит подушкой ему гранит,
Где все мы

погребены.

Ведь он не знает,
Что я живой,
Не знает,
Что ты живой
И та,
Что зовется

моей женой,

Пока не стала вдовой.
Никто не исправит путей-дорог,
И каждый из нас в долгу:
Я драться умел,
Я работать мог...
И, верю, —
Вернуться смогу.



Мир огромный,
Пустой и бессмертный,
Небосклона разомкнутый круг —
Снова мечутся белые ветры,
Подвывая, берут на-испуг.
Носят клочья фабричного дыма,
По шершавому снегу шурша...
Что ж, встречай свою новую зиму,
Пережившая счастье душа.

Сентябрь

Проступают на солнце
Неизбежные пятна,
Просыпаешься ночью
Под рябою луной.
Все до точки знакомо,
До развязки понятно:
Не нужны обещанья —
Проходи стороной.

Желтый диск на закате,
Желтый лист на ладони,
Подступают все ближе
В сентябре холода.
Разлетаются искры,
Разбредаются кони,
Разлучаются люди
Навсегда-навсегда.

Вон стога у дороги
Горбят белые спины,
Расплылась в снегопаде
И пропала звезда.
Не любить тебе больше,
Не родить тебе сына,
Не стоять на перроне —
Не встречать поезда.

А быть может, осилим —
Не покажем и вида!
Мы-то знаем: не просто
Пережить холода.
Пусть любая погода
И любая планида,
Может, все-таки вместе
Навсегда-навсегда!..



ВИКТОРИЯ
ТОКАРЕВА

ПАРАЖА

РАССКАЗ



ПРОЗА

Рисунок
Елены МУХАНОВОЙ.

Слеза набухла медленно, долго, потом окончательно сформировалась и пошла по щеке. Добралась до края щеки, подождала еще одну слезу и, набрав тяжесть, сорвалась на стол, покрытый не то смолой, не то черной краской.

Лариска размазала слезу пальцем.

— Ну, скажи ему, как есть... — зашептала я. — Просто поди и скажи...

— Что?

— Ну как «что...» Скажи: «Я вас люблю!»

— А он? — Лариска подобрала очередную слезу языком.

— А он тебе ответит.

— Что?

— «Я вас тоже» или скажет: «А я вас нет!» Так ты хоть будешь знать.

— А как ты думаешь, что он скажет?

— Прекратите разговоры! — приказала Гонорская. — Если вам не интересно, можете выйти из класса. Можете вообще не ходить на мой предмет.

Мы с Лариской замолчали.

— Побочная партия! — объявила Гонорская и пошла к роялю.

Она села, ударила по клавишам двумя руками, и мне показалось, что рояль удивился, как человек, и вздрогнул так, что даже подпрыгнул на всех трех ногах.

Гонорская играет громко и фальшиво, по принципу: дурак не заметит, умный промолчит. Я веду себя, как дурак и как умный. Замечаю и молчу. Но когда я слышу такое исполнение, я испытываю стыд и смятение.

Гонорская старается играть пореже и носит с собой магнитофон. И сейчас она закрыла рояль и включила магнитофон. Потом села на свое место и задумалась. О чем? Наверное, о любви. И весь наш выпускной курс музыкального училища — восемнадцать дев и трое юношей, — все сидят, слушают симфонию Калинникова и думают о любви. Кроме меня. Я считаюсь на третьем месте по красоте, после Тамары и Лариски, но я никогда не думаю ни о чем, кроме музыки.

У меня есть какие-то мальчики, три или четыре, а может, пять. С одним из них мы даже целуемся в парадном, но я каждый раз жду при этом, когда он отодвинет свое лицо от моего и я смогу уйти домой и сесть за пианино.

Я играю по восемь часов каждый день, не потому что я повышено добросовестная, а потому что все остальное мне неинтересно. Я не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, ни то, ни другое. Это моя форма существования.

И еще я люблю бывать дома, потому что мне скучно без моих родителей, а им без меня.

Отец у меня красавец. В него влюблены все большие и весь медицинский персонал. Когда-то маме это нравилось, потом не нравилось, теперь все равно.

Магнитофон ревет, как водопроводная труба, но сквозь плохую запись я ловлю нежную витиеватую тему: звук бежит из звука, мысль никак не может остановиться. Потом приостанавливается незавершенно, чтобы передохнуть и снова начать свое чистое кружение.

Гонорская сказала, что Калинников рано умер. Я слушаю его душу. Представляю его себе с косым пробором в волосах, со светлыми карими глазами. Что с тобой случилось, мой мальчик?

— Конечно! — горячо шепчет Лариска. — Ведь если бы он меня не любил, он не вел бы себя так.

— Как?
— Демонстративно равнодушно!
— Конечно! — шепчу я. — Просто он тебя дразнит!

Чтение хоровых партитур — предмет необязательный, рассчитанный на то, что, если кто-нибудь по окончании училища захочет вести пение в общеобразовательной школе, он должен суметь прочесть с листа хоровую партитуру.

Я, например, собираюсь после училища поступить в консерваторию, стать лауреатом всех международных конкурсов и объездить весь мир.

Лариска собирается выйти замуж за Игнатия Петровича и родить ему троих детей. Он об этом пока ничего не подозревает.

У остальных студентов тоже более честолюбивые планы, чем пение в школе, поэтому к предмету все относятся с пренебрежением.

Занятия бывают раз в неделю — по вторникам, на один академический час положено по два ученика. Мы с Лариской ходим на чтение партитур вдвоем, на каждую из нас причитается по двадцать две с половиной минуты.

Сегодня вторник. Мы с Лариской стоим в мрачном коридоре первого этажа и поджидаем Игнатия Петровича.

— Ну что ты в нем нашла? — спрашиваю я.

— То, что он недоступен моему пониманию. Как марсианин.

— А Лерик доступен твоему пониманию?

Лерик — это Ларискин мальчик, курсант Военно-медицинской академии.

— Также недоступен, только с другой стороны, — говорит Лариска. — Я не понимаю, как можно быть таким синантропом.

Лариска влюблена в Игнатия, потому что он педагог, окончил консерваторию и как бы стоит на более высокой ступени развития. И потому, что он не обращает на Лариску никакого внимания.

— Раз я ему не нравлюсь, значит, он и получше видел, — делает Лариска логическое умозаключение. — Значит, я должна быть еще лучше тех, кто лучше меня. Великая война полов!

— И охота тебе... — удивляюсь я.

— Еще как охота! А чего еще делать?

— Мало ли серьезных дел?

— Это и есть самое серьезное дело, если хочешь знать.

— Какое?

— Быть нужным тому, кто нужен тебе!

Лариска стоит передо мной в полном снаряжении для великой войны полов. Верхние и нижние ресницы накрашены у нее так и настолько, что, когда она мигает, я слышу, как они клацают друг о друга, будто у куклы с закрывающимися глазами. Сложена она безукоризненно. Кофточка у нее не на пуговицах, а на шнуровке. Шнуровка не плотная, видна дорожка между грудями — нежная, невинная и какая-то самостоятельная, не имеющая к Лариске никакого отношения. Эта подробность моментально бросается в глаза и действует на людей по-разному. Девчонки сразу спрашивают: «А ты что, без лифчика ходишь?» «Ага», — беспечно отвечает Лариска.

Мужчины ни о чем не спрашивают, изо всех сил стараются не смотреть.

Я стою рядом с Лариской в глухом свитере, как репей рядом с хризантемой.

В глубине коридора появляется Игнатий.

Лариска вся напрягается. Воздух вокруг нее делается густым от нервных флюидов.

Игнатий Петрович не торопясь подходит к двери. Здоровается. Отпирает класс ключом.

Лет Игнатию тридцать—сорок. Он высок, светловолос, не стрижен, похож на обросшего, выгоревшего за лето беспризорника. Кожа на лице бледная, вялая, вымороченная не то усталостью, не то отвращением к необязательности своего предмета.

Я никогда прежде не присматривалась к нему, но Ларискина влюбленность как-то возвысила его в моих глазах. Я вдруг отметила идеальную конструкцию его плеч и умение красиво носить красивые вещи.

— Садитесь! — пригласил Игнатий Лариску.

Лариска припустилась на стул, как бабочка на неустойчивый цветок, грациозно разложила на клавишах свои легкие пальцы. Каждый палец — произведение искусства.

Игнатий сел рядом, ссутулившись. Лицо у него было свирепое.

— Но-че-ва-ла ту-у-у-чка... — обреченно завывала Лариска и задвигала пальцами.

Сложность заключалась в том, что надо было верхний голос петь, а три другие играть.

— Зо-ло-та-а-я...

— Фа, — сказал Игнатий.

Лариска долго смотрела в ноты, потом на правую руку, на левую, заглядывая под каждый палец.

Игнатий ждал, затем передвинул Ларискин палец с «ми» на «фа».

— Та-я... — опять провыла Лариска. — На-а гру-ди-и...

— Ре, — сказал Игнатий.

Лариска опять устала в ноты, на правую руку, на левую.

— Пустите, — сказал Игнатий.

Согнал Лариску, сел на ее место. Он не преследовал педагогических целей своим показом. Просто ему надоела Ларискина бездарность, захотелось поиграть самому.

Игнатий играл чисто и строго, прячась в музыке от вторников в своей жизни.

Это был хороший, умный пианист. Я понимала, что здесь, в училище, он сидит не на своем месте и занимается не своим делом.

Лариска молчала, отчужденная от Игнатия своим унижением. Она понимала, что проиграла великую войну полов, не успев ее развязать.

— В следующий раз то же самое! — сказал Игнатий Лариске и встал.

Дальше была моя очередь.

Я раскрыла оркестровую партитуру «Ромео и Джульетты» Чайковского. Программу я прошла давно и играла на уроках целые оперные клавиры, свободно ориентируясь в тучах восьмушек и шестнадцатых.

Я уверена: когда Чайковский писал тему любви, четвертый такт, что-то смялось в его душе, он не мог продыхнуть. Я тоже в этом месте не могу продыхнуть и погружаю свое смятение в средний регистр.

Игнатий хлопнул в ладоши. Я сняла руки с клавиш.

— Попробуйте в этом месте сыграть наоборот, — попросил он.

— Как? — не поняла я.

— Играйте любовь, как смерть, а смерть — как любовь.

— Почему?

— Потому что любовь всегда сильнее человека. А смерть — инъекция счастья.

Я не очень поняла, но перевернула несколько страниц обратно и стала играть сначала.

Игнатий подтащил свой стул к моему, забрал у меня два верхних голоса, оккупировал половину клавиатуры. Мы играли в четыре руки, толкаясь локтями.

За окном шел дождь.

Звуки не впитывались в стены, а отражались от них, и весь наш класс был наполнен любовью, как смерть, и смертью, как любовью.

Лариска вросла глазами в профиль Игнатия, и если бы ей предложили пожертвовать для него почку, она, не задумываясь, отдала бы две.

На другом берегу стояла Петропавловская крепость. Пристани речных трамвайчиков были занесены снегом и походили на ларьки.

Мы медленно брели в сторону Летнего сада. С Невы дул промозглый ветер, но в нем уже плавали ионы весны.

— У него лицо переделено на три части,— сказала Лариска.— Купол лба, брови и глаза— это его духовность. Нос— мужественность, у него профиль императора. А губы и подбородок— это его эгоцентризм и жестокость. Ты обратила внимание, какой у него омерзительный рот?

Лариска остановилась, и я тоже вынуждена была остановиться и честно вспоминать, какой у Игнатия нос, рот и купол лба.

— И-г-н-а-т-и-й!— выговорила Лариска.— Послушай: только гласные и мягкие согласные. Какое нежное и мужественное сочетание. Простое и породистое. По-испански это звучит Игнасьо.

— А по-русски Игнат,— дополнила я.

— Дура!— с превосходством сказала Лариска.

Я обиделась, но промолчала.

— А ты заметила, как он смеется? Как будто проносит букву «т». Т-т-т-т-т...

— Отстань!— потребовала я.

— А как ты думаешь, я ему хоть немножко нравлюсь?

— Нравишься, нравишься...

— А с чего ты взяла?

— Вижу!

— А как это заметно?

— Он бронзовеет,— определила я, подразумевая под этим неприступность Игнатия и его цвет лица. Мы вошли в Летний сад. Статуи стояли закутанные в белое, как в саваны.

— Какие молодцы!— похвалила Лариска.

— Кто?

— Древние греки. И те, кто разбил Летний сад. Они ведь его не себе делали, а нам.

— И себе тоже.

— Себе чуть-чуть...

Мы подошли к прудам. Лед был серый, набухший весною. Я мысленно поставила на лед ногу, мысленно провалилась и мысленно содрогнулась.

Лариска смотрела на лед яркими незрячими глазами. У нее были свои ассоциации.

— Представляешь...— проговорила она.— Океан, ночь, вода черная, небо черное, горизонта не видно. Сплошная чернота, будто земной шар на боку... Не поймешь, где вода, где воздух... И вдруг рарака засветится точечкой, и сразу понятно: вот небо, вот море. Просто сейчас ночь, а будет утро...

— А что это «рарака»?

— Морской светлячок. В море живет.

Я не понимала, какое отношение это имеет к Игнатию, но обязательно должно было как-то его касаться, потому что вне Игнатия не существовало ничего.

— Он моя рарака,— сказала Лариска.— Если он есть, я обязательно выплыву... Конечно, мне до него, как до Турции. Но я буду плыть к нему всю жизнь, пока не помру где-нибудь на полдороге.

— Счастливая!— позавидовала я.— Знаешь, куда тебе плыть.

— И ты знаешь,— серьезно сказала Лариска.— У тебя своя рарака. Талант.

— А что мне с него?

— Другим хорошо.

— Так ведь это другим.

— Ты будешь жечь свой костер для людей. Как древние греки. В этом твое назначение.

— Значит, я буду жечь костер, а ты около него греться?

— У меня свой костер,— сказала Лариска.— Костер любви.

Подул ветер, вздыбил челку над чистым Ларискиным лбом.

Мы побрели по тропинке Летнего сада, где когда-то Лиза встретила на свою голову Германа.

— Давай споем,— предложила я.— Три, четыре...

— А-а-а...— затянули мы с Лариской.

У нас была такая игра: выбросить звук одновременно, как карту,— каждая свой, и слушать, в какой они сплетаются интервал— терция, секунда, секста...

Сегодня получился унисон. Довольно редкое совпадение.

— Давай еще раз,— сказала Лариска.

— А-а-а-а...— затянули мы одновременно.

Снова получился унисон. Мы остановились и засмеялись.

Наверное, наши души были одинаково настроены в этот день, как два камертона, и отзывались Летнему саду одинаковым числом колебаний.

У Баха было детей двадцать один человек: семь от первой жены и четырнадцать от второй. Эти дети, должно быть, шуршали за стеной, как мухи в кулаке. А Бах уходил в свою комнату, снимал парик и баловался на клавесине.

Я не думаю, чтобы его одолевали сильные страсти, восторги упоения. Он раскладывал свою полифонию интуитивно, как гений, и точно, как математик. Поэтому я не люблю играть Баха с педалью.

Я сидела дома, играла Баха и ждала Лариску. Сегодня Лариска должна была объявить Игнатию о своей любви и послушать, что он скажет в ответ.

Я осталась дома, чтобы не являться на чтение партитур. А чтобы мой прогул не выглядел нарочитым, я не пошла в училище вообще.

В дверь позвонили. Это с войны полов явилась Лариска с трофеями.

Она медленно переступила через порог, вошла в прихожую. Качнулась к стене и припала лицом к обоям.

— Перестань грызть стену,— сказала я.— Что случилось?

Лариска молчала. Она стояла, раскинув руки, как Христос, если бы его прислонили к кресту не затылком, а лицом.

— Что случилось?— испугалась я.

Лариска не пошевелилась.

— Ну, что?— допытывалась я.

— Ничего,— вдруг спокойно проговорила Лариска и отошла от стены.— Я играла, потом перестала играть. Он спросил: «Чего же вы остановились?»

— А ты?

— Я стала играть дальше и доиграла до конца.

— А потом?

— Потом был звонок.

— И ты ничего не сказала?

— Он запретил.

— Как?— не поняла я.

— Глазами. Он так посмотрел, что я ничего не могла сказать.

Лариска говорила тихо и без выражения. У нее не было сил раскрашивать текст интонациями.

— Поешь чего-нибудь,— сказала я.
— Не могу...— прошептала Лариска. Губы у нее были серые.

— Тебе плохо? — испугалась я.
— Нет. Мне никак.

Я привела ее в комнату и уложила на диван. Дала под голову подушку, а сверху кинула плед.

— Твои скоро вернутся? — спросила Лариска.
— У них дежурство.

Лариска съежилась и закрыла глаза. Ресницы ее легли на щеки.

— Мне уйти? — спросила я.

Лариска потрясла головой, не открывая глаз.

Я села к роялю и стала тихо играть Баха.

Лариска открыла глаза и долго глядела перед собой. Потом забормотала: «Не думать, не думать, не думать, не думать...»

Я перестала играть и спросила:

— Ты сошла с ума?

— Нет,— сказала Лариска.— Это моя гимнастика. Я каждое утро просыпаюсь, и как молитву: «Мужество, мужество, мужество...». Раз пятьсот. И перед сном тоже: «Надежда, надежда, надежда, надежда, надежда...».

Лариска заплакала. Из глаз на подушку поползли слезы. Эти слезы были такие горячие и горячие, что мне казалось, прожгут насквозь подушку и диван.

— Господи! — вздохнула я.— Да ты оглянись по сторонам. Сколько вокруг настоящих мужчин, которые только и мечтают, чтобы их прибрала к рукам такая девчонка, как ты. Что ты вцепилась в этого Игнатия? У него и рожа-то желтая, как лимон за двадцать пять копеек.

— Я не могу лишиться его своей любви,— сказала Лариска.— Может быть, это единственное, что у него есть. Он так одинок...

— А зачем ему твоя любовь?

— А зачем рарака в море? Роса на траве?

На улице раздался выстрел, должно быть, лопнула на ходу камера у грузовика.

Лариска вздрогнула, быстро села.

— Это он...— проговорила она.

Я посмотрела на нее внимательно и поняла, что она в некотором роде сошла с ума.

— Может быть, он любит тебя, но скрывает свои истинные чувства. Может быть, у него принципы,— предположила я.

Лариска возвела на меня глаза. Она не понимала, что это за принципы, во имя которых холостой человек должен скрывать свои истинные чувства.

— Он учитель, ты ученица,— растолковала я.— Получается, он использует свое служебное положение. Это безнравственно.

Лариска спустила ноги с дивана и стала обуваться.

— Ты куда? — растерялась я.

— К нему. Я знаю, где он живет.

— Зачем ты к нему пойдешь?

— Я скажу: если он хочет, я брошу училище. Плевать мне на это училище!

— Тебя родители выгонят из дома.

— А мне не нужен дом, в котором нет его.

— Я тебя не пущу!

— Ты пойдешь со мной!

— Это нескромно,— пыталась я образумить Лариску.— Явилась — навитая, раскрашенная... Он первый тебя осудит. Мужчины ценят скромность!

Лариска вышла из комнаты. Я услышала, как в ванной яростно плещется вода.

Прошла минута, две, и в комнату вернулась уже не Лариска, а ее сестра из деревни Филимоново: волосы мокрые, гладкие, прижаты к темени и заправлены за уши. Открытый лоб, глаза без ресниц вообще.

— Ну, как? — весело спросила Лариска, вытирая полотенцем мокрую шею.

Я молчала, ошеломленная переменной.

— Я готова! — объявила Лариска.

— Подожди...— взмолилась я, но это было равносильно тому, как если бы я обратилась к падающему самолету, вошедшему в штопор.

Памятник Гоголю был припорошен легко ссыпающимся снегом, и на унылых бронзовых волосах лежала белая шапка.

Лариска шагала, покрыв голову двумя платками, истоиво глядя перед собой. Мы шли, как в разведку: не было ни прошлого, ни будущего, только настоящее, только ощущение опасности.

— Жди меня здесь,— приказала Лариска и скрылась во мгле парадного.

Я осмотрелась по сторонам. Дом был кирпичный, красный. Стена в наступающих сумерках казалась какой-то зловещей. Возле таких стен расстреливают заложников.

Снег шел хорошо. Деревья стояли обсахаренные. Поблескивали полоски трамвайных рельсов.

Я ждала Лариску и думала о том, что она сошла с ума, а я не в состоянии сойти с узкоколейки своей трезвости. Я молода и красива, на третьем месте по красоте. Но почему-то такие редкие, ценные обстоятельства, как молодость и красота, не дают мне никаких преимуществ. Я живу, как старуха, с той только разницей, что у меня впереди больше лет жизни. Значит, я дольше буду играть и любить своих родителей.

Я ждала Лариску, и мне тоже хотелось сильных, шекспировских страстей, хотелось бежать к кому-нибудь по морозу с мокрой головой и бросать ему под ноги свое хрупкое существование.

Появилась Лариска.

— Никто не открывает,— сказала она.

— Значит, его нет дома.

— А может, он прячется?

— Он ведь не знает, что ты придешь. Ты ведь не предупреждала.

— А как ты думаешь, он вернется?

— Конечно! Куда же он денется!

— А вдруг у него кто-то есть? — В Ларискиных глазах остановился ужас.

— Тогда бы он женился,— сказала я.— Ведь он свободен.

— А может, она не свободна?

— Значит, это не имеет никакого отношения к любви.

Лариска обняла себя за плечи, чтобы не дрожать крупно.

— Ты простудишься,— предсказала я.

— А как ты думаешь, если я простужусь и умру, что он сделает?

— Напьется,— предположила я.

— Правда? — обрадовалась Лариска.

— Напьется и заплачет,— пообещала я.

— Мой образ будет со временем высветляться в его памяти, и он влюбится в свою потерю.

— Подожди, может, еще и так влюбится.

Мы с Лариской брели вдоль красной стены. Мимо прошла очень высокая собака. Она шла и знала, что все на нее смотрят.

Лариска подняла голову.

— Смотри! — сказала она.

— Куда?

Я тоже подняла голову. В небе шло неясное брожение, как в кастрюле с закипающим супом. Мы стояли с Лариской, как две бесполезные косточки на дне кастрюли мироздания. Какой от нас навар...



— Видишь? — спросила Лариска. — Это моя нежность и печаль.

— Где? — Я вглядывалась в перистые облака, которые двигались, перемещались.

— Человеческие чувства и голоса не рассеиваются, а поднимаются в небо, — объяснила мне Лариска. — А оттуда передаются в более высокие слои атмосферы.

— Может быть, сейчас где-нибудь в галактиках бродит голос Калининкова...

Мы стояли, чуть покачиваясь, и смотрели, как выглядит Ларискина печаль. Она каждую секунду была разной.

Потом мы опустили головы и одновременно увидели Игнатия. В короткой дубленке, он быстро шел, глядя перед собой. Прошел, обогнув нас, не заметив.

— Игнатий Петрович! — вскрикнула Лариска, будто в нее выстрелили.

Он обернулся. Она подошла к нему, медленным самоотверженным движением стянула оба платка на воротник.

— Лариса? — удивился Игнатий. — Я вас и не узнал. А что вы здесь делаете?

Лариска смотрела на купол его лба, в стихийное бедствие его глаз.

— А я тут рядом живу, — проговорила она.

— Понятно...

Помолчали. Потом Игнатий сказал:

— Вы совершенно не готовитесь к занятиям, мы только напрасно время теряем. Я поговорю в учебной части, пусть вас переведут к Самусенке... Доброй ночи!

Он повернулся и пошел к своему парадному. Лариска медленно тронулась за ним. Потом побежала.

Игнатий остановился и сказал, не оборачиваясь: — Я слышу ваши шаги. Не ходите за мной, потому что я вынужден буду проводить вас, а я очень устал.

Когда я подошла к Лариске, она стояла, как каменная, и ее новое лицо не выражало ничего.

— Пойдем! — Я покрыла ее платками и подняла воротник. — Если бы ты ему не нравилась, он не перевел бы тебя к Самусенке.

— Оставь меня. Я хочу побыть одна.

— Что ты собираешься делать? — испугалась я.

— Ничего, — гордо сказала Лариска. — Перейду к Самусенке.

Наш поход в разведку окончился расстрелом возле каменной стены.

Лариска ушла. Я осталась одна против дома Игнатия. Мне хотелось подняться к нему и спросить: «Ну почему? Почему? Почему?»

Говорят, для того, чтобы прыгнуть с трамвая, необходимо выполнить три пункта инструкции:

1. Встать на подножку и сконцентрировать в себе состояние готовности к прыжку.

2. Прыгнуть вперед по ходу трамвая и пробежать трусцой, чтобы сохранить инерцию движения и не свалиться, как мешок, под колеса идущего транспорта.

3. Игнорируя свистки милиционера, перебежать дорогу и скрыться за дверьми родного училища.

После того, как ты спрыгнул, не попал под колеса и убежал от милиционера, после того, как ты уцелел, особенно остро чувствуешь аромат жизни, ее первоначальные свойства, стертые каждодневной обыденностью.

У японцев есть соус, который они добавляют в еду. Этот соус усиливает и проявляет вкус предлагаемой пищи: мясо как бы становится еще более мясным, а рыба — рыбной, и у японца не возникает сомнения, что он ест именно рыбу, и ничто другое.

Риск — это своего рода жизненный соус. Я прыгаю с трамвая не для того, чтобы острее ощутить радость бытия. Просто наше училище стоит на полдороге между двумя трамвайными остановками, и я выбираю наиболее короткий путь.

Я прибежала на чтение партитур и разложила ноты.

Оттого, что пианино было старое — ему лет сто, — а помещение мрачноватое — раньше здесь жил угрюмый купец, — еще светлее и белее выглядел белый свет за окном.

Игнатий вошел почти следом за мной. Вид у него был оживленный, взъерошенный, как будто он тоже только что спрыгнул с трамвая на полном ходу.

Он подтащил стул к инструменту и потер руки, как бы готовясь к пиру своего самоутверждения. Я была его лучшей ученицей, смыслом его пребывания в училище, и, видимо, он очень нравился себе в моем обществе.

У нас было сорок пять минут — двадцать три свои и двадцать две Ларискины.

Я открыла пролог «Снегурочки», посмотрела на Игнатия. Его лицо было близко, и я вдруг увидела, что оно действительно переделано на три части.

Купол лба, щедрый размах бровей и сильные глаза веселого самоубийцы — это его духовность. Нос — мужественность. Рот — жестокость. Все это ему действительно принадлежало, но было открыто не мной. Мне стало казаться, что Лариска стоит за дверью, прижавшись спиной к стене. У меня появилось ощу-

щение, будто я надела краденую вещь и встретила хозяина.

Я стала смотреть в ноты.

— Начнем, пожалуй... — поторопил меня Игнатий. Я перевела глаза с нот на клавиши, а с клавиш на колени.

— Что произошло? — спросил Игнатий.

Действительно, что произошло?

Игнатий не просил Лариску любить его, она сама его любила, и его вины здесь не было никакой. Но Лариска любила его так красиво, так талантливо. И это не пригодилось. И теперь неприкаянная Ларискина любовь плавает над крышами. А Игнатий сидит, как сидел, и его лицо по-прежнему переделано на три части. А я, ее подруга и вместилище тайн, сижу на ее месте и занимаю ее самые главные двадцать две минуты.

— Что с вами? — удивился Игнатий.

— Я больше не буду ходить на чтение партитур, — сказала я, исследуя переплетения чулка на своем колене.

— Почему?

— Потому что я буду занята основным предметом. Через месяц — диплом.

Игнатий поднялся и отошел к подоконнику, должно быть, ему удобнее было издалека смотреть на меня.

Мне тоже так было удобнее. Я подняла на него глаза и по полоске его сомкнутого рта увидела, что он оскорблен.

Мы молчали минут пять, и у меня зазвенело в ушах от напряжения.

— Почему вы молчите? — спросила я.

— А что вы хотите, чтобы я сказал? — спросил Игнатий.

Я пожалала плечами, и мы снова замолчали трагически надолго.

— Если вас волнует, что я пожалуюсь в деканат, можете быть спокойны: жаловаться я не буду. Но здороваться с вами я тоже не буду.

— Пожалуйста, — сказала я.

С тех пор мы не здоровались.

С Лариской, как ни странно, мы тоже сильно отдалились друг от друга.

Она не хотела возвращаться мыслями ни в Летний сад, ни к красной стене, а мой облик невольно тащил ее туда, и Лариска избегала меня, интуитивно подчиняясь закону самосохранения.

Однажды мы столкнулись с ней в раздевалке и вышли вместе.

— Я больше не хожу на партитуры, — сказала я.

— Напрасно... — самолюбиво ответила Лариска.

На ее лбу сидел фурункул, величиной с грецкий орех. Я вспомнила, что она живет в Ленинграде без родных, снимает угол и ест от случая к случаю.

— Ну, как ты? — неопределенно спросила я, давая возможность Лариске ответить так же неопределенно, вроде: «спасибо» или «хорошо».

— Плохо, — сказала Лариска.

Она одарила меня откровенностью за то, что я приняла ее сторону, перестала ходить к Игнатию.

— Я все время оглаживаю себя, успокаиваю, как ребенка, — сказала Лариска. — Но иногда мне хочется закричать... Я только боюсь, что, если закричу, земной шар с оси сорвется.

— А Лерик? — спросила я.

— При чем тут Лерик?

После вручения дипломов был концерт.

Когда я вышла на сцену, обратила внимание: пол сцены, ее основание, выстлан досками, и мне показались, будто я вышла на рабочую строительную площадку.

Я увидела зал, приподнятые лица, преобладающие цвета — черно-белые.

Увидела клавиши, бесстрастный черно-белый ряд. А дальше не видела ничего.

Я села за рояль. На мне платье без рукавов. Мне кажется, что рукав, полоска ткани, отъединит меня от зала. А сейчас мне не мешает ничего.

Взяла первую октаву в басах.

Я держу октаву, концентрирую в себе состояние готовности к прыжку.

Во мгле моего подсознания светящейся точкой вспыхнула рарака, я оторвалась от поручней и полетела под все колеса.

Я играла, и это все, что у меня было, есть и будет: мои родители и дети, мои корни и мое бессмертие.

Когда я потом встала из-за рояля и кланялась, меня не было. Меня будто вычерпали изнутри половником, осталась одна оболочка.

За кулисами ко мне подошла Лариска и сказала: — Ну как ты вышла?

Ей не нравилось мое платье. Она вздохнула и добавила:

— Эх, если бы я могла выйти, уж я бы вышла... Дело было в том, что она могла выйти, а я могла играть.

После концерта начались танцы.

Оркестр был составлен из студентов и преподавателей. За роялем сидел наш хормейстер Павел, с точки зрения непосвященных, шпарил, как бог. В обнимку с контрабасом стояла Тамара, которая занимала в училище первое место по красоте. А на ударниках со своей идеальной конструкцией плеч восседал Игнатий. Лицо у него было наивное и торжественное, как у мальчика, — видно, ему там нравилось.

Лариска пришла на выпускной вечер с известным молодым киноартистом, которого она одолжила у кого-то на несколько часов. Его портретами был оклеен весь город.

Киноартисту дана была актерская задача: играть влюбленность, и он не сводил с Лариски своих красивых бежевых глаз.

Лариска была блистательна, вся в чем-то красно-белом, гофрированном, хрустящем, как бумажный китайский фонарь. Выражение ее лица было таким, будто у нее полные карманы динамита.

Игнатий взмахнул палочками: раз, два, три... раз, два, три... Первая... пятая...

Лариска вцепилась в киноартиста, и их вынесло первой парой на самую середину зала.

Киноартист чуть-чуть стулился над Лариской, а она, наоборот, откинулась от него, ее оттягивала центробежная сила. Он был прекрасен, как гений чистой красоты, и не сводил с Лариски глаз, а она — с него. Все было так красиво и убедительно, что хоть бери кинокамеру и снимай кино.

Постепенно вальс заразил всех, и через минуту все задвигалось, заколыхалось, негде было яблоку упасть.

Я стояла возле стены, меня никто не приглашал. Может быть, мужчины побаивались моей избранности, исключительности. А может быть, рассудили: раз я умею так хорошо играть на рояле, значит, мне и без танцев хорошо.

Вдруг я заметила, что Лариска танцует не с киноартистом, а с Гонорской, нашей преподавательницей по музыкальной литературе.

Гонорская — округлая и широкая в талии, как рыба камбала. Если меня когда-нибудь постигнет такая талия, я просто буду срезать с нее куски.

Лариска с Гонорской держались друг за дружку, но не танцевали, а стояли на месте и цепляли ноги. Им, наверное, обеим казалось, что они танцуют.

Их неподвижность особенно бросалась в глаза на движущемся фоне.

Потом Лариска отделилась от Гонорской, нашла меня глазами и ринулась в мою сторону, прорезая толпу, как ледокол «Ермак». Лицо у нее стало совсем маленькое, все ушло в глаза. А глаза — огромные, почти черные от широких зрачков.

— Ты знаешь, что мне сказала Гонорская?

Я должна была спросить: «Что?» Но я молчала, потому что знала: Лариска и так выложит.

— Она сказала, что Игнатий не женится никогда. Ни на ком.

— Почему?

— Потому что он выжженное поле, на котором ничего не взрастет...

Я ничего не поняла.

— Представляешь? Какое счастье! Теперь он никому не достанется, а я его еще больше буду любить!

Лариска закусила губу. Ее брови задрожали, и из глаз в три ручья хлынули несоленые, легкие, счастливые слезы.

К нам пробрался киноартист.

— Танго... — интимно сказал он Лариске, и в его исполнении это слово звучало особенно томно и иностранно.

— Да отвяжись ты, чеснок! — выговорила Лариска и помчалась куда-то к выходу, победно польхая красным и белым, будто факел, зажженный от костра любви.

Киноартист профессионально скрыл свои истинные чувства, спокойно посмотрел на меня и спросил:

— Хочешь, спляшем?

Я положила руку с куцыми ногтями пианистки на его плечо и двинулась с места.

Было тесно и душно. Меня толкали в бока и в спину. Я была неповоротлива, как баржа, а танго тягостное и бесконечное, как ночь перед операцией.

Игнатий сидел выше всех, среди своих барабанов, и над его стройной макушкой мерцал нимб его не-постижимости.

Прошло тринадцать лет.

Я стала тем, кем хотела: окончила Московскую консерваторию, стала лауреатом всех международных конкурсов и объездила весь мир. Не была только в Австралии.

Лариска тоже стала тем, кем хотела: вышла замуж за военного инженера, москвича, родила троих детей. Инженер демобилизовался, и теперь они живут в Москве.

Я с ней не вижу, как-то не выходит. Знаю только, что ее новая фамилия Демиденко и живет она на проспекте Вернадского.

Однажды я получила из нашего училища письмо с приглашением на юбилей. Оно начиналось так: «Уважаемая Тамара Григорьевна!»

Видимо, в конверт с моим адресом вложили письмо Тамаре, той, что на первом месте по красоте. Значит, мое письмо попало к ней.

Я долго смотрела на конверт, на письмо, потом ни с того ни с сего оделась, вышла на улицу, взяла в Горсправке Ларискин адрес и поехала к ней домой.

Ларискин дом был девятиэтажный, стоял возле искусственных прудов.

Дверь отворила Лариска.

Она была красива, но иначе, чем прежде. Время подействовало на нас по-разному: Лариска раздалась в плечах и в бедрах, а я, наоборот, съежилась, как говорят мои родители, удачно мумифицировалась.

Мы узнали друг друга в ту же секунду и не могли двинуться с места. Я стояла по одну сторону порога, Лариска — по другую, обе парализованные, с вытаращенными глазами, как будто нас опустили в ледяную воду.

Потом Лариска перевела дух и сказала:

— Ну, ты даешь!

Я тоже очнулась, вошла в прихожую, сняла шубу. И все вдруг стало легко и обыденно, как будто мы расстались только вчера или даже сегодня утром.

В прихожую вышла девочка лет восьми, беленькая, очаровательная.

— Это моя дочь. А это тетя Кира, — представила нас Лариска.

— Тетя Кира, вы очень модная! — сказала мне девочка и обратилась к матери: — Дай мне рубль!

— Зачем?

— Я должна сходить в галантерею, у нашей учительницы завтра праздник.

— Сделаешь уроки, потом пойдешь! — распорядилась Лариска.

Средняя дочь была в детском саду, или, как выразилась Лариска, ушла на работу.

Младшая девочка спала на балконе, ей было пять месяцев. Лариска сказала, что вчера она научилась смеяться и целый день смеялась, а сегодня целый день спит, отдыхает от познанной эмоции.

— Еще будешь рожать? — спросила я.

— Мальчишку хочется, — неопределенно сказала Лариска.

— А зачем так много?

— Из любопытства. Интересно в рожу заглянуть, какой получится.

— Дети — это надолго, — сказала я. — всю жизнь будешь им в рожу заглядывать, больше ничего и не увидишь.

— А чего я не увижу? Гонолулу? Так я ее по телевизору посмотрю. В передаче «Клуб кинопутешествий».

— А костер любви? — спросила я.

— Я посажу вокруг него своих детей.

Лариска достала вино в красивой оплетенной бутылке, поставила на стол пельмени, которые она сама приготовила из трех сортов мяса. Пельмени были очень вкусные и красивые.

— Все деньги на еду уходят, — сказала Лариска. — Мой муж сто килограмм весит...

— Такой толстый?

— У него рост — метр девяносто шесть, так что килограммы не особенно видны. Вообще, конечно, здоровый... — созналась Лариска.

— А чем он занимается?

— Думаешь, я знаю?

Лариска разлила вино.

— За что выпьем? — Она посмотрела на меня весело и твердо.

— За Игнатия!

— Да ну...

— Что значит «да ну»? Собиралась плыть до него, как до Турции.

— Ну и доплыла бы, и что бы было? — Лариска поставила на меня свои глаза. — Время убивает память, — сказала она.

— А у меня наоборот: память убивает время. Я все помню, как будто вчера. Наверное, это дефект сознания.

Вошла девочка с тетрадью.

— У меня «у» не соединяется, — сказала она.

Лариска взяла у нее тетрадь.

— Ты следующую букву подвинь поближе.

Девочка смотрела на меня.

— Да куда ты смотришь? Сюда смотри! Видишь,

хвостик от «у»? Он должен утыкаться прямо в бок следующей букве. Поняла?

Девочка взяла тетрадку и кокетливо зашагала из комнаты.

— Гонорскую помнишь? — спросила я. — Вышла замуж за Игнатия.

Лариска опять поставила на меня свои глаза и держала их долго — дольше, чем возможно. Потом выпила полстакана залпом, будто запила лекарство, и пошла из комнаты.

— А ты почему развелась? — крикнула Лариска.

— Профессия развела! — крикнула я. — Я ведь все время играю, на семью времени не остается.

— А разве нельзя и то и это?

— Может, можно, но у меня не получается.

— Ну и дура! — сказала Лариска, возвратившись с кофе. — Подумаешь: Франция, Америка... А заболеть — стакан воды подать некому.

— Это да... — согласилась я.

— Французы послушают твой концерт, похлопают и разойдутся каждый к себе домой. А ты — в пустую гостиницу. Очень интересно!

Лариска села к столу и снова разлила вино по стаканам.

— За что?

— За рараку! — сказала я.

Вошла девочка, протянула Лариске тетрадку.

— Я тебе покажу галантерею! — заорала Лариска напряженным басом. — Только об этом и думаешь! Никуда не пойдешь!

Она хлестнула девочку тетрадкой по уху, смяв тетрадь. Девочка втянула голову, дрожала ресницами и, не отрываясь, смотрела на меня. Ей было тяжело терпеть унижение при посторонних.

На балконе проснулся и закричал ребенок, не то засмеялся, не то заплакал.

— Я пойду, — сказала я и встала.

Лариска отшвырнула старшую дочку и вышла со мной в прихожую. Два красных пятна расцвели на ее щеках.

— Будешь за границей, привези мне парик, — попросила Лариска. — Причесаться некогда с этими парзитами!

Больше мы не виделись.

Через восемь месяцев я уехала в Австралию.

В Австралии все было абсолютно так же, как и в других странах: сцена — моя рабочая площадка. Приподнятые лица. Преобладающие цвета — черно-белые. Хрустальная люстра, сверкающая всеми огнями, существующими в спектре.

Я сначала все это вижу, потом не вижу. Сосредоточиваюсь на клавишах и жду, когда во мгле моего подсознания золотой точкой вспыхнет рарака и я разожгу от нее свой костер. Потом я обливаюсь керосином и встаю в этот костер, чтобы он горел выше и ярче. А незнакомые люди с приподнятыми лицами сидят и греются возле моего костра, притихшие и принаряженные, как дети.

Австралийцы долго хлопали. Я долго кланялась.

А дальше все было так, как предсказывала Лариска: австралийцы встали и разошлись по домам. А я поехала в гостиницу и легла спать.

ФЕСТИВАЛЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В БЕРЛИН

Нынешний Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Берлине — юбилейный. Он десятый по счёту. Есть ещё одна особенность и праздника молодежи этого года. Впервые фестиваль проводится второй раз в одном городе. Фестиваль возвращается в Берлин... В предфестивальные дни мы встретимся с председателем Советского подготовительного комитета, председателем Комитета молодежи организации СССР Геннадием Нейновичем Янаевым и беседаем с ним о фестивальной оживлённости.

«ЮНОСТЬ». Что даёт миру молодёжное фестивальное движение?
Г. И. ЯНАЕВ. Впервые молодежь собралась на свой форум в Берле в 1947 году. С тех пор каждый Всемирный фестиваль точно отражал расстановку сил в международном молодежном движении послевоенных лет. Фестивальное движение постоянно обновлялось новым, все более глубоким содержанием. Оно отвечало назревшим задачам демократической молодежи и актуальным проблемам межгосударственной жизни.

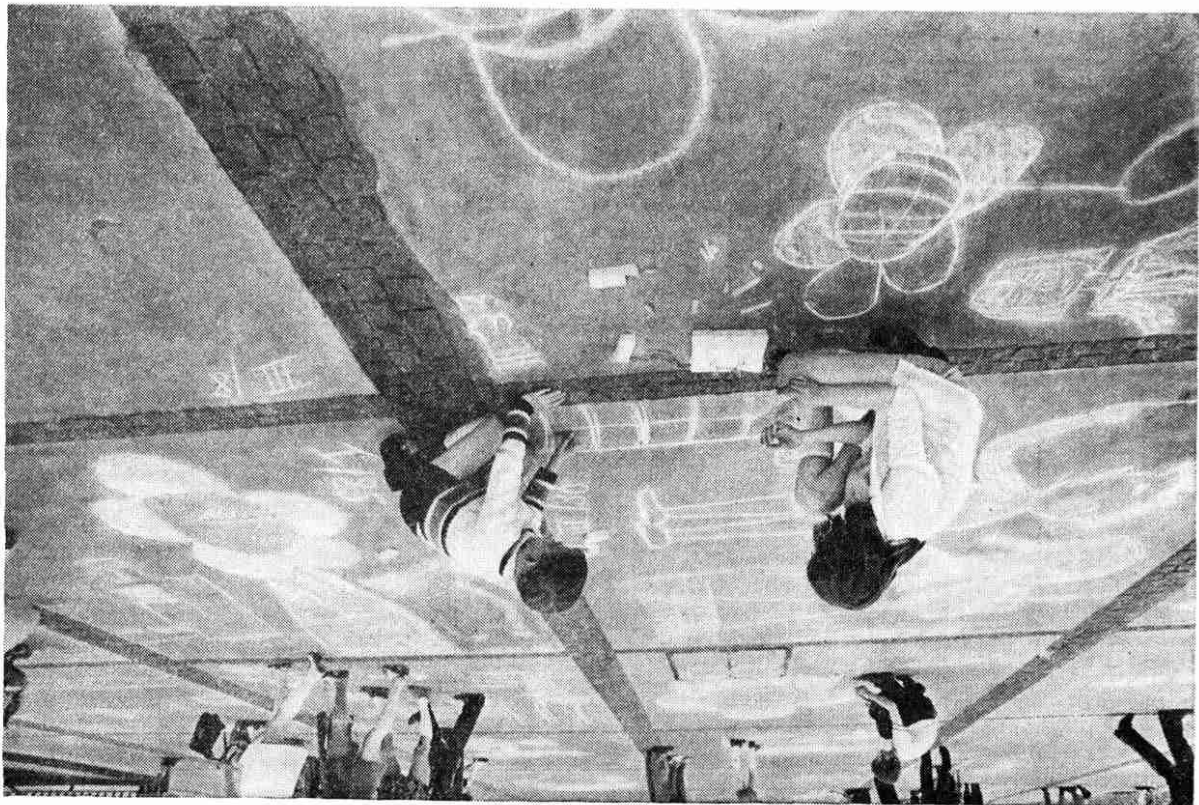
В трудные годы «Холодной войны» фестивали представляли искusstvenные барьеры, которые реакционные силы пытались воздвигнуть между молодежью социалистических и капиталистических стран. Эту задачу не прошедших фестивалей и в том, что они позволили молодежи познать богатства стран мира. Ознакомилась с действительностью в социалистических странах, в широчайших возможностях для восстановления развития личности, которые представляли молодым гражданам нового мира. Многие жизненные проблемы были сняты с повестки дня истории борьбой сотен миллионов людей доброй воли, и демократическая молодежь может гордиться, что всегда была в авангарде этой борьбы. Десятки фестивалей в свое время собирали подлинно Общепатриотический пакт мира, устраивали марши протеста против милитаризма, манифестации в поддержку освободительной борьбы народов Азии и Африки, акции солидарности с политическими борцами, томшились в творческих застенках, требовали

остановить американскую агрессию в Корее и Индокитае, запретить испытание ядерного, химического и бактериологического оружия; защищали политические и экономические права молодых трудящихся... Подготовка и проведение Всемирных фестивалей всегда были эффективным средством сплочения демократического юношества в борьбе против империализма, за свои коренные права. Самые широкие слои молодежи различных политических, философских и религиозных взглядов упились на фестивалях вместе борясь за мир, дружбу и прогресс человечества. В процессе развития фестивального движения постоянно повышался авторитет коммунистических и прогрессивных организаций — Всемирной федерации демократических союзов молодежи и студенческих организаций — Всемирной федерации молодежи и Международного союза студентов.

Оглядываясь на все девять фестивалей, мы вместе с другими прогрессивными силами добьются еще большего упрочения мира на земле.
«ЮНОСТЬ». Геннадий Янаевич, очевидно, впервые вы столкнулись с фестивалем в 1957 году, когда он проходил у нас в стране. Чем вы тогда занимались?
Г. И. ЯНАЕВ. Я учаю в то время в городе Горьком и был студентом сельскохозяйственного института, готовился стать инженером-механиком (я им и стал потом — три года работал в «Сельхозтехнике»). В 1957 году летом мы организовали студенческий отряд механизаторов и поехали в Кустанайскую область помогать колхозникам. Я возглавлял отряд, поэтому был секретарем комсомольской организации в институте. Наш отряд проводил воскресники в фонд VI Всемирного фестиваля. А потом я вместе с группой комсомольцев Горького был в Москве на фестивале в качестве туриста.

«ЮНОСТЬ». С тех пор утратило много вод... Вот уже второй фестиваль вы являетесь одним из руководителей советской делегации. Как изменился ваш личный взгляд на фестивали со времени, когда вы участвовали в нем в качестве туриста?
Г. И. ЯНАЕВ. Помню, тогда, в пятьдесят седьмом, меня поразила эрзашная сторона праздника, его красота. Манифестации, культурная программа, междуотрядные спортивные соревнования... Теперь же я глубоко понял, что, кроме всего этого, и может быть, прежде всего, фестиваль — это политический диалог молодежи различной политической и идеологической ориентации. Это обмен мнениями по насущным вопросам мира, прогресса, демократии, это борьба за торжество наших коммунистических принципов. Это большая работа по сплочению, укреплению солидарности всей прогрессивной молодежи мира. Фестиваль стал восприниматься мной через призму советской политической работы. На нас, представителей советской молодежи, ложится большая ответственность по продвижению фестивалей. Мы полной мерой ощутили сложность подготовительной работы и организационные нагрузки во время самого фестиваля. Но я не уступаю случая, если, конечно, позволяют обстоятельства, превратиться в зрителя и посмотреть концерты фестивальных национальных делегаций или посидеть на стадионе... Сразу вспоминаю свои студенческие годы, когда видел все это впервые.

фестивала в Берлине (1957 г.), мы обратили внимание, что многие нынешние политические деятели — дух Хонеккера. Эрик Берлингер — был тогда руководителем молодежных организаций.



Берлин готовится к фестивалю. На берлинских мостовых уже появляются фестивальные ромашки.

Фото С. ПЕТРУХИНА.

В Антиимпериалистическом центре фестиваля будут проходить постоянный молодежный трибунал «Мы обнимаем империализм».

Мы будем выступать с докладами на фестивале новой конференции «За мир, безопасность и сотрудничество в Европе». Эта конференция должна сыграть большую роль в подготовке Конгресса мирнолюбивых сил, который соберется в Москве этой осенью. В дни фестиваля состоится много мероприятий, посвященных проблеме трудящейся молодежи. Отдельно будут встречаться молодые рабочие со своими товарищами по профессии. Недавно у нас в стране прошли всевозможные конкурсы на лучшее молоко, рабочее в своей профессии. Победители этих соревнований будут в Берлин.

Каждый день на фестивале наши ребята будут принимать посланцев разных стран в советском клубе. Там откроется выставка «Советская молодежь», книжная лавка, в которой гости смогут выбрать себе книгу по вкусу, в шахматно-шашечном клубе молодые советские просмештеры дадут сеансы одной временной игры, в кафе «Капитанка» гости смогут познакомиться с хозяевами и девушками разных стран с нашим советским образом жизни. Они на ней фестивалю будет Днем ЛПР. Молодежь мира выразит свое уважение молодежи Германской Демократической Республики — первого немского социалистического государства.

Представители советской творческой молодежи будут участвовать в многочисленных конкурсах фестивалей.

Важно, в международной выставке «Интерграфика», в которой участвуют представители разных стран, в том числе и из нашей страны. Мы возьмем экспозицию детского рисунка. Кстати, фестиваль имеет свою детскую программу. Тут и праздник «Лететь всегда будет солнце» и международный пионерлагерь «Пионерская республика имени Вильгельма Пика». Сейчас ребята со всего Союза шлют нам, в Подготовительный комитет, разные подарки и сувениры, которые на фестивале будут продаваться на Базаре солидарности, а вся выручка пойдет в фонд помощи вьетнамским детям.

Интересна и разнообразна спортивная программа фестиваля — кстати, в советской делегации будут такие прославленные спортсмены, как Людмила Турничева, Валерий Борзов, Ирина Роднина, Людмила Пахомова, будут представлять рабочие и сельских спортивных коллективов, лучшие знамениты нового комплекса ГТО.

Обо всем, что будет на фестивале, трудно рассказать в коротком интервью. Скоро вы сами все это сможете увидеть на телеэкранах, услышать об этом по радио, прочитать в газетах... Ждать осталось недолго!



АЛЕКСЕЙ
ФРОЛОВ

ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ ОБЬ

Прошлым летом мы ходили лодкой в верховья Югана на рыбалку к знакомым хантам. Пока лодка кружила тихими протоками и до большой реки было часа два ходу, все было как надо, и не мешал ни крепкий ветерок, ни дождик. Вышли на Обь — забот прибавилось. На Оби штормило. Как ни старались поставить лодку носом к волне, нас укладывало на борт. На гребне истошно завывал на холостых оборотах движок. Терялся ход, и я не успевал вычерпывать воду.

Решили переждать, пока уляжется непогода. Совсем недалеко, на берегу Юганской протоки, был поселок мостовиков: белели домишки на песчаном откосе; видно было тепловоз, гоняющий порожняк; над самой водой, как вышка для прыжков, громоздился копер. Вот туда нам и причалить. Там берег пологий... Обороты на полный, и уже хорошо различима группа строителей у буксующего самосвала и цветные занавески на окнах домов. На причальной стенке вижу еще двух людей. Они машут руками, кричат что-то — за движком разве услышишь... Кричат явно нам — на взбудораженном зеркале реки единственная наша лодочка. Чего кричат?..

Мой товарищ поопытней. Круто берет руля. Лодка закладывает вираж. А потом резкий толчок, и все на нашем суденышке летит вверх тормашками. Глохнет двигатель. Тишина. Только слабый всплеск волн и голоса тех двух: «С ума сошли... Жить надоело?.. Там же русловая опора...»

Вытаскиваем лодку на сухое. И они подходят. С одним я хорошо знаком: Валентин Федорович Соколин, начальник пятнадцатого мостоотряда. Второй постарше, поосанней, поплотней. С ним я свел знакомство позже — Оник Степанович Мутафьян, автор проекта гигантского мостового перехода через Обь. Мутафьян совсем не сердито говорит нам: «Теперь не позабудете наш мост, не позабудете...»

Удивительно, как иногда непросто входят в наше сознание вещи вполне очевидные. Конечно же, я слышал не раз про обские мосты. И в блокноте было немало интересных цифр — сооружение предполагалось действительно уникальное. «Мост будет», — механически твердил я про себя. Но, видно, надо побывать там, под Сургутом, в Среднем Приобье, прой-

ти, проехать, проплыть не один десяток километров, чтобы понять, отчего иногда возникают сомнения в реальности грандиозного, обчисленного, сотни раз выверенного человеческого замысла. Дикие берега. Топи. Волшебная нетронутость окружающего: завалы бурелома, тайга по пояс в воде. Разливы рек до горизонта. Все это угнетает воображение. Эк замаянудились люди! А возможно ли? Мост, он непременно должен опираться на твердь...

Люди нашли твердь на дне реки, вывели кое-где опоры, и в прочности — а значит, и в реальности — одной из них я сам чуть было не убедился...

С Оником Степановичем Мутафьяном встретился в Москве.

— Идет, идет дорога, — сказал мне Мутафьян, — и вдруг преграда, которую не обойти. Что делать? Надо прыгать. Мост — это прыжок. Согласны? Посмотрите на любой арочный мост — точно, прыжок. И этот прыжок нужно рассчитать. Чтоб был верным, прочным. Чтобы без лишнего усилия, поэкономнее... А ведь там, на Оби, и оттолкнуться-то не от чего. И река сама по себе крутая...

Сегодня на трассе Тюмень — Сургут обский мостовой переход — главная забота. В кабинетах, в общежитиях, в столовой все время слышишь: «Мост, мост...» Совсем скоро, в ноябре — декабре, рабочие поезда будут ходить от Тюмени до берега Юганской протоки. Сургут — рукой подать. Река — помеха.

— Она по площади бассейна третье место в мире занимает после Амазонки и Конго, — говорит Мутафьян. — По скверности характера — наверняка первое. Все реки как реки: весной вышли из берегов, через неделю опять в русле. Обь три с лишним месяца держит большую воду. Остается мостовикам в золотые летние денечки готовить сани на зиму: завозить по реке технику, материалы. Основные работы — по холодам, когда река встанет...

Я рассказываю Мутафьяну — наблюдал как-то на трассе зимой: стальные конструкции при пятидесятиградусном морозе лопались, как стеклянные. И бетон замерзал на глазах. Да и сварка по такому холоду не получалась у самых классных мастеров.

— Вот-вот, — сказал Мутафьян. — Лето у мостовика, считайте, пропадает (это пока опоры из воды не вывели; фермы монтировать можно и летом). Зимой люди бегают каждые полчаса погреться — иначе не выдержать. Значит, думай, соображай, проектируй, как обойти климатические неудобства, справиться с коварством реки. А ведь это еще не все. Тюменские грунты — дополнительная загвоздка. Вы были там, знаете. Во время паводка деревья в тайге ложатся набок — подмывает вода корневище, не держит грунт. Ну, а если опора набок ляжет?.. Или такое, к примеру, обстоятельство. Был у меня мост через Дон, у самого Ростова. Утром сажусь на троллейбус — и на объект. Сюда, на Обь, каждую гаечку нужно везти с Большой земли. А нам нужна не гаечка — сотни тысяч тонн специального (в северном исполнении) металла и цемента особых марок. Завозим все это по реке, а навигация в Сибири короткая... Видите, сколько всего.

Тут надо бы сказать, почему не обходится разговор про обский мостовой переход без эпитетов «уникальный», «гигантский». Уже известно: условия для стройки там необычные. Теперь о физических объемах. Длина мостового перехода — тридцать два километра. Шутка ли?.. Обь под Сургутом раздается на два рукава — Большую реку и Юганскую протоку. Между ними остров. Все это мостовикам надо

пройти — и воду и хляби острова. Через протоку мостик средний, с километр. Большая Обь — двухкилометровая...

— Иногда думаю, — говорит Мутафьян, — до чего же все внешне просто. Как у велосипеда обязательно должны быть колеса и рама, так и мост — опоры да фермы. А типового проекта, чтобы для Ростова и Сургута одинаково, все равно быть не может. Обязательно индивидуальный. Природа во всем нас ограничивает. Строительный сезон — считанные дни. И не поизлишествуешь: каждый килограмм металла сверх нормы — это сотни рублей на ветер... Потому в основе обского проекта — скоростной метод стройки и предельная простота, экономичность сооружения...

Не арочными будут мосты на Оби, хотя, по-моему, именно арочные внесли бы некоторое разнообразие в унылость заболоченного, ровного, как стол, тюменского края. Впрочем, есть мнение и противоположное. Знаю людей, которые считают, что в местный ландшафт прекрасно вписываются мосты, непохожие на «прыжок», плоские, в балочном исполнении.

Вкусовые пристрастия имеют, однако, четкое стоимостное выражение. Все не случайно решетки ферм большого обского моста складываются из равных треугольников. Конструкции до предела облегчены, унифицированы. Заводу-изготовителю не надо тратить время на перестройку технологии — гони одни и те же детали. Отсюда — выигрыш в скорости.

В моем блокноте есть еще одна любопытная запись. Обский мост — это более десятка пролетов. Если бы проектировщики захотели сократить их число, удлинив каждый на двадцать метров, перерасход металла составил бы, мы подсчитали, внушительную цифру — 3,5 тысячи тонн. Килограмм конструкции — изготовление, перевозка — обходится минимум в один рубль. Три с половиной миллиона рублей ушло бы враспыл! Ясно, почему на Оби выбран упрощенный балочный вариант — без излишеств...

Ну и, конечно, грунты. Покуда обуздали капризные обские грунты, пришлось немало повозиться. А если бы на них навалить еще тысячи дорогостоящих тонн единственно ради вкусовых пристрастий?

— На Юганской протоке нам еще повезло, — рассказывал Мутафьян. — Там дно песчаное. А вот на Большой реке дело обстоит похуже. Прощупали обское дно: глина — вещь ненадежная. Надо ставить под фундамент опор буровые сваи. Дело это новое, перспективное. И опыт с буровыми сваями у нас кое-какой уже был — еще с иртышского моста, под Тобольском. Решили: буровые... Не раз приходилось испытывать, как велика бывает разница между решением и исполнением. Все, казалось бы, вымерено, рассчитано, а коснись реального — поправок не избежать. Буровые сваи, — продолжает Мутафьян, — хитрая штука. В дне реки выбираются шурфы глубиной сорок метров. В отверстие загоняют металлическую трубу, и уже потом полость трубы бетонируется. Под каждую мостовую опору таких свай нужно от семнадцати до двадцати пяти. На Иртыше мы с одной свайе справлялись за три дня. Правда, там они были вдвое короче... Здесь же, на Оби, с



Обсуждаются детали проекта. Второй слева — О. С. Мутафьян.

Фото А. КАРЗАНОВА.

первых дней — сплошные неудачи. Не лезет труба — хоть тресни... Есть в двадцать девятом мостоотряде (этот отряд строит большой мост) великолепный мастер, молодой парень Юрий Гончаров. Из Калининграда в Сургут примчался, когда узнал, что будем работать с буровыми сваями. Так вот, Юра ни днем, ни ночью не уходил с объекта. Когда спал человек, не знаю. По-всякому пробовал он наладить дело. Менял диаметр труб, придумывал всякие там хитрые приспособления. И все равно меньше чем за четыре суток сваю не делали. Анатолий Викторович Моисеев, начальник мостоотряда, — мы с ним старые друзья еще с Иртыша — говорит мне: «Дружба дружбой, а если не будете укладываться в трое суток, отказываюсь от буровых свай. Ты мне мост по срокам завалишь...»

Усомнился, думаете, в методе? Да нет, верили мы все в буровые сваи. Только никто не мог предположить, что эти чертовы трубы будут капризничать... Выход нашли. Помогли соседи, нефтяники. Кто-то вспомнил, что нефтяники бурят до двух километров. Пошли к ним — поделитесь опытом. Снабдили они нас приборами для измерения кривизны проходки. И Юра Гончаров за два дня ставит сваю.

У мостовиков свои приметы успеха, свои праздники. Первый — это когда «выходят» из грунта, заканчивают фундамент под опоры. Потом — выход опор из воды. И хотя самый опытный глаз — с вертолета ли, с борта ли катера — не увидит особых перемен на реке, мостовик знает: раз опоры вышли, мост есть. Осталось положить фермы — и, пожалуйста, прыгайте через Обь...

Пока к прыжку только готовятся.

Оник Степанович Мутафьян сказал мне:

— А не взялся бы я за проект только в одном случае: если бы не знал, кто будет строить мост и что это за люди. Здесь, гарантирую, проект обойдется без поправок.



АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ

ВОКРУГ РОБЕРТА



РАССКАЗЫ
О
ПРОФЕССИЯХ

Когда речь заходит об изобретателях, мне видится седой чудаковатый старик, окруженный множеством приборов, смысл которых непонятен. Восприятие движется по схеме: «Если изобретатель, то уже не молодой; если молодой, то еще не изобретатель». Недавно эта моя схема была нарушена. Я познакомился с молодым человеком, на счету которого уже около трехсот изобретений. Это больше, наверное, чем у любого изобретателя в Союзе. Правда, у Эдисона их была тысяча. Но у Роберта еще есть время догнать великого американца.

Я собираюсь рассказать вам о Роберте Федосееве не для того, чтобы удивить читателя его успехами. Не буду рассуждать о технической сути сделанных им открытий. Цель моя другая: проследить путь изобретателя, посмотреть, что может взять мой современник у человека самой современной на свете профессии.

Раньше других у него проявилось упрямство. Да, Роберт был упрям и постоянно расплачивался снытками. Например, он был уверен, что может решать задачи без подготовки. А это было совсем непросто. Поэтому, когда он выходил к доске с невыполненным домашним заданием и принимался соображать по ходу дела, наградой были железные тройки и репутация тугодума. Но Роберт держался на своем. Снова и снова он выходил к доске с чистой тетрадкой. Его ругали, но Роберт к попрекам относился безразлично, рискуя заработать славу человека бесчувственного.

— Я очень удивлялся, когда в чем-то терпел неудачу. Считаю, что смогу все: скакать на лошади, сочинять стихи, заниматься музыкой. Когда в школе организовали хоровой кружок, я тут же пошел записываться. До сих пор помню песню, которую я пел. Начиналась она со слов: «То березка, то рябина...». А допеть не дали. Оказалось, что нет у меня ни слуха, ни голоса. Я чувствовал себя так, будто у меня украли ценную вещь. Вдруг открылось, что для каждого дела, кроме воли, нужны еще и способности. Они у всех разные. А у меня какие? Совершенно неясно. Помню, я в ту пору увлеченно играл в шахматы. Переживал каждый проигрыш, как неразделенную любовь. Но чаще выигрывал...

Роберт рассказывает, а я покамест в сомнениях — нужно ли начинать так издалека? Видны ли в этом мальчишке черты будущего изобретателя? Или они появятся позднее? Обычный пацан. Самоуверен — и поэтому смешон. Впрочем, настораживает одно: все свои умения и навыки он воспринимает как должное, все недостатки для него — это провал, катастрофа, жирный минус. Твердое убеждение: минусов быть не должно, они случайны и несправедливы. Быть может, в этом юношеском преувеличении своих возможностей таится залог его будущего?

— Чего мне тогда не хватало? Сомнений. Уж очень я был в себе уверен, поэтому двигался не спеша. Впрочем, все скоро переменялось.

Роберту было пятнадцать. Наступило восхитительное время колебаний и споров с самим собой. Слушай разговор с умной девочкой подтвердил давнишнее подозрение: книг прочитано мало, взгляд на вещи наивен, мнения заимствованы. Роберт засел за «Анти-Дюринга». Каждая страница оборачивалась крушением прежних истин, чередой загадок, резкими вздохами постижения. Он читал и о прочитанном думал за обедом, в метро, на концерте и на свидании. Осунулся, перестал отвечать на вопросы, в глазах появилась какая-то отрешенность, что совсем не шло к его коренастой, уверенной фигуре. Мир сдвинулся.

Роберту повезло: он страдал и мучился той счастливой тоской по знаниям, которая никогда не тревожит людей сытых и глупых.

Но учебник математики по-прежнему оставался набором нелепых ситуаций, а черчение преследовало кошмаром бессмысленных параллелепипедов. Впрочем, забегая вперед, отметим, что и математика и черчение очень скоро ему пригодятся. Заминка в небольшом: не хватало реального дела.

Одноклассники кружились с одержимостью в вальсе, оркестр гремел без устали, от друзей пахло незаконным вином. Даже скептически настроенного Роберта посетила мысль: один раз живем, так-то. Школа кончалась. Начиналось нечто другое, новое, но что именно, он еще не знал. Планов на жизнь не было. Я не очень верю в фатальную силу призвания, и вполне возможно, его изобретательская деятельность была бы отсрочена на неопределенное время. Если бы не отец. Как всякий отец, он досадовал на сына за его упрямство и витание в облаках. Как всякий отец, он мечтал вывести его в люди. В скором времени у них состоялся такой разговор:

— Ну как, надумал, что делать дальше?

— Нет еще.

— Это всегдашний ответ. Интересно, когда ты кончишь ерундой заниматься? Когда у тебя вся эта философия пройдет? За дело братья пора.

— Я подумаю. Можно идти?

— Сиди. Слушай. Во вторник зайдешь в отдел кадров. Удалось устроить тебя на наш завод механиком. Это сделано из большого ко мне уважения — потому что старейший работник, с токарей начал. А твоей заслуги тут нет. Ты это помни и старайся наверстать.

— Ладно.

— «Ладно!» Ты хоть знаешь, что такое механик?

Конечно, Роберт этого не знал. В непросвещенном его сознании все рабочие профессии стояли в одном ряду. Грузчик, яслярик, механик — кто там еще?

С тем и пришел на завод.

Против ожидания отца и к тайной его гордости, дела у Роберта с самого начала пошли неплохо. Оказывается, у него была техническая жилка. Оказывается, он легко схватывал сложные сочленения узлов и деталей. Оказывается, у него есть сноровка к рабочему инструменту. (Вот уж чего не знал!) И все же этих талантов недостаточно, чтоб стать опытным механиком. Попасть на должность механика прямо со школьной скамьи было великой удачей. Все равно, как если после окончания института международных отношений сделали тебя послом...

Механик — на заводе генерал. Никто не докучает тебе «указаниями», опекой. Критерий твоей добросовестности — исправная работа большого и трудного механизма. Этот механизм — главное твое начальство, оно постоянно меняется, делается все сложнее и запутанней, ставя перед тобой сотни головоломок. Механик по необходимости обязан становиться год от года умнее и опытней. Роберт не очень удивился, увидев вузовский учебник у своего наставника, имевшего регулярного образования шесть классов.

Итак, все ясно: буду механиком. Но как только дела наладились, ясность вдруг пропала. Роберт стал разбираться в сути окружающих его механизмов. От приводов и шестерен он «взошел» к схеме, принципу работы.

Вот, пожалуй, с тех пор Роберт стал ловить себя на раздорах с профессией. К примеру, на завод привозили новый токарный станок. Товарищей он интересовал с ног до головы — каков режим работы, технические характеристики и прочее. Роберту было

важно одно — чем он принципиально отличается от старого. Это против природы механика: брезговать частностями, отмахиваться от деталей. Как ни внушал это себе Роберт, внимание обращалось прежде всего к схеме, принципу, основной идее. Остальное казалось скучным.

Собственно, он кто такой — механик или не механик? Опять пошли сомнения. В них он никого не посвящал. Смеяться ведь будут: Гамлет с гаечным ключом...

Однажды Роберт изобрел. Ему открылась новая конструкция регулятора — основной продукции завода. Ошибки в изобретении не было — теперь, с высоты трехсот авторских свидетельств, Роберт видит это весьма отчетливо. Тогда — нет. Тогда в его активе был полуграмотный чертеж и пресловутое упрямство. Для того, чтобы убедить в правоте самого себя, этого достаточно. Но маловато для других.

Выяснилось, что главный конструктор завода тоже пытался усовершенствовать регулятор. Когда Роберт явился к нему со своими архимедовыми каракулями, тот показал ему аккуратнейшие чертежи. Трезво в них разобравшись, Роберт решил, что каракули лучше. Но доказать не смог. Точные науки мстят за бывшее небрежение. Только сейчас Роберт понял, что та же математика, кроме основного своего назначения, может выступать как моральная категория, как средство утверждения истины. Педантичная строгость закона, нормы, инструкции представились ему нитью, связывающей тех людей, которые еще не стали его товарищами, не научились покуда понимать друг друга. Но поймут непременно. Надо только любить математику.

А неосуществленный регулятор, весь оставшийся в замусоленной схеме, продолжал давать уроки. Будто Роберт произнес во сне слово «сезам», а теперь его все будят и спрашивают, что, собственно, надобно. Этот вопрос Роберту задали в завкоме.

— Ну вот ты изобрел, — сказал председатель таким голосом, будто Роберт тотчас начнет отпираться. — И сразу, небось, внедрять нацелился. Верно? А теперь смотри, какое нынче число: двадцатое сентября. Через два месяца за годовой план отчитываться. Вообразим на минуту, что поставили мы твой регулятор на конвейер. Притирка, доводка, исправления — за сколько, думаешь, управимся? За полгода? Можно, конечно, если весь завод посадить на твой регулятор. Только это, брат, нереально. И вовсе не потому, что лишимся тринадцатой зарплаты или первого места по отрасли. Дело в другом. Завод тысячу нитей связан с общественным производством. Успех общего дела зависит и от наших успехов. А мы выпуск продукции прекратим, увлеченные идеей нового регулятора... Изобретения надобно внедрять. Факт. Но не очертя голову. Учитывая состояние нынешнего производства. Уровень технических возможностей. И еще сотни и сотни факторов... Ступай, подумай обо всем хорошенько. Отцу, конечно, привет.

Роберт ходил с очень темной головой. Идея нового регулятора потеряла былую четкость и простоту. Обнаружилось множество слагаемых, не имевших прямого отношения к техническому творчеству. И среди них наиглавнейшее — проблема общественного мнения. Изобретения не бесспорны. Их внедрение требует риска, затрат, дополнительных усилий. Очень часто ожидание экономического эффекта от изобретения может оказаться «длиннее» плана, вознаграждения. Изобретатель очень полезен обществу, но крайне неудобен для отдельных людей. Идейки и идеи, которые постоянно вспыхивают в его бедовой голове, способны обесценить многолетние усилия, а взамен принести беспоконство и суматоху. Поэтому совсем непросто склонить в свою пользу общественное

мнение. А без этого никак. Для людей ведь дело делается...

— Представляю, как сердились извозчики на первый автомобиль. Доводы, которые приводились в пользу лошадок, были, надо полагать, весьма хитроумны. Послушайся их — мы бы по сей день натягивали вожжи... Чем больше открытие, тем трудней оно осуществимо, тем больше времени уходит на доказательство своей правоты. Тут куда не денешься. И еще надо зарубить на носу: любое открытие — ко времени. Его влияние, как круги по воде, — в бесконечность... Я считаю, что между отраслями техники связь не только научная, но и философская. Они как бы подталкивают друг друга. Запуск космического корабля был бы отложен на много лет, если бы не было комбайна, телевизора, прививки от оспы... Одним экономическим эффектом не измеришь глубины открытия. Можно ли исчислить в денежных единицах эффект от изобретения колеса? Тогда ведь, надо полагать, и денег не было...

Роберт занимался не только изобретательством. Вы, наверное, уже позабыли, как его не приняли в хорошей кружок. Роберт помнил. Все это время ему хотелось доказать (кому? не важно кому), что совершенно зря не дали ему допеть про березку и рябину. Он принялся ходить на концерты. Выучил нотную грамоту. Наконец, он стал сочинять музыку.

Эйнштейн обожал скрипку. Граф Лев Николаевич шел за плугом. И это было не чудачеством гения, а одним из его признаков. У талантливого человека всякая мелочь идет в работу, всякая деталь необходима. Сказку про Ньютона можно прочитать двояко: то ли подивиться случайности великих открытий, то ли развести руками перед тем, как безжалостно человеческий интеллект обращает себе на службу всякую мелочь, пустяк, безделицу. Чем измерить познавательный натиск Архимеда, если открытия преследовали его даже в ванне? Нет, открытия не существуют в чистом виде, без множества мелочей, которые являются симптомом открытости души, чуткого прислушивания к миру.

Наступило время, когда у Роберта все пошло в строку — опыт механика, бдения над «Анти-Дюрингом», музыкальные экзерциции. Ему стало изобретаться. В дательном падеже.

На столе у композиторствующего механика стоял метроном. Роберт смотрел на него и размышлял над чисто технической проблемой: как создать интегратор температуры. Качнул стрелку прибора. Метроном послушно защелкал. А что, если вместо стрелки приделать градусник? С изменением температуры будет меняться частота колебаний. За эту фантазию Роберт получает свое первое авторское свидетельство. До него ни один человек в мире не размышлял над проблемой интегратора, уставившись на метроном. Не смейте ругать учительницу пения — она правильно сделала, что выставила Роберта из кружка. Неизвестно, получился бы из него певец или нет, а прибор — вот он!

Хрустальное деревце успеха тихо звенело серебряными колокольчиками. Неприятный разговор с отцом.

— С завода решил уходить? Ладно. Тут приказать не могу. Ну, а цель у тебя дальше какая?

— Попробую стать изобретателем.

— Без вуза?

— Пока да.

— Провалишься, будь уверен.

Мы очень часто ворчим на отцов. Их мрачные предсказания колеблют наши планы. На самом деле

они самые горячие болельщики всех наших дерзких начинаний. Полностью мы поймем это, когда сами дорастем до родительских лет.

Образование и призвание — кто из них курица, кто яйцо? Что должно следовать раньше — учеба или работа по специальности? Трудно найти общий рецепт. Роберту хотелось сперва попробовать изобретательство на зуб, посмотреть, что из этого получится. Помня казус с точными науками, он не дождался обязательных семинаров и лекций. Читал, читал, читал...

Он устраивается в НИИтеплоприбор на должность механика, имея целью как можно скорей оставить это занятие и начать изобретать. Если бы в отделе кадров знали об этих планах, его бы выставили вон. Если бы ему дали решить конструкторскую задачу, то вполне вероятно, что какой-нибудь маститый ученый взял бы его в ученики. А пока:

— Хреновый механик.

— Ага. Ни черта не умеет. Правда, схему какую-то накорябал. Посмотришь?

— Знаяется еще.

— Наплевать. Все равно надо чем-то занять этого бездельника. Пускай изобретает...

Сердитый разговор двух интеллигентных мужчин. Но Роберту были важны не эмоции, а суть. Теперь каждый день он тащил в институт новую схему. Поначалу это никого не пугало. Думали, что чушь всякая, игра молодого ума. Разлетится в дым при трезвом анализе. Вышло по-другому. Сквозь полуграмотное исполнение виднелись полновесные технические идеи. С идеями нужно возиться — испытывать, обсуживать, тратить время. Роберт отрывал от работы занятых людей. Они злились.

— Несет и несет. Тут не знаешь, как плановую тему спихнуть, а он ноль внимания.

— Чертить совсем не умеет. Пока разберешься в его каракулях, день пройдет.

— Он кто, механик? Вот и пускай...

— Жалко. Изобретает ведь.

— Жалко.

— Жалко.

Бывают разбойные мысли. Ты о них не думаешь, а они сами берутся невесть откуда и устраивают между собой перебранку. Только следить успевай.

— Ругают — наплюй. Раз идет дело — гни свое. А коллеги поскрипят и перестанут.

— Ерунда. Сам не можешь дотянуть, вот и лезешь к каждому за советом. Тоже мне, самородок.

— Важна идея.

— Важна, важна. Ты даже ее подать толком не можешь. Говорить горазд.

— А может, прав был отец? Сначала в институт податься?

— Влез в это дело, теперь не пищи. Сам учись.

— А время где взять?

— В личной жизни. Гы-гы!

— Вот и будешь технарь технарем.

— Претензий, претензий... Быть бы живу.

...— Гражданин, выходите?

Роберт встрепенулся, извинился, качнул головой. Такие внутренние диалоги посещали его все чаще. Он не был человеком железных решений. Поэтому колебался. Он не был размазней. Поэтому не метался, а разыгрывал плановую борьбу сил, которая, конечно, мотала нервы. Внешне это был уверенный в себе парень, светловолосый и крутолобый, с хитрым взглядом.

Юрий Алексеевич Коньков — друг, наставник. Научно-исследовательский институт, томясь по поводу Роберта обилием смешанных чувств, родил из своей среды этого человека, чтобы он научил неграмотного самородка уму-разуму. Коньков был уже известный

изобретатель — с именем, с заслугами. Вообще-то Роберт как раз этого и побаивался. Он пугался, когда во время научного спора собеседник вдруг начинал выкладывать вещи посторонние: чин, звание, степень... Все равно как если во время шахматной партии противник достанет колоду карт, объявит козыри и начнет крыть ими твои фигуры.

Не зря побаивался. Вот какая история вышла с Робертом задолго до встречи с Коньковым...

Во взгляде того человека было все — сталь, ласка, холодное наслаждение бытием. Чудесный серый костюм и галстук с павлиньей поволокой намекали, что жизнь их владельца течет по ровному и выверенному руслу. Совсем недавно он даже изобрел — создал новую модель триггера. (Это одно из устройств релейной автоматики.) Роберт сделал схожее изобретение. Правда, в его триггере было два реле, а не четыре. Выходит, дешевле почти в два раза. Владелец серого костюма решил встретиться с Робертом и выяснить, как быть. К этой встрече Роберт готовился усердно — штудировал литературу, рассчитывал экономический эффект. Но речь пошла о другом.

— Федосеев? Спасибо, что зашли. Сели уже? Это славно, люблю, когда без церемоний. Ну, с чего бы начать... Курите?

— Свои.

— Ага. Ну, давайте к делу. Знаете, удивили вы меня. Давно я разрабатываю это устройство — оно, кстати, и в научном плане за мной числится. И вдруг перед завершением работы на сцене появляетесь вы. Интересно, на что вы рассчитываете? Может, хотите соавторства?

— Не хочу.

— А я и не предлагаю. Вы какой институт кончали?

— Я учусь на заочном.

— Ну вот. А желаете соперничать с кандидатом наук. Нелепо. Если вы человек разумный, то должны меня понять.

— Я думал, мы будем говорить о триггере.

— Да нет, здесь все ясно. Не будет он у вас работать. Погнались за экономией, ну и ошибку, конечно, наделали. С другой стороны, как вам было их избежать. Ничего, не расстраивайтесь. Молодой еще, жизнь впереди.

— Послушайте! Вы вот так — нарочно? Мы же всё не о том... О триггере давайте! Реле стоит семь рублей. Две тысячи реле — четырнадцать тысяч экономии. Ради этого каждую деталь в моей схеме нужно было разглядывать. Если хоть один шанс — все равно... Ну, а триггер будет работать.

— Да полно вам.

— Будет, увидите.

Три дня потратил — делал пробный образец. И верно, работал триггер.

Но вот другая история.

Роберт принес своему руководителю Юрию Алексеевичу Конькову схему блока памяти. Она была с погрешностями. А у руководителя имелась другая схема, много лучше. Обменялись мнениями. Заварили кофе, пошла в распыл пачка сигарет. Незаметным образом из разговора и неряшливых рисунков родилась третья схема — общая.

— Первый этап нашего общения, — вспоминает Роберт, — прошел под знаком «оказывается». Оказывается, есть изобретения, которые нельзя внедрить сразу: нет подходящих материалов, не разработана технология. Ты делаешь их как бы впрок, в расчете на достижения смежных областей техники. Оказывается, если знать тенденции развития некоторых отраслей, от ряда изобретений можно вообще отказаться: они устареют к моменту выдачи «авторского», но все

техническое направление просто тебя обгонит. Окажется, с патентным бюро нельзя разговаривать по принципу «да — нет». Общение с патентоведами — это не обмен колкостями, не затаивание обид, а диалог, дискуссия. Помню, как трудно рождалось авторское свидетельство на один из моих приборов. Они мне пишут: «Ваше устройство нерентабельно. Считаем нужным отказать». Посылаю в ответ подробнейшее обоснование рентабельности. Приходит второе письмо: «Пришлите пробный образец». Посылаю. Получаю третье письмо: «Нет экспериментальных данных». Посылаю данные. Но это не конец. Почтальон приносит четвертое письмо, в котором признается рентабельность и работоспособность прибора, но выражается сомнение в его новизне. Доказываю новизну. В пятом письме лежит авторское свидетельство. Возможно, работники патентного бюро были излишне осторожны. А может быть, сработал парадокс, преследующий каждого изобретателя: для того, чтобы стала понятна новизна твоей идеи, должно пройти какое-то время...

Дни и месяцы шли, Роберт учился и умел. Чем больше умел, тем больше учился. Ворох авторских свидетельств на столе: с Коньковым, без Конькова, с Коньковым, без Конькова. Последнее время чаще — «без». Одно время Роберт допытывался, почему Коньков так часто предлагает ему соавторство там, где идея бесспорно принадлежала самому Конькову. Тот отвечал загадочно: «А вот увидишь». Теперь, когда учеба превратилась в сотрудничество, Роберт понял: для его учителя это постоянно действующий принцип. Коньков был заинтересован в том, чтобы воспитать как можно больше изобретателей. Растущее число соратников давало возможность участвовать в разработке все более и более широких пластов технической мысли. Здесь кончалось благородное честолюбие ученого и начинался патриотизм человека, заинтересованного в техническом приоритете своей страны...

— Я раньше думал так: изобретатели изобретают в одиночку, а из суммы открытий слагается приоритет. Но на деле выходит по-другому. Изобретатель-одиночка нерентабелен. Чем выше его развитие, тем большее место в его работе должен занимать «общественный сектор». Он обучает своих молодых товарищей, координирует их усилия, подкашивает направление поиска. Поверьте опыту, это не скучная обязанность, а увлекательнейший процесс, полный азарта и драматизма. Сколько раз бывало: видишь общий контур решения проблемы, и в ней каждая ячейка — изобретение, и в одиночку ты с этим не справишься, и вот тогда-то приходят на помощь наставники, друзья, ученики. Вместо долгих лет кропотливого копания время поиска мерится на месяцы... Нет, я очень скоро понял: изобретателю одиночество противопоказано.

Изобретать — в природе человека. Право на изобретение не регламентировано должностью или научной степенью. Но это не значит, будто каждый может начать изобретать без оглядки. Ученик невозможен без учителя. Учитель определяет уровень творческой активности будущего разведчика технического прогресса. Один мой знакомый несколько лет назад придумал новый способ нарезки. С той поры его просят делиться опытом, готовить изобретателей. А ему трудно. Потому что опыт невелик. Изобрел — и сам не помнит, как это вышло...

Наверное, есть существенная разница между тем, у кого на счету два-три изобретения, и тем, у кого их сотня. Первый — любитель, второй — профессионал. Любители рождают профессионалов. Профессионалы учат любителей. Для того, чтобы рост профес-

сионалов происходил постоянно, а не от случая к случаю, надо профессионалов готовить, обучать...

— Получилось как-то незаметно. Приходили ко мне мальчики и девочки, советовались насчет изобретений. Потом вижу, кто-то из них приходит чаще и чаще. И замечаю, что сам этому рад. Так появились у меня ученики.

Теперь их у него за двадцать. Роберт не считал, сколько «выпусков» ему удалось сделать. Многие закончили уже институты, работают с ним бок о бок. (Помните спор о курице и яйце, о призвании и образовании?) Роберт не ограничивает время обучения каким-то сроком. Учеба идет до победного конца, до первых изобретений. Соавторство — определенный этап мастерства, наступление зрелости. Среди соавторов Роберта была лаборантка Валя Горбунова, слесарь Валерий Беспалов, техник Владимир Плюхин, число изобретений которого пошло, кстати, на пятый десюток. Большинство учеников Роберта работают на заводах — слесари, токари, чертежники, лаборанты. Среди двухсот его соавторов есть кандидаты и доктора наук. Роберт объединил вокруг себя людей разного возраста и разных профессий. Но у них одна общая черта: все изобретают...

— Какое изобретение я считаю крупным? Наверное, то, где нова сама форма мышления. Это важнее любых непосредственных прибылей, потому что такое открытие может быть использовано не только в технике, но бог знает где еще — в биологии, в медицине... Я убежден, что музыка Чайковского помогла многим изобретателям нашего века. С ходу этого не докажешь. Но верится...

Не счесть, сколько начерчено было схем, сделано пробных образцов, написано заявок, прежде чем Роберт с Коньковым открыли принцип дискретного сравнения, при помощи которого можно делать самонастраивающиеся приборы. Это значит — прямо с конвейера, минуя наладчика, не требуя постоянной проверки, могут они работать...

Изобретатель изобретает в голове. Вот он ест, ссорится с женой, смотрит телевизор. А потом садится и пишет заявку в патентное бюро. Наглядности никакой. Окружающим было бы много понятней, если бы изобретатель в ходе своей работы забивал гвозди, смотрел в микроскоп или клеил картонные коробочки. Делом занят — все ясно...

На предприятие, где работал Роберт, пришла квалификационная комиссия. И с удивлением увидела, что инженер Федосеев графиков и расчетов сделал меньше, чем другие, а экспериментов не вел вовсе.

— А чем же вы были заняты?

— А я все изобретал...

Роберт подсчитал: примерно каждая сотая идея оформляется в заявку на изобретение. Написал он пока около тысячи заявок. Помножим их на сто, выйдет сто тысяч идей. Согласитесь, на обдумывание каждой идеи, ее проверку и реализацию нужно время, притом немалое. Изобретать между делом, без отрыва от прочих обязанностей инженера, даже у Роберта не очень-то получится...

Профессиональное изобретательство — один из актуальных вопросов, который научно-техническая революция выдвинула на повестку дня. Многие до сих пор представляют сам процесс изобретения как некое мистическое озарение, которое не укладывается в рамки рабочего графика. У Роберта все планируемо, все управляемо. Он знает, когда напишет очередную заявку, чем будет заниматься на следующей неделе, сколько изобретений сделает к концу года. Роберт производит их регулярно, изо дня в день, конкурируя с целыми институтами, влияя на

развитие целых технических отраслей. Что же, он всемогущ, не нуждается ни в какой помощи?

Это не так. Потому что талантливый человек связан с обществом каждой гранью своей личности, и чем дальше идет творческий поиск, тем сильнее становится эта связь, тем больше их взаимный долг. Талант не может только давать, а мы не можем от него только требовать. Специфика нашего сотрудничества состоит в том, что талант постоянно нуждается в новых точках приложения, в новых производственных ячейках. Свобода, которой он добивается, есть свобода «для», цель ее — достижение более высокой ступени производственной организации. Пусть для изобретателя она наступит раньше.

Было время, когда внедрение изобретений считалось необязательным. Технические проблемы могли дожидаться своего решения не одну тысячу лет, закрепившись лишь в прихотливом узоре сказок. В нашей стране внедрение изобретений возведено в закон. Государство берет эту функцию на себя. Общественный контроль за внедрением осуществляется членами многочисленных организаций. Настало время подумать, как помочь самому изобретателю, как найти стимулы, влияющие на производительность его труда. Наверное, главным стимулом будет право на личную творческую программу, на собственный исследовательский диапазон. Изобретатель должен обладать статусом самостоятельной научной единицы, быть автономным звеном в едином процессе научного поиска.

Как будут сочетаться интересы этого «звена» и организации, с которой он сотрудничает? Будет ли для нее выгоден такой уговор? Судите сами. В тот период, когда Роберт руководил специализированной изобретательской группой, она за год представила 188 заявок и на большую часть получила авторские свидетельства. Роберту и его товарищам тогда принадлежало 80 процентов изобретений по пневмоавтоматике. Больше, чем у многих исследовательских институтов...

Три карты: способности, профессионализм, специализация. Две из них изобретатель держит на руках. Где же третья?

Приятные вести не осаждали Роберта со всех сторон, но шли друг за дружкой. Англия, Италия, Бельгия, Австрия, Франция, Швеция, США, Япония, ФРГ выдали нашей стране патенты на его изобретения. Они внедрены на предприятиях двенадцати министерств Советского Союза. Правда, значок заслуженного изобретателя еще не украшает лацкан парадного пиджака, но лично я вижу в этом мудрую веторопливость фортуны, оберегающую изобретателя от излишней гордости собой.

...Друг Роберта, Виктор Орлов, по профессии конструктор. Руководитель лаборатории. Великолепный организатор. Общественник. Своей работой доволен на все сто. И надо же, чтоб именно этот уравновешенный человек пал жертвой изобретательской лихорадки. Кто-то из коллег пытался ему объяснить, что несolidно выходит. Ведь у каждого своя задача, верно? Ему, Виктору, руководить поручено. И незачем распыхаться. Но Виктор продолжал «распыляться». Искушал его, конечно, Роберт. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как человек покидает круг устоявшихся занятий, расстается с миром привычных истин и отдает себя во власть взбаламученной стихии изобретательского ремесла.

— Нас почему-то принято называть чудаками. При этом за точку отсчета берутся такие вечные, недвижимые ценности, как хоккей по телевизору, скачание с женой в гостях, благополучное застолье.

Действительно, если смотреть оттуда, то мы напоминаем дикарей: собираемся после работы, говорим о какой-то теплонике, пневмонике, горячимся, спорим, когда надо бы отдыхать. Но ведь возможен и другой взгляд. Кто сидит в бутылке — волшебник или джин? Джин всерьез считает, что он-то обитает на свободе, и посмеивается над чудаком-волшебником. На потолок не смотрит — незачем. А потолок-то припечатан сургучом... Я считаю, что за чудаков бояться не стоит. Лучше оглянуться вокруг и спросить: «А не в бутылке ли я, часом, разместился?»

Виктор Орлов не покинул лабораторию, не бросил общественную работу. Просто недавно он избрал такой станок, аналога которому не существует во всем мире. Разрешена одна из серьезных технических проблем, долгое время стоявшая на повестке дня. Стоявшая — в прошедшем времени. Вот и говори, что несolidно заниматься изобретательством, не с руки выпускать на волю джинов...

По вечерам на кухне собирались инженеры и пили чай. Рядом с печенем лежала стопка чистых листов. Время от времени кто-то брал лист и начинал набрасывать схему. У каждого хорошего инженера обязательно есть две-три вольные мысли, которые не идут в табу обиходных дел, а как бы вырвались на отшиб, не могут найти себе применения в повседневной практике. Это неплохо. Неужоженность, непричесанность замысла — один из критериев его новизны. О том, как достичь его реализации, и шел у них разговор.

Инженеры собирались каждую неделю, и так — вечер за вечером, год за годом — намечались контуры новых направлений автоматизации, становились реальностью вчерашние дерзкие мечты. Подсчитал бы какой-нибудь досужий человек, сколько партий в преферанс могли бы они сыграть за это время... А если говорить серьезно, то, наверное, эти люди и живут жизнью самой насыщенной. Несмотря на то, что круг их бесед посвящен проблемам сугубо техническим, вряд ли у кого-то повернется язык назвать их «технарями». По роду своей деятельности изобретатель стоит на семи ветрах — он черпает вдохновение во всех видах человеческой деятельности, пытаясь заглянуть в завтрашнее, намечая абрис будущего дня...

С той поры, когда светловолосый паренек возился с метрономом, годовая стрелка времени повернулась не однажды. Что-то напрочь ушло, что-то навсегда осталось с ним — долгие сомнения, добрые споры. Появилось золотое кольцо на безымянном, диплом о высшем образовании (наконец-то) лежит в нижнем ящике стола, придавленный учебником сопромата. Жизнь Роберта вошла в колею, идет размеренно и спокойно. Но эта размеренность наполнена взрывами новых изобретений. Через равные промежутки, один за другим...

Жизнь — сложная штука. Изобретатель — сложный человек. Рассказать о его жизни подробно, объемно едва ли под силу. Я этой цели и не ставил. Просто хотел показать, что может позаниматься мой ровесник, молодой человек семидесятых годов, у Роберта Федосеева, который должен обогнать Эдисона...



Вл. ВОРОНОВ

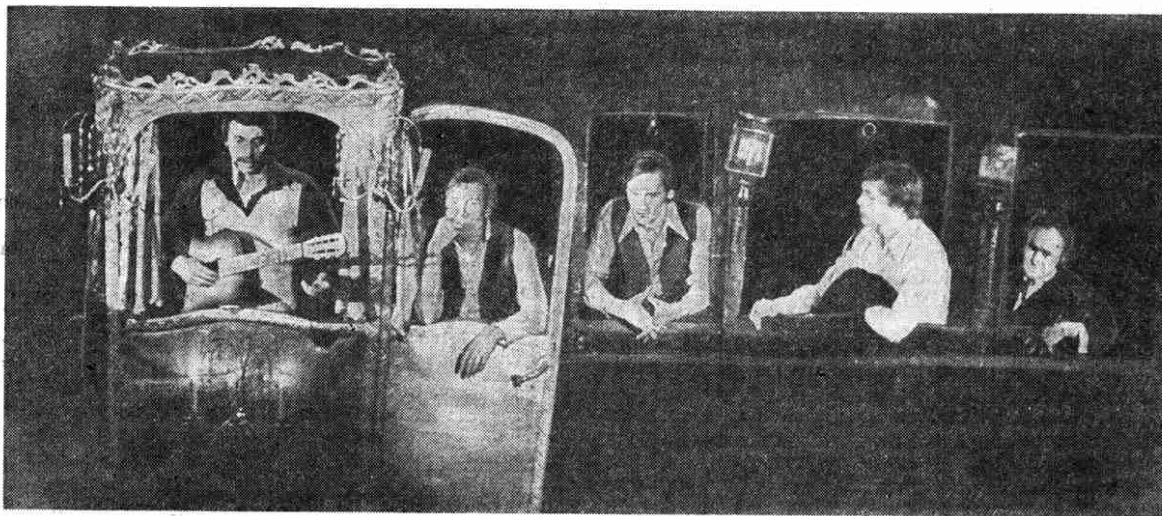
Продолжаю наш дневник, журнальную летопись литературы, искусства. Разумеется, в каждом номере он получается разный, «дневник критика» — спокойный, патетический, восторженный или полемический. Без полемики тоже нельзя; без нее обходятся только на кладбище. Впрочем, помните «Бобок» Достоевского? Какие там страсти разгораются посреди могил! Да и могил ли?

А тут литературная жизнь, она спешит, диктует темы, жанры, тон критического дневника.

Поводов для полемики всегда достаточно, но, к сожалению, не всегда она проходит корректно; иногда в ответ раздается невнятная реплика, уводящая от существа проблемы. Сегодня обойдемся без полемики: хочется почувствовать внутреннее движение искусства: литературы, живописи, театра.

Тем более что после многих дискуссий опять наступило в искусстве время раздумчивое, сосредоточенное. Писатели, живописцы, театральные режиссеры вновь размышляют сегодня о дальнейших путях развития и традициях большого искусства. А понять

ВРЕМЯ



ВЫБОРА

движение искусства — значит лучше понять, куда идет время. Так было всегда.

И если основная задача советского искусства — показать нашу современность, эпоху революционной переделки мира, то задачу эту невозможно выполнить без глубокого осознания художественного опыта предшественников. Без него трудно представить сегодня духовный мир передового рабочего, интеллигента, сельского механизатора, духовный мир молодого строителя новой жизни.

Поэтому осознание художественной традиции входит в круг важнейших проблем современности.

САМОАНАЛИЗ ХУДОЖНИКА

Не случайно, наверно, картину последних литературных лет в значительной мере определяют книги, в которых писатели заняты беспешными раздумьями о ходе времени, о том, как формируются в человеке нравственные принципы, отношение к себе, к близким людям, к истории. В последнее

«Товарищ, верь...» в Московском театре на Таганке. «За Пушкина» — артисты Иван Дыховичный, Валерий Золотухин, Леонид Филатов, Борис Галкин, Рамзес Джабраилов.

Фото А. ГАРАНИНА.

время появились, например, три книги воспоминаний Маризетты Шагинян «Человек и время», Валентин Катаев опубликовал «Разбитую жизнь или Волшебный рог Оберона», Виктор Астафьев — «Затеси», Владимир Цыбин — «Капли...». Список легко продолжить. Речь идет о литературном потоке, который можно определить названием одной из этих книг: человек и время. Очевидно, обнаружилась потребность взглянуться пристальнее в духовный мир нашего современника, проверить, насколько плотно его душевное вещество, память выражение Андрея Платонова. И что из того, что книги эти построены не на обычном сюжете, а представляют свободное, прихотливое движение мысли и чувства повествователя. Заметим кстати, что и военная проза дает в последнее время в основном документально-автобиографические книги, без традиционного сюжета.

Короче говоря, определенно выявилось желание писателей осмотреться, выверить свои духовные запасы, чтобы двигаться дальше.

И все-таки не будем выдавать названные книги за нечто подготовительное, предваряющее; нет, эти книги ценны сами по себе как свидетельство усилии талантливых мастеров заново осознать назначение литературы в собирании душевных сил современника на протяжении бурных десятилетий двадцатого века. Конечно, можно отнести эти книги к разряду автобиографических записок, мемуаров. Но ведь Герцен был прав, когда писал о «Былом и думах»: «Это не столько записки, сколько исповедь, около которой, по поводу которой собрались там-сям схваченные воспоминания из былого, там-сям остановленные мысли из дум. Впрочем, в совокупности этих пристроек, надстроек, флигелей единство есть, по крайней мере мне так кажется».

Ценность этих книг прежде всего в том, что в них происходит процесс самопознания литературы, исследование нравственного мира человека на самом, пожалуй, непосредственном для писателя материале — на материале самоанализа. Разумеется, самоанализ интересен тогда, когда есть что анализировать. Конечно, в этом книжном мемуарном потоке не обошлось без блокнотных пустяков, иногда самолюбования. Другое дело, когда перед читателем открывается личность. В лучших, упомянутых здесь, книгах это, безусловно, присутствует. И когда мы в трилогии, например, Маризетты Шагинян встречаем размышление о совместности русской интеллигенции, об ответственности русского писателя за свое слово, мы чувствуем, как органично воспринята современным художником одна из важнейших нравственных заповедей отечественной литературы. А когда мы вместе с Виктором Астафьевым или Владимиром Цыбиным внимательно исследуем зарождение, кристаллизацию основных духовных ценностей — любви к Родине, к земле, чувства истории, — становится очевидно, что в книгах этих авторы выходят на крупные темы современности, выходят не налегке, а нагруженные весомой литературной традицией, пониманием того, что мы, нынешние, придем и уйдем, а литература пребудет, народ, прокладывающий пути к лучшей жизни, пребудет и эта незримая духовная преемственность не прервется на нашем поколении.

Так вот случилось: книги, не претендовавшие на освещение современных событий, оказались на магистральном пути литературы в осмыслении проблем современности.

А ведь рядом и одновременно с названными книгами вышли другие произведения, авторы которых стремятся ухватить внешние приметы времени, но проходит год-два, и на глазах увядает, блекнет произведение, которое было на первый взгляд ах каким зло-

бодненным. Здесь же, в книгах Шагинян, Астафьева, Цыбина, уловлено, схвачено нечто ценное, характерное в облике эпохи. Потому что в них — правдивая исповедь нашего современника.

Много в этих книгах размышлений о роли искусства, об активности художественного слова. Когда-то известный советский критик А. Кугель сетовал на то, что писатели раскрывают тайны искусства, собственную лабораторию, знакомят с кухней писательского творчества. «И вообще, между нами — мы ведь все одного цеха — следует ли поднимать покрывало Изида, если Изида есть литература? — спрашивал Кугель. — У Бернарда Шоу в пьесе «Врач на распутье» есть чудесный афоризм, который один врач высказывает другому: «Все профессии, дорогой мой, — говорит мудрый старый врач, — это заговор специалистов против профанов». Ну, так вот я и думаю: сохраним нашу конспирацию!» А вот сегодня литераторы пренебрегают всякой конспирацией, подробно разбирают все, что прежде оставляли за пределами читательского внимания, берут «интервью с самими собой» (С. Замыгин). Очевидно, есть такая необходимость — осознать назначение художественного творчества, лучше понять природу эстетического воздействия.

И все же главное в этих книгах: неторопливый разговор с читателем о сокровенных, почти интимных отношениях со своим временем, о противоречиях и поступательном движении эпохи, о том, как человек, оказавшись на перекрестке истории, делал выбор, руководствуясь принципом человечности. В этих размышлениях художники оперируют громадным духовным опытом века, который после многих драматических исканий приходит к «неслыханной простоте», к пониманию бездонной глубины слова.

Вот качество, отличающее подлинное произведение искусства, — оно доступно пониманию многих и в то же время неисчерпаемо в своей смысловой многозначности.

Уйти от поверхностных решений, обрести органическую цельность и помогает как раз точно и глубоко понятая традиция. Она дает возможность осознать свое место в процессе духовного творчества, ощутить себя звеном в цепи исторической преемственности, приобщиться к тому таинственному отбору ценностей, который безжалостно совершает время. Об этом отборе писал недавно академик Н. И. Конрад, об оценке и переоценке всего сделанного и достигнутого. Он подчеркивал, что глубокое понимание современности невозможно без этого революционно-критического анализа духовного наследия, что всякая современность является «стыком прошлого и будущего».

«К будущему же, как мне кажется, — писал Н. Конрад, — обращено все, что думает, волнуется, обуреваемо тревогой за мир, за человека, все это — в каком бы облике оно ни выступало, — все это современно и подлежит изучению... Несовременно то, что инертно, косно, невежественно или олимпийски спокойно, самодовольно, вседовольно — всюду, где это наблюдается».

И, пожалуй, самое значительное в сегодняшнем искусстве происходит, на мой взгляд, в этом мучительном процессе отбора ценностей, в процессе самоопределения художественного сознания. По-разному, но он ощутим во многих видах искусства — в театре и живописи, в прозе, поэзии, в музыке. И бывает, что скромный портрет на весеннем вернисаже или маленькая повесть в областном журнале скажут о творческих поисках современного искусства больше, чем многостраничные «индустриальные баллады» на исключительно модную тему.

ЦЕНА САНТИМЕНТА

Возникает заново вопрос о традиции в нынешнем искусстве. Он существует всегда, даже когда о нем забывают. Но приходит время, требующее осознанного отношения к традициям, требующее более глубокого, нежели прежде, более полного понимания путей искусства. Мне кажется, такое время пришло сегодня и оно действительно предлагает свои решения. Что же такое традиция?

Этой весной в Хельсинки мы обсуждали проблемы традиции и современности в искусстве на шестой советско-финской писательской встрече. Они волнуют сегодня многих прогрессивных художников в мире. Три дня шло обсуждение интереснейших вопросов о творческой преемственности, о значении опыта прошлого в художественном осмыслении времени. Финские критики Кай Лайтинен, Пекка Таркка, прозаики и поэты Эйла Пеннанен, Матти Росси, Ласси Нумми и другие предложили серьезные суждения о вечно живой традиции гуманистического искусства, которую продолжают современные мастера. Молодая романистка Ану Кайпайнен раскрыла свой опыт пересоздания народных мифов в литературе, помогающих понять важнейшие процессы развития человечества. Кай Лайтинен говорил об основном критерии, необходимом для анализа современного художественного процесса, — критерии человечности, гуманизма: «Меняется среда, меняется общество, но тема человеческого достоинства и социальной справедливости остается животрепещущей темой в финской литературе. Новые писатели, изображая нового человека, так же, как прежние художники, наклоняются к уху читателя и шепчут ему: «Он мог бы быть тобой». Финский критик Пекка Таркка, руководитель советской делегации Алексей Сурков подчеркивали значение революционных традиций советской литературы, особенно М. Горького и В. Маяковского, в движении современного искусства. Участники творческого симпозиума писателей двух стран приходили к общему плодотворному выводу, что традиция включается в современное художественное сознание, а лучшие творения искусства прошлых веков являются частью духовного богатства современности, участвуя в формировании нравственного облика человека второй половины XX века.

В те дни в Финляндии проходили многосторонние консультации перед общеевропейским совещанием по вопросам безопасности, чувствовалось приближение весны, в воздухе теплело. И когда мы поднялись на заснеженный холм, сверкавший в солнечных лучах, и вошли в дом-музей художника Акселя Галлена-Каллела, нас встретили негромкие речитативы старого рунопевца, мы услышали великолепные руны «Калевалы». Подумалось: как важно сохранить мир и тишину, хотя бы для того, чтобы не прерывались эти древние руны, запечатлевшие историю и мечты финского народа, нашего близкого соседа... Как много еще предстоит работы, чтобы построить достойную человека жизнь!

В этой жизни будут и руны «Калевалы», и небольшая русская повесть XVIII века — карамзинская «Бедная Лиза», и японские повести Кавабаты, и «После сказки» киргизского писателя Чингиза Айтматова...

«Бедная Лиза» мне вспомнилась потому, что, проезжая через Ленинград, я узнал, что в Большом драматическом театре, где главным режиссером Георгий Товстоногов, готовят к постановке эту полузабытую современным читателем сентиментальную повесть. Как-то раздвинулось пространство двух веков, дохнуло русским Просвещением конца позапрошлого столетия, и я заметил себе, что надо будет обязательно

посмотреть этот спектакль и попытаться понять, чем же заинтересовала сегодняшних театральных режиссеров бедная Лиза.

И вот в небольшом зале ленинградского БДТ, на малой сцене, обрамленной видом Симонова монастыря в Москве (по известной старой гравюре), разыгрывается немудреное действие карамзинской повести. Слева и справа от сцены, рядом со зрителями, расположился оркестр; музыканты в париках и костюмах XVIII века (художник Алла Коженкова). Все настраивает на театральное представление всерьез, даже пока без современной иронии. А нынешний партер обычно очень расположен к ней. Зная об этом, авторы инсценировки М. Розовский (он же постановщик и автор музыки) и Ю. Ряшенцев уже в прологе спектакля заявляют о своем отношении к истории бедной Лизы, к сентиментальной прозе:

Ах, я и сам смеюсь при всех
Над фразой старомодной,
Но перед чувством жалок смех,
Ирония бесплодна!
Ругай сюжет или хвали,
Но нет в нем места позе —
Поклон за это до земли
Сентиментальной прозе.

Режиссер делает ставку на непосредственную «чувствительность», которую сегодня лучше называть открытой эмоциональностью искусства. И когда в финальных сценах Лиза (артистка Елена Алексеева) бьется в плаче под старым дубом, вдруг начинаешь понимать, что на сцене происходит подлинная, непридуманная трагедия любящего сердца. Помню, в школе мы редко относились всерьез к словам учителя о том, как после опубликования «Бедной Лизы» немало русских девушек последовали примеру героини карамзинской повести, бросившись в пруд от неразделенной любви.

Огромный нравственный заряд повести выступил вдруг перед зрителями убедительно, неотразимо. Трагедия осталась трагедией спустя почти двести лет. В прологе четыре актера, четыре участника спектакля — Лиза, ее мать (арт. Н. Ольхина), Эраст (арт. Вал. Рецетер) и Повествователь (арт. А. Пустохин) — выходят к рампе с круглыми пятачками, на которых вышиты цифры «1793»; затем два средних персонажа меняют места, и получается «1973». Зритель тихо ахает, как в добрые, старые времена, удивляясь милому театральному фокусу, в котором он обнаруживает вдруг немалый смысл.

Да и что такое двести лет на путях истории? В Москве еще растут деревья, под которыми гулял Николай Михайлович Карамзин, на Симоновской набережной Москвы-реки еще можно видеть башни старого монастыря, свидетеля любви Лизы и Эраста...

Спектакль получился многослойный. Вся история бедной Лизы комментируется тут же на сцене, по ходу действия, Повествователем, человеком XVIII века, в котором узнаются какие-то черты автора повести, умнейшего писателя своего века, свидетеля пугачевщины и краха якобинских идей в Великой французской революции, писателя, которому Пушкин посвятил своего «Бориса Годунова».

Затем органично, мягко возникает третий эмоционально-смысловой пласт театрального зрелища — в музыкальных интермедиях и песнях, предложенных авторами спектакля. Песни дают возможность взглянуть на все происходящее глазами сегодняшнего зрителя. Песни не брехтовского типа, не зонги, они несут в себе музыкальную стихию XVIII века с тактичными парафразами из века нынешнего. Эффект неожиданный: не разрушая музыкальной структуры театрального действия карамзинской эпохи, авторы вводят отношение сегодняшнего зрителя, который

отлично знает об «ограниченности» сентиментализма, его исторических пределах и в то же время чувствует, как повысилась цена на каждую унцию чистого сентимента в наши дни, когда людям, очень занятым, трезвым, практичным людям некогда даже подумать о каких-то «сентиментальных пустяках»...

И то, чем так сильно озабочены нынешние писатели — нравственная цельность чувства, противоречия человеческой природы, понятия долга и чести, постижение логики истории и житейских обстоятельств, — все это Марк Розовский, дебютирующий со своей «Бедной Лизой» на сцене академического театра, находит и воплощает в инсценировке сентиментальной повести конца XVIII века.

Приятно отметить, что сцена столь авторитетного театра отдана молодым для создания изящного, высококонтрастного спектакля, который еще раз доказывает, что им, молодым, по плечу решение серьезных идейно-художественных задач.

СЕГОДНЯШНИЙ ИБСЕН

Мы владеем поистине неисчерпаемым богатством. И порой даже не ведаем о том, какие источники вдохновения затянута патиной времени. Но приходит новый художник и заново открывает современникам вроде бы окаменевшую классику, и та вновь оживает для миллионов зрителей, читателей, превращается в живую художественную ценность, становится фактом сегодняшнего духовного опыта.

Казалось бы, чем новым заинтересовала ибсеновская «Нора» молодого режиссера Калининского драматического театра Виктора Шульмана? Почти столетие пьеса норвежского драматурга не сходит с мировой сцены. В русском театре «Нора» имеет великолепную творческую историю, идущую от Веры Комиссаржевской и Всеволода Мейерхольда.

В Калинин у театрального подъезда я услышал: «Провинциалы более привержены классическому, старому репертуару». Сказано это было не без некоторого самоуничижения. Но какие провинциалы? Провинция давно уже не является географическим понятием. И разве классика может стать когда-либо старой? Если она устарела, то новая театральная постановка имеет лишь реставраторский интерес, а это уже не входит в круг современного искусства. А что же «Нора»?

Около театра висела весьма выразительная афиша: на ней изображена золоченая резная рама, чуть сдвинутая с привычного места. На нижний багет брошен смятый кружевной платочек, под рамой крупными буквами — «Нора». Но портрета Норы, героини ибсеновской драмы, нет; вместо него — зияющий провал, черный квадрат. Нора ушла из этого золоченого буржуазного быта, ушла из теплого, светлого дома Хельмера в черноту ночи.

Неблагополучие буржуазного быта, неразрешимый трагизм мещанского общества, в котором властвуют деньги и лицемерие, ощутимы с первых же сцен калининского спектакля. Нора вынуждена лгать любимому мужу, которого она когда-то спасла от смертельной болезни. Чтобы найти деньги для лечения мужа, она подделала подпись отца на денежном векселе. И вот сейчас это может раскрыться. Нору шантажирует ее кредитор Кругстад, требуя, чтобы она похлопотала за него перед мужем, ныне директором акционерного банка.

Драматическая предыстория прочувствована режиссером и актерами; поэтому на сцене с первых же минут спектакля разворачивается стремительное



«Бедная Лиза» в Большом драматическом театре имени М. Горького (Ленинград). Лиза — арт. Е. Алексеева, мать Лизы — арт. Н. Ольхина.

движение к развязке, а в каждой картине — наэлектризованная атмосфера близкой бури. В тревожных взглядах Норы (артистка Екатерина Гусева), ее порывистых движениях, в нарастающем чувстве боли и отчаяния, которые пронизывают монологи Норы, раскрывается сложный психологический мир человека, загнанного в круг лицемерного благополучия, зыбкого, непрочного вседозволения... Это поистине «кукольный дом», кстати, так и называлась у Ибсена пьеса о Норе; лишь многолетняя театральная традиция переименовала «Кукольный дом» в «Нору». Калининский режиссер возвращается к первоначальному замыслу норвежского драматурга, для которого главным было как раз обличение обманчивости и нравственной несостоятельности мещанского, позолоченного мира. Под внешней позолотой, изрядно трагичной временем, обнажаются трагические людские судьбы, непримиримые духовные противоречия... Здесь и жалкий чиновник Кругстад (В. Гатаев), случайно выбитый из колеи буржуазного процветания; он не злодей, каким его часто играли, а жертва «кукольного дома». Особенно выразительно сущность «кукольного дома» показана в сцене последнего объяснения Норы с мужем Хельмером (арт. Б. Мостовой), когда они вернулись с новогоднего карнавала с висящими на шнурках масками: маски портретны, и мы видим лицо Торвальда Хельмера в сладчайшей улыбке, лицо Норы в сладчайшей улыбке. Но это маски, они болтаются на шее и контрастируют с мертвенно-бледным лицом Норы, бросающей мужа;

с испуганным лицом Торвальда Хельмера... И даже последний возглас Торвальда «Но — чудо из чудес?!», который обычно читается после ремарки «луч надежды озаряет его лицо», звучит в калининском спектакле безнадежно, с отчаянием: чуда не будет! Нравственное возрождение Торвальда невозможно, ибо слишком погряз он в продажном мире собственности...

Нужно при этом заметить, что Нора Хельмер в калининском спектакле меньше всего похожа на гордую победительницу, швыряющую жалкому буржуазному миру Торвальда лозунги и декларации... Нет, Нора здесь лишь протестует, она сама страдает от своего вынужденного ухода, потому что сама ведь целиком из этого мира и пока что ничего, кроме боли и протеста, противопоставить ему не в силах. Нора уходит в ночь, в черную пустоту... Скажем прямо, такое режиссерское решение убедительнее раскрывает трагизм мещанской идеологии, чем некоторые другие трактовки знаменитой драмы Генрика Ибсена, написавшего в 1875 году в умиротворенной буржуазной Европе удивительное по своей прозорливости «Письмо в стихах». Там он уподобляет Европу тех времен кораблю, который плывет в открытом океане «путем рассчитанным и верным». И вдруг поэт чувствует, что «на борту без видимых причин все чем-то смущены, вздыхают, страдают».

Немногие сперва тоской объаты,
Затем — все больше, после — без изъятий.
Крепят бесстрастно парус и канаты,
Вершат свой долг без смеха и проклятий,
Приметы видят в каждом пустяке,
Томит и штиль и ветерок попутный,
А в крике буревестника, в прыжке
Дельфина зло душой провидит смутной.
И безучастно люди бродят сонные,
Неведомой болезнью зараженные.

Генрик Ибсен — один из немногих европейских писателей последней трети прошлого века, умевших слушать глухие подземные толчки надвигающейся бури. Он не мог ответить на вопрос: «Чего ж еще, чтоб плыть нам без забот?» Однако эмоциональный пафос его пьес и стихов гораздо глубже и многозначнее авторских ремарок, и это талантливо почувствовал молодой постановщик калининской «Норы».

«УСЛЫШАТЬ БУДУЩЕГО ЗОВ»

В периоды раздумий и поисков, когда уточняются творческие координаты и нащупываются более глубокие традиции, художники в России обычно обращаются к Пушкину. Он всегда был для нашего искусства источником, заветом и надеждой. Каждая эпоха творила своего Пушкина, божественного, мраморного, забронзовевшего, академического. За полтора столетия было разбито много идолов с этикеткой «Пушкин». А поэт все время уходит от слепых молитв своих обожателей. Его поэзия не укладывается в схоластические определения; она продолжает искриться, блистать, волновать... Даже если с Пушкиным запальчиво спорили, то доказывали этим только необычную силу его воздействия.

Спор этот начался еще при жизни поэта. Спустя полвека, в 1880 году, первые итоги нескончаемого спора подвел Федор Достоевский в своей знаменитой речи о великом поэте. Прошло еще почти целое столетие, и сегодня Пушкин открывается в более глубоких связях со своим временем, государством, с отечественной историей.

Один примечательный факт. Несколько лет назад в журнальной анкете наши поэты подчеркивали пре-

имущественное значение мятежной поэзии Лермонтова перед олимпийски гармоничной музыкой Пушкина. Сегодня поэтические пристрастия опять склоняются к автору «Медного всадника» и «Бориса Годунова». Всего лишь в предыдущем, июньском номере «Юности» мы читали статью Леонида Мартынова «Пути поэзии» и снова вместе с автором пошли по нехоженым пушкинским тропам, и снова — уже через толщу полутора столетий — поэт приходит в 70-е годы XX века.

И начинается новый диалог нашего современника с Пушкиным. Характер этого диалога отлично чувствуется на премьере спектакля «Товарищ, верь...» Московского театра на Таганке (постановка Юрия Любимова).

Спектакль стремительный, динамичный (действие необычайно уплотнено). Спектакль, говоря еще точнее, яростный. После него долго не уходит чувство потрясения от непосредственного, очень интимного общения с поэтом, его муками, радостями, его горькими предчувствиями и прозрениями.

Уж, кажется, все знакомо — и жизнь поэта, и стихи его, письма, и воспоминания современников. Но — вот волшебная сила театра! — вроде бы давно известное воспринимаешь как открытие: и пушкинскую жажду свободной жизни, его тоску по душевному покою, его восторг перед красотой мира и глухую ненависть ко всему бесчеловечному, к унижающим душу мелочам. Сквозь череду бытовых деталей, житейских примет времени театр выходит к чистейшим источникам пушкинской поэзии.

Режиссер начинает спектакль о Пушкине с выстрела Дантеса. По существу, это конец, но он стал началом театрального действия, определив трагическую высоту всего, что совершается на сцене в последующие три часа. Потом, в ходе представления, мы не раз вспомним этот выстрел и поймем, насколько он был неизбежен. Потому что многократно в своей жизни Пушкин оказывался на краю бездны — от политических страстей своего времени, от любви, приносившей ему так мало счастья и радости, от душевных терзаний между нравственным долгом перед друзьями и трезвым пониманием обреченности их дела... Одно из сильнейших впечатлений от спектакля — какое-то истовое, почти безнадежное стремление поэта вырваться, вырваться из будничной путаницы повседневья, прорваться к вечности, даже не к будущему, потому что будущее тоже временно, а к вечности... Что-то близкое этому чувству слышится почти через сто лет у другого русского поэта в «Облаке в штанах»; это — столкновение земной юдоли и безмерной любви:

Я сам.
Глаза наслезненные бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

Извечная тяга художников преодолеть тесные рамки времени и пространства — одна из сокровенных граней искусства, может стать, важнейшая из его граней. Страстное желание поэта, выраженное в восклицании, почти отчаянном заклинании «Нет, весь я не умру...», — по существу, и есть вера в бессмертие искусства, которое всегда стремится раздвинуть пределы физических возможностей человека, противостоять безжалостному времени, иными словами: «привлечь к себе любовь пространства, услышать будущее зов».

А на сцене движутся пять актеров, играющих «за Пушкина», они и внешние и внутренние очень разные. В этих пяти актерах много «от Пушкина», в каждом укрупнена какая-то преимущественная черта. Траги-

ческая безысходность, предчувствие своей гибели — в Л. Филатове; возвышенная лицейская патетичность — в Б. Галкине; бурлящее гусарское бесстрашие — в И. Дыховичном, неистовый «африканский» темперамент — в Р. Джабраилове. Трудно удержаться, чтобы не выделить пятого — Валерия Золотухина: в нем угадывается главный нерв замысла режиссера, который не подминает под себя талантливую актерскую индивидуальность, а, наоборот, помогает раскрыться ей, сообщает ей глубину выражения. В Золотухине представлено более всего «от Пушкина»: главное в нем — полнота жизневосприятия, интенсивность эмоционального и духовного мира, чего бы ни касался поэт, простой житейской заботы или судеб России... Каждый раз появление Золотухина «за Пушкина» дает ощутить движение характера во времени; это особенно наглядно в последних сценах, когда в поэте приоткрываются душевная усталость, отчаянное желание устоять в единоборстве с миром, холодным и расчетливым. Ведь Пушкину всего-то «тридцать с хвостиком», но по глубине и огромности пережитого, выстраданного ему вдвое-втрое больше. Это — почти физическое ощущение: поэт продирается к своей песне сквозь колючки будничной путаницы, сквозь рогатки глупцов, невежд, сквозь мутную пелену непонимания, злобных сплетен и доносов, тянется к чистому источнику поэзии, в кровь обдирая руки, лицо, сердце...

Время требует слишком дорогой платы от Пушкина — оно требует его жизни. Это так же просто, как и неотвратимо. В начале и в конце спектакля звучит тихая лирическая песня поэта Булата Окуджавы: «А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать, в «Яр» заскочить хоть на четверть часа...»

Время, пронзительное чувство летящего времени определяет ритм спектакля. Ритм этот задан в мерном стуке деревянной колотушки, отбивающей сцену за сценой, в тяжких звуках колокола, завершающих наиболее драматические картины, и, наконец, в ударах неумолимого метронома, дважды или трижды введенного в ход представления... Не случайно эмоциональной кульминацией вечера стало стихотворение о времени «Долго ль мне бродить по свету...». Оно исполняется как песня; вначале неторопливо, буднично; затем с затененной тоской, яростным отчаянием, в бешеном ритме... Не случайно на сцене две кареты — одна царская, золотая, а другая — черная, дорожная, она мчится по просторам и ухабам пушкинской эпохи, через опалы и ссылки, через казнь декабристов, через лучшие дни поэта, озаренные вдохновением... Ряд режиссерских находок, связанных с двумя каретами, войдет в театральные хрестоматии: кареты превращаются то в рабочий кабинет поэта, то в церковный аналой во время свадьбы, то в театральные ложи... Мы видим и тюремную камеру, через которую проходят с завязанными глазами все пять Пушкиных, идущих на эшафот после знаменитого вопроса царя: «Что бы ты делал, Пушкин, если бы 14 декабря был в Петербурге?..» Из-под ног осужденных выталкивается табуретка, а на задней стене сцены качаются тени пятерых повешенных декабристов...

Не хочу описывать спектакль, это почти невозможно, тем более спектакль Театра на Таганке. Можно лишь выразить какие-то основные впечатления, ассоциации. Конечно, авторы пьесы Л. Целиковская и Ю. Любимов взяли за труднейшую задачу: рассказать о жизни Пушкина его словами, словами его современников, не добавляя ни слова от себя. Если приняты такие условия игры, значит, приняты и жесткие самоограничения (пушкинисты заметят и то, что не целиком использовано в изображении поздне-

го Пушкина его отношение к государству, монархии, к пугачевскому восстанию). Но в избранном жанре сделано много, и сделано талантливо.

Вспомните еще (для завершения анализа пушкинского спектакля) о движении двух эмоциональных пластов: ликующая радость жизни юного поэта, беспечное неведение младости, в которое постепенно проникает горькое осознание своей жизни, мира, своей судьбы — от восторженного лицеиста до штатного камер-юнкера... Но рядом с этим идет углубление исторического мышления поэта, постижение народных судеб, понимание высшего нравственного закона, своей ответственности, ее нелегкого груза.

И когда такое знание приходит, человеку становится труднее жить, надо выбирать... И уже не увидишь от самого себя, от совести. Таков Пушкин в последнее десятилетие своей жизни, Пушкин, догадавшийся о драматических поворотах отечественной истории, познавший и стихию яростного народного бунта и народное безмолвие... Поэтому принципиально важны во второй части спектакля возникающие наплывом финальные сцены из «Бориса Годунова», крестьянские песни, погружающие образ поэта в мир народной жизни.

Таков Пушкин в новом спектакле на Таганке — горячий, дерзкий, страдающий, вдохновенный. Театру удалось стереть с его лица хрестоматийный глянец, и перед зрителем открылся безграничный мир поэта с его откровениями, горькими уроками и взлетами.

В этой статье затронуты лишь некоторые проблемы традиции в искусстве. Среди них особенно интересен вопрос о том, какими путями произведения классики, человеческий опыт далекого и недавнего прошлого превращаются в сегодняшние духовные ценности, живущие в художественном сознании. Этому посвящены и книги Шагинян, Катаева, Цыбина, о которых говорилось вначале. В самом деле, почему повесть XVIII века сегодня опять волнует, трогает сердца?

Ведь классические произведения искусства могут существовать сами по себе. Таково подлинное искусство: оно никому себя не навязывает.

Но мы-то не можем существовать сами по себе — вот в чем дело. Духовный мир современника непременно включает все ценное, добытое в веках. Об этом хорошо писала Ольга Форш в письме к М. Горькому: «Живое все ведь забирается и живет. И хоть мы только сейчас, но века — в нас (а не сами по себе...)».

Сегодня мастера искусства много думают о традиции, о выборе и социальном понимании традиции. В русском языке есть еще выразительное слово — предание. Предание — то, что художники всех времен передают следующим поколениям как самое ценное, значительное, важное. Передают творческие навыки, мастерство, свои открытия, озарения, мучительные вопросы, над которыми они бились. Передают накал своих чувств, мысли о времени, о классовых битвах, о человеке... Чтобы наследники могли внести новый вклад в художественное осознание мира.

„КОММУНИЗМ — ЭТО

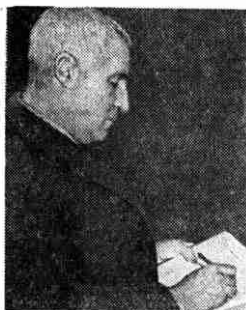
Фото А. М. РОДЧЕНКО.

Маяковский сегодня

Владимиру Маяковскому в этом месяце исполнилось бы 80 лет. Великий поэт русской революции, поэт-новатор, глашатай нового мира, он вместе с такими деятелями советского искусства, как Горький, Эйзенштейн, Станиславский, Прокофьев, Мейерхольд, определил дальнейшее развитие нашей культуры, оказал мощное влияние на многие и многие национальные культуры не только СССР — всего мира. Сила Маяковского сказалась в том, что его поэзия, его слово живут и рожают последователей. Сила Маяковского сказалась в том, что огненное новаторство в поэзии еще теснее, органичнее связано с демократизмом и социальными задачами. Маяковский с нами — с юностью, с Будущим мира! Редакция «Юности» обратилась к известным поэтам, деятелям искусства, к друзьям Маяковского, лично знавшим его, и к молодым его продолжателям с вопросом: как воздействует традиция Маяковского на сегодняшнее направление культуры — поэзии, эстетики, кино, искусства вообще? Одним словом, как живет СЕГОДНЯ Маяковский, как участвует его традиция в сегодняшних наших поисках, борьбе — нравственной, эстетической, идеологической.



МОЛОДОСТЬ МИРА...



Константин СИМОНОВ:

А любовь к Маяковскому пришла не сразу. Сначала, в юности, меня ошеломила и на какое-то время подмяла под себя форма: лесенка строк, разговорная интонация, гипербола. Я начал писать стихи под Маяковского и прежде чем по-настоящему полюбить его и прежде чем по-настоящему его понял.

И лишь через десятилетия после первых юношеских подражательных опытов, после войны, после долгих поездок в далекие и чужие страны в годы «холодной войны» я полюбил, понял, кожей почувствовал Маяковского. Необходимость в нем стала частью моей любви к нему. Гордость тем, что он принадлежит нашей революционной поэзии, стала частью гордости за свою революционную страну. Поэзия Октябрьской революции дальше всего шагнула за наши рубежи именно в стихах Маяковского. И я снова и снова убеждался в этом в самых разных точках земного шара.

И когда несколько лет назад в Японии, в Осаке, в рабочем молодежном театре, я увидел шедшую под бурные восторги битком набитого зрительного зала «Мистерию-

Буфф», когда я увидел, как яростно работает против современной реакции в Японии написанная в 1918 году в России пьеса Маяковского, в горле у меня был комок. Я до слез гордился в тот вечер Маяковским.

И эта гордость была частью моей гордости за мою Октябрьскую революцию, за мою советскую поэзию и за ту неотделимость одного от другого, которая с такой резкой определенностью, с такой воинственностью выражена в Маяковском, в его стихах, в его личности, в его любви и в его ненависти.

Виктор ШКЛОВСКИЙ:

Стихи — закрепленная молодость.

Правда, иногда они закрепленное раздумье.

Стихи — это молодость, потому что они мир, иначе увиденный, вещи, иначе связанные.

Стихи подобны не до конца разгаданным загадкам.

Вот, такое — как мир.

Поэзия имеет две загадки: одна непростая — загадка того, как из земли и даже из мусора, из простых слов рождаются слова необыкновенные, всем нужные. Так превращается, вероятно, уголь в алмаз. Это одни и те же атомы, но иное их построение.

Стихи отличаются от алмазов тем, что они делают блестящую обыкновенную речь, переулавливают нас, обучают нас новым законам мышления. Это одна загадка. Но в ней ясно, как связаны стихи — поэзия с сегодняшним днем. Они — сама действительность, угаданная и в своей простоте и в своей тайне.

Еще более сложна вторая за-

гадка поэзии: как созданные одним временем стихи уже в другое время, во время иного употребления слов и иных жизнеотнoшений продолжают жить.

Эту загадку считал трудной и разгадку ее не написал Карл Маркс.

Вечность стихов прерывиста. У поэтов и у стихов бывает старость, но это единственный вид старости, которая проходит.

Над поздними стихами и даже над поздней прозой Пушкина недоумевали. Молодой Белинский не сразу понял Пушкина, не сразу понял, как очищенной, внятной возвращается к нам сама жизнь.

Зрелый творец Лев Толстой писал сперва, что пушкинская проза «гола», потом он обновился ею. Отрывок Пушкина «На углу маленькой площади» — история о том, как горько теряется любовь, помог ему создать «Анну Каренину».

Толстой понимал связь стихов и прозы и говорил потом, что Чехов — это Пушкин в прозе.

Тютчев был восстановлен после небольшого перерыва Некрасовым.

Блок восстанавливал славу стихотворца Лермонтова.

Что такое поэзия Маяковского сейчас?

Читают ли ее ученики средней школы, читают ли ее «курсистки»?

Маяковский расширил область поэтического, он расширил поэтичность слова, поэтичность фразы и ввел как поэтичное в поэзию новые понятия.

О нем спорили в общежитиях, спорили на трамвайных остановках.

Его изучают в школах, говорят, что он «продукт времени».

Промежуток непонимания обычен. Древние философы говорили, что кузнецы не слышат стук своих молотков, а человечество не слышит музыку сфер, созданную движением небесных светил. Непрерывное ощущение теряет

свою информационность; она уже не сообщает ничего.

Но мир весь читает Маяковского. А мы, те, кого Маяковский считал передовым отрядом человечества, мы иногда не замечаем, что он для нас невнятен.

Я думаю, что внятность и поразительность Маяковского скоро станут оглушительными.

Я хорошо знал Маяковского. В жизни он для меня был Володя.

В воспоминаниях — Владимир Владимирович.

Трудно дружить с памятниками, но любовные стихи Владимира Владимировича Маяковского и сейчас изменяют биение моего сердца.

Он был человеком будущего. Гогсль говорил, что Пушкин — русский человек, но таковой, каким он будет через двести лет.

Маяковский прожил по законам будущего. Он по-инному любил, по-инному понимал революцию и по-инному связывал то, что у нас называют «личной жизнью», с историей.

Он любил великодушной и верной любовью.

Многие ищут Маяковского в лозунгах.

Он это хорошо делал, но лозунги осуществляются, они не обладают непрерывностью.

С величайшими усилиями человечество дошло до личной любви, и когда арабы создавали личную лирику, то герой сразу получил для всего мира имя Меджнун — безумец.

У Навои безумец по-инному отнесся даже к собаке с улицы, на которой жила любимая.

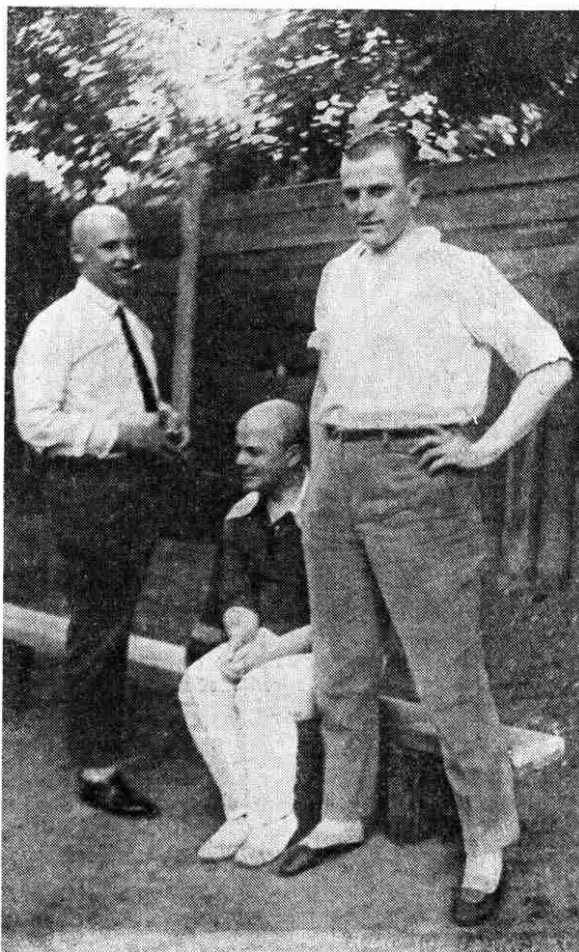
Обновляясь, изменяясь, будучи прерывистой, но не исчезающей, как бы существующей в квантах, любовь перешла в Европу, обострилась в рыцарских романах. Ею шутили в новеллах, ей поклонялся лучший европеец мира — я говорю про прошлое — Дон-Кихот.

Маяковский в своих поэмах, посвященных этой прекрасной болезни, этому высокому вдохновению, дал любовь нового человечества.

Эта любовь была только наполовину услышана. Но время куёт будущее, приближает его к нам, и мы больше теперь интересуемся планетами и, может быть, когда-нибудь услышим музыку сфер.

Владимир Владимирович любил, очищая сердце любовью, любил пророчески чисто.

Ближайшие места Вселенной скоро будут уже заселены.



На снимке:
А. Родченко,
В. Шкловский,
В. Маяковский
(1926 год.
Из архива
А. Родченко).



Антал ГИДАШ

(венгерский поэт):

Однажды — это было в Москве вскоре после войны — мы собрались в гостях у друзей, беседовали о литературе, когда вдруг один из поэтов в пылу спора воскликнул:

— Маяковский — не русский поэт!

— Неправда! — взорвался я тут же. — Что ж, может, и Октябрьская революция не русская революция — ведь он был ее поэтом? Певцом той революции, которая стала величайшей в истории человечества именно потому, что была одновременно и русской и интернациональной по своей сути. И Маяковский тоже стал величайшим революционным поэтом XX века не только благодаря своему громадному поэтическому дарованию, но и потому, что был одновременно русским и интернационалистом.

Стихами его, которыми он, в сущности, совершил переворот в русской поэзии, будут наслаждаться еще многие поколения читателей и поэтов.

А разве может поэт достичь большего в творчестве, чем стать истинным родоначальником истинных поэтов будущего!



Леонид МАРТЫНОВ:

«На небе, красный, как марсельеза, вздрагивал, околевая, закат».

Я видел этот закат в марте 1917 года, когда прочел эти строки в одиннадцатом номере «Нового Сатирикона». И говорю это к тому, что Маяковский, объект нескончаемых споров между архаистами и новаторами, предмет заучивания наизусть для нынешних школьников, был для меня самой что ни на есть явью — бытом в самом лучшем и высоком смысле этого слова. Я знал Маяковского и тогда и раньше. Не кто иной, как он, поведал мне, десятилетнему, еще в дни войны, до революции, о том, как в морях, играя, носится с миноносцем миноносица, и о возможности сыграть ноктюрн на флейте водосточных труб, и о том, что перекрестком распяты городовые, и о том, как с каплями ливня на лысине купола скакал сумасшедший собор, конечно, тот самый Казачий собор, в котором крестили меня!

Я бы мог рассказать о впечатлении, произведенном на меня одной из первых постановок «Мистерии-Буфф», и о том, при каких обстоятельствах прозвучал для меня «Левый марш», и вообще о дальнейшем воздействии поэзии Маяковского на меня и моих сверстников. Но в этой короткой заметке я скажу только, что мне кажутся смешными и наивными те, кто пытается разять Маяковского на двух Маяковских — раннего и позднейшего, отдавая явное предпочтение последнему. Маяковский, конечно, един. И, говоря о раннем Маяковском, который формировал не только мое, а не будет ошиб-

кой сказать — наше творческое сознание, я уверен, что и для будущих поколений он, Маяковский, целиком останется не только незабываемым свидетелем крушения старого и становления нового мира, но и целиком останется неотлучаемым участником всех великих событий, прошлых и будущих.

И недаром сказано:

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот — я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад
фруктовый
моей великой души.



«КТО УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОМ ЛИЧНЫМ»



Василий КАТАНЯН:

Маяковский сегодня? Сегодня Маяковский виден со всех концов земли.

Помню, как один американский писатель сказал мне когда-то:

— Для нас Маяковский — пьедестал без памятника. Фигура, которая должна стоять на этом месте, нам почти незнакома.

Сегодня, конечно, так уже не скажешь. За эти годы американцы могли кое-что прочесть из Маяковского. В США вышло несколько сборников стихов и пьес. Мы поспорили бы с некоторыми предисловиями к этим книгам, но можно ведь в конце концов и не читать предисловий... Есть объемистый том стихов и поэм, немало публикаций и даже исследований в области поэтики Маяковского. А недавно вышел перевод книги Виктора Ворошильского, польского исследователя, — огромный кирпич! — жизнь Маяковского в письмах и воспоминаниях.

Во Франции выставка, посвященная жизни и творчеству Маяковского, объехала многие города. Не один раз выходили «Стихи и проза». В нескольких переводах издан «Театр».

В Марселе, в Авиньоне, в Париже и снова в Марселе идет балет о Маяковском «Зажигайте звезды!», поставленный Роланом Пети.

В ГДР — собрание сочинений в пять увесистых томов. Такое же пятитомное — в Чехословакии. Четыре тома — в Венгрии.

В Польше — избранное, сценарии, пьесы, лирика, поэмы.

В Аргентине — избранное в трех томах.

В Италии — четырехтомное собрание, иллюстрированное итальянскими художниками. И новое, шеститомное, более дешевое, появилось недавно.

Двуязычное издание «Флейты» с тремя (!) переводами на немецкий язык вышло во Франкфурте-на-Майне.

«150 миллионов» — в Египте.

Поэма «Ленин» и пьеса «Клоп» — в Турции.

В Японии — избранное.

В Индии — поэма «Ленин».

Письма Маяковского выходили в Италии (дважды), во Франции, в ФРГ (дважды), в Польше (тоже два издания).

В Бразилии только что вышло исследование о прозе Маяковского.

Приезжали недавно к нам шведы, привезли «Баню» и сборник стихов «Во весь голос»... «Облако» у них вышло раньше.

Когда-то один самоуверенный читатель бросил Маяковскому, что

**МАЯКОВСКИЙ
СЕГОДНЯ**

его стихи долго не проживут, что бессмертие не его удел.

— А вы заходите через сто лет, — отвечал Маяковский. — Там поговорим...

Ну что же! Половина этого срока уже прошла...



**Рита
РАЙТ:**

Уже сказаны все большие слова, уже написана гора книг — на всех языках, на всем земшаре.

Мир огромил мощью голоса — и застыл бронзовый, суровый, на своей площадке, у своей станции метро, где не ржавеет сталь и где, далеко запрокинув голову, видишь веселую физкультмозаику.

И все же часто становится грустно. Еще помнишь теплую руку, запах папиросы, ласковые карие глаза. И от стального Бессмертия хочется уйти в ту, давнюю живую жизнь. Тогда берешь его книги и слушаешь — в который раз, — как жил, о чем думал, что любил.

И кого любил.

...Однажды Гете написал не то в письме, не то в дневнике, что любил «ее» больше всех на свете. В посмертном издании — при жизни не осмелились бы! — дошлый гетевед сделал примечание:

«Da irrt sich Goethe!» («Тут Гете ошибается!»).

А на самом деле гении никогда не ошибаются: он точно знает, перед кем он в долгу, какое пробитое пулями знамя он защищает, кого любит — неизменно и верно. Все закреплено в стихе крепче

бронзы многопудья и мраморной слизи музеев.

Живет — четырежды омоложенный — в достоверности каждого своего слова.

Потому, читая, и видишь его опять — иногда в самых пустячных, но милых мелочах, в самых случайных обрывках памяти.

..Вот счищает крупинки золы с яблока, испеченного в ростинской «буржуйке», и на робкое: «Это же чистая грязь, ее можно есть», — ворчит: «Это медикам можно, а людям нельзя!»

Вот играем в шашки, «на pozor», и после молниеносного проигрыша приходится бить земные поклоны перед дачными воскресными гостями и трижды повторять: «Прости, господи, меня, глупую, за то, что осмелилась пойти против Володи».

Слышишь явственно, как, шагая по террасе, басит переиначенные строки Гейне: «Их бин айн руссшер дихтер, беканнт им руссишен ланд».

Вспоминаешь малоизвестные надписи на книгах. Ленинградскому врачу, лечившему его от ангины: «Милому доктору для внутреннего употребления».

Или негритянскому поэту Клоду Мак-Кэй: «Красному черному от красного белого».

Десять лет — с двадцатого по тридцатый год — видела его и в РОСТА, и дома, и в цирке, на репетициях немецкой «Мистерии-Буфф» (до сих пор не понимаю, как у меня хватило пороку ее перевести!). Видела на всех выступлениях в Ленинграде, Москве, Ялте.

Моя с ним последняя встреча в Ленинграде в тот сырой предвесенний день, когда уже мрачнел, жаловался на большое горло: «Скажите честно, это не рак?»

Десять лет — сначала изо дня в день, потом, приезжая из Ленинграда два-три раза в месяц, при

разных обстоятельствах, с разными людьми.

И свидетельствую: всегда был верен себе, верен друзьям, верен своему делу, своей любви...

Читайте Маяковского — все подтверждено:

«...строкою вот эту, нигде не бывшею в найме...»



**Имант
ЗИЕДОНИС:**

Он не умел мельтешить. Это не значит, что его часы показывали другое время. Время они показывали то же, что и всякие ходики, но шаг их маятника был иной и бой громок.

Он предчувствовал огромность запахов и расцвет огромных цветов.

В мельчайших частицах звуков он слышал грохот горного обвала.

Он дробил камни, когда другие лузгали семечки.

Кто-то гладил против шерсти пуделя, он дергал за хвост динозавра.

Он загонял гвозди в небо и называл их звездами.

Сн головою бил в барабан. Раньше никто не считал барабан достойным головы.

Когда вы его декламируете, не кричите с ним вместе, вам его не перекричать. Читать его надо шепотом. Совсем-совсем тихо, только так можно ощутить мощь его голоса. Да, у него была глотка. У него был могучий голос природы — лягушек, тигров, младенцев. Потому что все-таки он был ребенком. У него были честность и чувство справедливости, присущие ребенку.

Был ли он еще и поэтом? А если да, то был ли он великим поэтом?

Это кажется невероятным, но именно так ставился вопрос.

В 1930 году начались первые нападки на Маяковского и в буржуазной Латвии.

Газета «Социал-демократ» под-



хватила тезисы московских врагов поэта: «Да будет позволено нам сравнить его появление и уход из жизни с бенгальским огнем, ярко вспыхивающим, радующим глаз, но оставляющим после себя пятнистый нагар и душливый запах. Напрасно вы станете искать в его поэзии озаренность и ясность, вдохновляющий порыв чувств и разума, радость жизни и одержимость борьбы».

В чем только не упрекали Маяковского! Он, мол, о величайших событиях истории и о великих мира сего говорит в фамильярном тоне... Но разве этот стиль его поэзии не пытался возродить чувство собственного достоинства униженных, оскорбленных масс?

Что он, мол, эгоцентрик, безответственный вития... Но ведь здесь очевиднейшим образом стилистическое «я» подменялось философским. «Его» Маяковского — не глашатай эгоизма, оно не развенчивает гуманистическую сущность человека.

Мол, сила его ничего не стоит...

Упрекали, что одна страница Достоевского дает большее представление о психологии пролетария, чем все книги Маяковского... Но ведь и стиль Маяковского был иным, он требовал жизни спонтанной и взрывчатой. В психологическом многообразии мира катарсис его стиха нельзя ни принимать, ни сравнивать (по пятибальной системе) с катарсисом Достоевского. Труд и того и другого направлен на оздоровление человеческих душ.

Неужто все это еще надо доказывать? Нет, Маяковский доказал себя сам. Но агрессивный стиль Маяковского всегда будет шокировать. В момент нападения любой человек прикрывается хотя бы локтем, поднятым на высоту плеч.

И сегодня еще часть читателей прикрывается от стиля Маяковского локтем непонимания.

Нельзя все это доказать на двух страницах. В Риге готовится театральная постановка по стихам Маяковского. Ее режиссер — Петер Петерсон. Латвийский поэтический театр, по-моему, остается самым интересным в стране. Добро пожаловать в Ригу, друзья и поклонники Маяковского!

Ну, а относительно того, что сегодня нужен Великий Голос и Великий Слушатель, — так это все верно, верно. Тем более что все мы чувствуем себя столь великими. И очень полезно прочитать нечто истинно великое, чтобы почувствовать разницу между величием и бахвальством.



**Борис
СЛУЦКИЙ:**

И сейчас он самый цитируемый из всех поэтов. Если Грибоедова растаскали на пословицы, Маяковского разобрали на цитаты. В передовых статьях, в речах («планов громадьё»), в прощальных письмах («любовная лодка разбилась о быт»), в школьных сочинениях на вольную тему, в вольных сочинениях на любую тему.

Стало быть, о множестве предметов, притом важнейших, никто за эти 43 года после смерти поэта не сказал лучше, глубже или новее Маяковского. Недаром он приходит на ум с такой железной последовательностью.

И поныне Маяковский — самый спорный из наших поэтов. Когда слышишь: «Не люблю Маяковского», — это говорит о многом. Чаще приходится слышать: «Очень люблю Маяковского». По-разному его любят очень разные люди. И спорят о нем по-разному — на всех уровнях.

Ни об одном из поэтов мира не говорят, не пишут столько, сколько о нем. Никого у нас столько не издают. Одним словом, он живой. Сегодняшний. Всех касающийся. Как будто не 43 года прошло со дня его ухода — 43 дня.

Маяковский — самый авторитетный из примеров поэтического поведения. Он признанный вождь действующей поныне поэтической школы. Школы Пушкина, по крайней мере твердо очерченной, сейчас нет, как и школы Лермонтова. Школа Маяковского, как и школа Некрасова, есть. Для целого поколения талантливых людей, выдвинувшегося в 50-х годах, характерно было пунктуальное подражание

не только образу, но и манере, не только сути, но и деталям, не только поэтическому, но и бытовому поведению Маяковского. Не два личных друга и соратника (как в начале 30-х годов), а тьмы, и тьмы, и тьмы поэтов называют себя учениками Маяковского. Почти всегда — с некоторым правом.

Под Маяковского пишут, под Маяковского читают и острят с эстрады. По Маяковскому любят. Лирический роман, им пережитый и созданный, — а лирические романы для любой культуры так же важны, как национальные галереи и кафедральные соборы, — роман жизни Маяковского до сих пор не утратил ни прелести, ни влияния.

40 лет тому назад мои товарищи усваивали первые уроки поэзии по небольшой, крепенькой книжке в почему-то розовой обложке — так Госиздат издал Маяковского в своей «Дешевой библиотеке». Иной раз кажется, что весь народ учился поэзии по этой книжке.

Настолько все эти «самый, самый, самый» сливаются в простое слово — «любовь».



**Изет
САРАЙЛИЧ**

(югославский поэт):

Большого соответствия поэзии двадцатому веку, нежели то, какое являет собой Маяковский, едва ли можно и представить себе.

До него господствовала идиллия: прогуляется человек по аллее, со-

**МАЯКОВСКИЙ
СЕГОДНЯ**

рвет цветочек и обо всем этом пршепчет в каком-нибудь сонете.

Пришел Маяковский, и все перевернулось вверх дном.

Он и небу приказал снять шляпу. И небо его послушалось.

Вот Блок. Оставляет в передней кашоши, шубу, говорит, покойный, что-то о погоде; и с ним, усевшись в кресле, попивая кофе, можешь постолковать даже об опечатках!

А Маяковский попросту не дозволяет разговора меньше масштабом, чем залп «Авроры».

Мы женимся на девушках, которых полюбили в гимназические годы, а он берет себе в жены площадь Конкорд в Париже.

И хотя этого человека, у которого и телефонный-то разговор напоминает извержение Этны, которому давало аудиенцию лично солдце (или он сам солнце принимал у себя), мы наградили орденом своих чувств первой степени, каждое новое размышление о нем сводится всегда к одному: насколько большими оказались бы шансы на память о нас в будущем, ежели бы мы писали — до него?! Потому что он — каков человек! — он и в 1999 год придет и всех нас скинет с корабля современности!

Двадцатое столетие уполномочило его осуществлять связь с веками.



**Сергей
ЮТКЕВИЧ:**

Для меня необыкновенно важным был тот момент — в пятидесятых годах, — когда мы вместе с главным режиссером Московского театра сатиры Николаем Петровым и Валентином Плучеком рискнули вернуть на столничную сцену «Баню» — пьесу, которая четверть века считалась несценичной, и нам предстояло дока-

зать, что это не так. Через год мы вместе с Плучеком поставили и «Клопа». Задача была сложная, но многие сложности сдавались перед поразительной страстью и увлеченностью всего коллектива театра этой работой. Я был и художником обоих спектаклей.

В известной мере это было перепрочтение. А сегодня уже стали театральной классикой многие роли-открытия: Владимир Лепко — Оптимистенко в «Бане» и Присыпкин в «Клопе», Георгий Менглет — Победоносиков и Олег Баян, Георгий Тусузов — в «Безмолвной» роли гостя на свадьбе в «Клопе». И каждый из нас, участников тех премьер, уже не мыслит своей дальнейшей творческой жизни без Маяковского. Не случайным, по моему мнению, сочинением для композитора Родиона Щедрина после фильма «Баня» стала его сатирическая кантата «Бюрократиада» (хотя написана она и не на текст Маяковского). И не случайно утвердилась на музыкальной сцене «несценичная» драматургия Маяковского — в опере молодого композитора Эдуарда Лазарева «Клоп». Не случайно потому, что все мы ищем себя в творчестве Маяковского, и поиск этот беспределен...

Вместе с режиссером Анатолием Карановичем в 1962 году мы попробовали осуществить киноверсию «Бани» Маяковского. В этом фильме главенствовала мультипликация, которую, кстати, Владимир Владимирович тоже очень любил, а его высказывание о том, что герои его пьес — это «оживленные тенденции», во многом подсказывает как вариант решения именно средства мультипликации: они помогают с большей полнотой выразить ту высокую степень агитационной обобщенности, к которой так стремился Владимир Владимирович. Тогда же мы подумали, что возможности мультипликации (и не только они) могут помочь и осуществлению на экране замечательной сатиры Маяковского «Клоп» и его непоставленного сценария «Позабудь про камин». И вот сейчас на «Мосфильме» совместно с киностудией «Союзмультфильм» мы приступаем к съемкам картины «Маяковский смеется» — вольной фантазии по мотивам пьесы и неосуществленного сценария. Жанр этого фильма я определил бы, пожалуй, как фильм-коллаж: в нем будут участвовать и живые актеры, и куклы, и рисованные персонажи, в нем будут использованы и документальные кадры, и фотографии, в нем задумана нами даже пародия на вестерн. Думается, мы имеем право на использование такого разнообразия приемов —

оно оправдано самой сущностью драматургии Маяковского. А проблема, положенная в основу «Клопа», что греха таить, еще весьма и весьма злободневна — борьба с мещанством в самых разных его обликах и видах. Еще жива, к сожалению, и у нас и — в особенности — за рубежом питательная среда для мещанства, и молчать об этом, не бороться с этим мы, художники, не имеем права.

Будущий наш фильм должен быть и сатирическим, и буффонным, и комедийным изображением нашей эпохи. В нем будет много музыки (ее пишет композитор Владимир Дашкевич). Маяковский сам говорил, что агитация должна быть броской, веселой, острой, «со звоном», — вот именно это мы с Карановичем попробуем сделать.

И еще одной работой, связанной с Маяковским, я очень увлечен сейчас. Маяковский — актер кино. Эти странички его жизни почти незнакомы нынешним зрителям. Из трех фильмов, в которых снялся Владимир Владимирович, сохранился только один, а от двух других остались лишь фотографии и крохотные обрывки пленки. Мы собрали для этого фильма все, что сохранилось из фотографического и кинематографического материала с участием Маяковского. Я решил ввести туда стоп-кадры, то есть остановить те крупные планы Маяковского, потрясающие по своей выразительности, чтобы зрители могли по-настоящему рассмотреть живого Маяковского. И хотя по литературной основе своей (Маяковский написал сценарий по повести итальянского писателя Д'Амичиса) «Барышня и хулиган» — это сентиментальная мелодрама, тем не менее финал фильма, когда герой Маяковского гибнет, — это потрясающие по силе трагические кадры. Погибает человек необычайной красоты, необычайно сильного чувства, но в памяти у нас остается его прекрасное живое лицо.

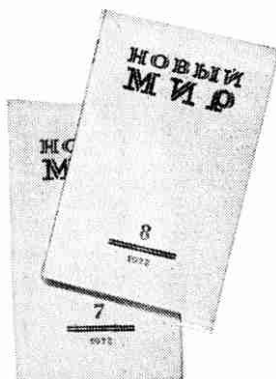
Я убежден, что Маяковский — необыкновенно «киногеничный» поэт. К нему вновь и вновь (и к автору и к сценаристу) будут обращаться кинематографисты. Поэтому я прихожу к восьмидесятилетнему юбилею Владимиру Владимировичу как ныне живущему среди нас поэту, как приходил к нему в течение десяти лет своей юности, когда мне выпало счастье его знать.

**МАЯКОВСКИЙ
СЕГОДНЯ**



**ЕВГЕНИЙ
СИДОРОВ**

ОСТАНОВ- ленное МГНОВЕНИЕ



Талант Валентина Катаева крепнет с годами подобно старому прекрасному вину. Писателю семьдесят шесть — но его острое, живописное перо не только не теряет упругую силу, но, кажется, наоборот, обретает все большую точность. Одна за другой выходят его книги — «Святой колодец», «Трава забвения», «Кубик», и вот перед нами новая работа Катаева, роман в новеллах, воспоминания о собственном детстве — «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона». Эту книгу опубликовал в прошлом году журнал «Новый мир», сейчас она вышла отдельным изданием.

Волшебный рог писательской памяти дарит читателю пеструю мозаику эпизодов, историй, впечатлений, состояний, из которых складывается жизнь маленького мальчика, потом подростка, гимназиста, живущего в Одессе начала нашего века. «Память уничтожает время» — эта мысль, встреченная Катаевым в «Дневниках» Льва Толстого, дала толчок замыслу его новой книги, в которой воспоминания, образы, полные земной, чувственной прелести, толпятся как бы в беспорядке, следуют одни за другими не в

хронологической последовательности, а подчиненные иной, поэтической ассоциативной идее. Ведь воспоминания у каждого человека не обладают, как правило, стройностью посылаки и вывода; они именно «толпятся», и в этом, между прочим, выражается одна из непреходящих ценностей человеческого бытия, осознающего себя во Вселенной, во всем, что окружает человека. Каждый из нас чувствует себя здесь — и одновременно, силой воображения и памяти — в другом месте, в другом состоянии, в прошлом и в будущем: в истории. Катаев глубоко понимает эту диалектику, и осколки детской жизни, разбитой воспоминаниями, постепенно складываются уже силой нашего, читательского сознания в стройную художественную картину.

В этой картине много солнца, моря, звящего зноя, пряного запаха одесских акаций. Мир Пети и Гаврика, белого паруса, одиноко уходящего к горизонту, словно возвращается к нам знакомыми, но уже преображенными временем очертаниями. Романтическая дымка кое-где осталась, но господствует все же суховатая, зрелая точность, всюду видны следы скальпеля, всюду ястребиный взгляд художника, не терпящий приблизительности, схватывающий самую суть вечно мира. Мастерство описаний достигает той степени пластической виртуозности, когда кажется, стоит писателю сделать еще один шаг — и искусство уйдет, останется одна изобретательность, изощренная опытом мастера. Но Катаев почти нигде не делает этого рокового шага. Он внимает слову чутко, почти первобытно, возвращает миру прелесть и неповторимость его деталей, и, читая катаевский роман, мы с наслаждением слышим, как цокают копыта по сухой звонкой мостовой, как хлопают голубиные крылья, как трещит вода, вылетающая из шанга садовника, как шуршит гравий и шелестят акации — в общем, все те звуки, уносимые куда-то морским ветром, которые составляют музыку приморского города, недоступную взрослому, если он не художник, но всегда понятную ребенку.

В этот мир сначала безмятежного детства на стойчиво врываются звуки грядущих социальных перемен. В жизнь подростка властно входят мысли о родине, о ее судьбе; слышатся далекие удары колокола революции.

Время и память — главные герои последних книг Катаева. На столе писателя новая рукопись, еще дальше уходящая корнями в историю. Он пишет повесть о своем деде и прадеде, чьи дневники недавно попали к нему, пробив толщу времен. Случилось так, что предки писателя, офицеры русской армии, сражались в тех же краях, где воевал и сам Катаев, участник первой мировой войны, вольноопределяющийся, а затем офицер-артиллерист, награжденный именным оружием «За храбрость». Лета выбросила на катаевский берег драгоценные документы, страницы, исписанные выцветшими, пожелтевшими чернилами, о походах и страстях далекого времени. «Минувшее меня объемлет живо». Искра документа зажигает огонь фантазии.

О Катаеве сегодня много спорят. Его изобразительный стиль, идущая от живописи страстная сезанновская любовь к вещному миру иногда заслоняют человека, и тогда музыка катаевской прозы начинает звучать холодновато. Так бывает, но в конечном итоге побеждает искусство, преодолевая остроту взгляда, взрываясь сопереживанием, грустью, поэзией.

Живая память писателя действительно уничтожает время и останавливает мгновение, делая его нашим общим достоянием.



свет, Арчилу не без особого значения показали дерево, посаженное его прадедом, дерево, под которым мальчишкой бегал отец Арчила.

Сочно, с истинным юмором описывает прозаик Герберт Кемоклидзе («В ожидании весны», «Молодая гвардия», 1972) знаменитое грузинское гостеприимство. И рассказ этот — «Орех прадеда Нико» — так и воспринимался бы как занятный, забавный, ни на что не претендующий этюд, если бы не тот неожиданный поворот, который круто меняет и тональность и смысл повествования: Арчил никогда не задумывался о том, что такое родина... «Ему еще только предстояло увидеть все то, о чем он читал, что слышал от отца, но он уже сейчас предчувствовал, что без толстого прадедовского ореха, возле которого он стоит, жизнь его будет неполной и неестественной и он еще не раз вернется на это место. Он лег на землю, закинул за голову руки, и ток отцовской земли стал проникать в него и растекаться с кровью по телу».

Переход от юмора к патетике, к серьезному и высокому содержанию произошел в рассказе неожиданно и внезапно. И вместе с тем — это органичный, закономерный для молодого прозаика поворот. В рассказах Г. Кемоклидзе свободно чередуются разные, подчас противоположные стилистические пласты. Автор, мне кажется, сознательно к этому стремится, как стремится он и к разному образу эмоциональных состояний своих героев. И здесь прозаику тоже интересны промежуточные, переходные моменты. Именно так — на постоянной смене настроений героя — построен рассказ «Экскурсия». Молодой шофер Витька Скворцов присматривается к пассажирам, мысленно сопоставляет судьбу каждого из них, и, в зависимости от того, насколько лестно для него сравнение, Витька попеременно испытывает то иронию, то злорадство, то зависть.

Герберт Кемоклидзе, очевидно, знаком читателям как интересный, оригинальный сатирик. В свое время на международном конкурсе сатирического рассказа он был удостоен премии «Золотого молодого ежа». Несколько лет назад в «Библиотеке «Крокодила» у Г. Кемоклидзе вышла небольшая книжка. И вот теперь перед нами — сбор-

ник рассказов «В ожидании весны», которым, в сущности, дебютирует прозаик. В этой книге можно встретить и сарказм и юмор, свойственные сатирику. Но есть в ней много такого, что не исчерпывается содержанием сатирических рассказов, а равно и рассказов лирических. Я вообще затрудняюсь точно определить «рубрику», под которую можно было бы подвести прозу Герберта Кемоклидзе. Думаю, это и не обязательно. Вполне достаточно будет сказать, что рассказы молодого писателя — хорошая, настоящая проза.

Валерий ГЕЙДЕКО



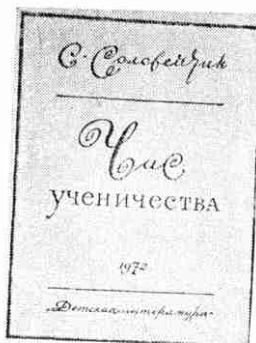
ЧАСЫ И ВРЕМЯ

Кроме того, что стихи о Пушкине — это всегда стихи о России, у них есть еще одна обязательная особенность. Ярче других они оттеняют для читателя меру вкуса и нравственной чуткости автора. Вот почему стихотворение «Я шел вдоль Мойки никуда...», вошедшее во вторую книгу Ю. Ряшенцева «Часы над переулком» («Советский писатель», 1972), воспринимается как свидетельство эстетической и этической зрелости поэта.

Книга стихов Ю. Ряшенцева скроена ладно и в основном сшита крепко. Главная задача автора не проследовать по завиткам биографии, но попытаться постигнуть линии судьбы человека середины двадцатого века. И память героя книги предстает в двух ипостасях: стихи «воспоминания» и стихи «возвращения» четко выделены в разные циклы — «Пробуждение» и «Телеграмма из прошлого».

Между ними вклинивается цикл «Странный возраст» («Что за возраст окаянный, опрокинувший преграды, размышляющий со старцем, сумасбродящий с юном?»).

Стихи этого цикла пронизаны ощущением расованности, кипения жизненных сил в человеке, сменивших вчерашнюю юношескую смятенность и неуверенность. От них веет обаянием зрелости, радостью прибывающей силы, счастьем чувствовать наливающиеся мускулы мастера.



МНОГООЗНАЧНОСТЬ ПРОЗЫ

Арчилу Кобахидзе выпала возможность поехать в Грузию, где у него жили родственники и где он никогда еще не был. Как только Арчил ступил на грузинскую

землю, он буквально утонул в объятиях незнакомых людей, с трудом представляя, кто из них его родственник, кто — друг родственника, а кто — родственник друга. Бесчисленные пиршества, пространные тосты, пыльные эмоции... А когда в застолье выдался небольшой про-

Однако поэт и в «странном возрасте» тревожит:

Но чувство есть
во мне всегда:
вот вспыхнет—что:
свеча? звезда? —
и встану в грозной
тишине,
и неостанет
слова мне.

Больше, чем искусному, отточенному мастерству Ю. Ряшенцева — изяществу строфики, точности определений, легкому и свободному течению поэтической речи, — внимательный читатель порадуется этой тревоге, пронизавшей стихи последнего цикла «Полночная вода». Ибо они активны — в них и стремление вырваться из силков уже достигнутого, обрести новые, весомые стихотворные качества, и поиски путей, на которых судьба лирического героя впишется в сегодняшнюю судьбу матери-Родины.

Ю. ЛЯХОВ

«МОЯ ЛЮБОВЬ — МОГУЩЕСТВО МОЕЙ»

К аким должен быть сборник стихов о любви для старших школьников? Для возраста, в котором человек, как никогда, открыт всему благоприятному и красивому и в этом стремлении иногда легко путает настоящую поэзию с душещипательной безвкусицей (ведь и она внешне очень «нравственна»)?

Книга стихов о любви, вышедшая в издательстве «Детская литература», честно говорит о жизни и честно — о любви. В этом сборнике нет детские стихи. Там стихи для начинающих жить. Стихи для воспитания души и воспитания вкуса. Стихи, без которых нет юности.

В книге — имена классиков и в разной степени известных поэтов. Все они отвечают на один вопрос о любви: «Скажите, скоро? А она какая?», — на вопрос, о котором написал стихотворение Е. Евтушенко. Ответов может быть тысяча. А может быть и один, данный М. Лукониным: «Никогда никого не спрашивайте об этом... Не пишется это, не слышится. Дышится просто...»

А как живет человек с таким дыханием?

Бредет босая, в мой пиджак одета.

Она поет на кухне поутру.
Любовь? Да нет!
Откуда?! Вряд ли это!
А просто так:
уйдет. И я умру.
(Е. Винокуров.)

Ну, а если все-таки уходит это счастье? Все равно. «Нет невосприимчивых миров, нет мнимо розданных даров, любви напрасной тоже нет...» — говорит О. Берггольц.

Все это для юности, о любви, от поэтов. От поэтов, которые, однако, сами говорят:

Ликуйте или страдайте
один
И не верьте поэтам,
Поэты

и сами себе-то
не могут помочь.
(М. Луконин.)

Есть над чем задуматься — и спорить хочется, и верить тоже. Те стихи, которые в сборнике, — трудные и глубокие. Тут не разложишь по полочкам, как надо жить, а как не надо, как бывает в любви, а как не бывает. Здесь, как в жизни, все сложно, здесь нет никаких рецептов. Не используйте поэзию как инструкцию — сами открывайте, сами любите, сами обогащайте свою духовную жизнь. Ведь поэты доверяют вам многое, многого ждут и от вас. Задавайте вопросы, даже пустые, например, есть ли вообще любовь — об этом часто рассуждают подростки... Спорьте и сомневайтесь. Поэты не будут вас поучать. Они просто расскажут вам, как сделать жизнь своего сердца беспокойной и радостной. Они учат этому, рассказывая о себе.

Все это вместе мир советской поэзии, бесконечно богатый интеллектуально и художественно. Сборник «Стихи о любви» для юношества вышел уже вторым изданием и, конечно, доставит много счастливых минут своим читателям.

Т. ЕФРЕМОВА

РАДОСТЬ БЫТЬ УЧЕНИКОМ

В ышедшая недавно вторым изданием книга Симона Соловейчика «Час ученичества» («Детская литература», 1972) обращена не столько к тем, кто решил связать свою судьбу с педагогикой, сколько к тем, кто видит в учительстве нечто весьма однообразное, мало подходящее для реализации честолюбивых юношеских намерений.

С. Соловейчик далек от мысли немедленно обратить всех читателей в учительскую веру. Он просит немногого: непредвзятости, доверия, умения видеть и понимать. И скажем сразу, что юноши и девушки, проявившие такое доверие к книге «Час ученичества», не раскаются. Они в самом деле узнают много интересного. О том, что единственной сферой, где потерпели крах решительные начинания Петра I, было школьное образование. О том, каким гениальным учеником и недюжинным педагогом остался в памяти народной крестьянский сын Михайло Ломоносов. О том, почему мы говорим, что А. С. Макаренко нашел сотни усовершенствований педагогической техники, сделал десятки изобретений и одно-единственное, но великое открытие...

Все это важно, необыкновенно интересно, но гораздо важнее, следуя за ходом авторской мысли, понять, что изучение прошлого — самый экономный путь познания настоящего, убедиться в том, что ученичество и учительство в самом широком смысле этих слов — одна из самых ответственных и счастливейших обязанностей человека. Этим истинам, без глубокого проникновения в которые никто не вправе считать себя личностью, и учит темпераментно написанная книга С. Соловейчика.

Сергей ЧУПРИНИН

С ЛЮБОВЬЮ К ГЕРОЯМ

В идим, Михаил Левидов, автор вышедшей почти сорок лет назад в серии «Жизнь замечательных людей» книги «Стейниц. Ласкер», одним из первых понял, что рыцари черно-белых полей действительно замечательные люди.

Не игроки, а стратеги, не любители интеллектуального спорта, а мыслители, не искатели удачи, а искатели истины. Однако книга эта, по видимому, в какой-то мере опередила время. Ловилось несколько десятилетий, чтобы истинное стало очевидным.

Теперь мало кого удивит обостренный интерес писателя к шахматам и шахматистам. Уже нет сомнений, что перед на-

ми искусство, в котором характеры реализуют и выражают себя.

Выражают себя с тем большей полнотой, чем больше, чем значительней сами характеры.

Внимание читателя заслуженно привлекла книга Виктора Васильева «Загадка Таля. Второе «я» Петросяна» («Физкультура и спорт», 1973). Книга эта не залежалась на прилавках магазинов по многим причинам. Здесь и интерес читателя к личностям выдающихся гроссмейстеров, и возросшее уважение к делу их жизни, и желание приобщиться к этому удивительному миру, некогда рожденному человеческой мыслью и самому ставшему источником идей.

Однако есть еще одно немаловажное обстоятельство, обеспечившее книге Васильева читательское признание — она хорошо написана. Она написана рукой человека, чувствующего вкус слова, музыку фразы, ритм повествования. Она написана литературным, умеющим войти в образ героя, ощутить его изнутри и потому воплотить зримо, убедительно, достоверно.

Васильев любит своих героев, хотя, быть может, по-разному. Любовь к Талю — нежная, почти отцовская, он им гордится, любит, иногда жалеет. Любовь к Петросяну — уважительная, ровная. Это — прочное, проверенное временем чувство, в нем нет возторженности, но есть основательность. Самое важное, что эта любовь автора передается читателю: когда он закрывает книгу, и Таль и Петросян для него уже не чужие люди.

Домыслил ли что-либо Васильев в своих героях? Быть может. Во всяком случае, почувствовал. Но какой исследователь откажется от права на догадку, когда он пытается постичь суть явления? Право это законно и предусмотрено избранным им жанром биографической повести.

Леонид ЗОРИН

*Мне стыдно
за них!*

Дорогая редакция!

Хочу поделиться с вами
своим возмущением,
хотя некоторые могут сказать:
«А какое тебе дело?

Пройди и забудь.
Тебя ведь это не касается».

Но как же так?!

Человек попал в беду,
истекает кровью,
ему нужна помощь.

Приехал врач, подошел
к трамвайной остановке.

Но ведь один он не донесет.

А рядом стояли школьники
восьмых-девярых классов.

Их попросили помочь.

Но не тут-то было.

Они побоялись испачкать руки.

И двое стариков помогли врачу.

А эти «получеловеки» стоят

и насмехаются.

И когда диспетчер

трамвайного управления

не выдержала и сказала,

что они звери,

так что вы думаете?

Они оскорбились и попросили ее

выбирать выражения...

Мне стыдно за них!

Эти школьники спокойно

пошли в кино.

И, может быть, они смотрели фильм

о подвиге. И думали:

«Вот бы нам совершить такой же».

И они же не выполнили

самого первого своего долга:

не помогли человеку в беде.

А человеческая помощь

нужна всегда и везде.

Она может потребоваться

от каждого неожиданно,

и надо быть готовым тут же ее оказать.

Это не единичный случай,

такое встречается нередко.

И попробуй сделай замечание!

Иной малолетний ребенок

так тебе ответит,

что ты долго не опомнишься...

Как же так?

Я сама еще молодая,

мне двадцать лет,

но не могу понять,

как могут поступать так и юноши,

и дети, и некоторые родители.

Не могу понять подобных людей.

Обида наполняет душу.

Как жить?

Как проходить мимо них?

Как научить их долгу отзывчивости?

С уважением

Светлана КАЛИНОВА



О ВОСПИТАНИИ СОВЕСТИ

Уважаемая Светлана! В своем письме вы и спрашиваете и отвечаете. И вы, конечно же, правы, когда пишете: «А человеческая помощь нужна всегда и везде. Она может потребоваться от каждого неожиданно и надо быть **готовым** тут же ее оказать».

Я выделил слово «готовым». В том-то и дело, что надо быть готовым. Но далеко не все бывают готовы прийти человеку на помощь. Казалось бы, как все просто: с человеком случилась беда, а ты можешь помочь ему. Ты молод, ты силен, а от тебя только и требуется, что поднять попавшего в аварию человека. Поднять и уложить его на носилки. Так кидайся же, не раздумывая, на помощь, подставляй свои плечи — помоги!!

Чего проще? Но простые ответы, как и простые решения, Светлана, подобны айсбергу. Над водой лишь малая часть всей глыбы, всей проблемы. Над водой лишь бросок вперед, только само собой разумеющийся ответ. А под водой? А там — большая часть глыбы, которая эту верхушку и держит. Эта подводная часть в нравственных проблемах — это наше воспитание. Это то, какие мы сыновья и дочери, какие друзья. «Надо быть готовым...». Даже самый крошечный добрый поступок невозможен без подготовки всей твоей жизнью. Себялюбец, эгоист, маменькин сынок — нет, он не кинется к попавшему под трамвай человеку. Он отвернется, пройдет мимо, отговорится, отмахнется и, верно, убьется запачкать чужой кровью руки или костюм.

Собственно, и этого человека жаль, того, кто отвернулся от чужой беды. Ведь смолоду бессовестных людей не бывает. Бывают люди с неразвитой совестью.

Воспитание совести начинается с самого раннего детства, когда мать учит ребенка пожалеть старика и уступить ему место в трамвае или автобусе. С той минуты, когда сам малыш поделится своей шоколадкой или отдаст игрушку другому, пожалеет ушибленного или голодного щенка, заступится за обиженного товарища, смело признается в своей шалости. Видимо, тех ребят, о которых идет речь в письме, с детства этому не учили ни дома, ни в школе.

Хочется верить, что вы сами, Светлана, бросились на помощь врачу, но не написали об этом из скромности.

Лучшее воспитание — не укор и чуж, конечно, не оскорбления. Лучшее воспитание отзывчивости — добрый пример!

С уважением

Лазарь КАРЕЛИН



Я + Я = СЕМЬЯ

Продолжаем разговор о проблемах молодой семьи. Эта тема взволновала многих читателей. В письмах они рассказывают о себе, своей семье, делятся своими взглядами на брак, задают нам вопросы. Очень многие касаются интимных отношений мужчины и женщины. Уже в первом диалоге («Юность» № 1) Она заявляла: «Я не верю в физическую несовместимость». Помните?.. Эта реплика породила многочисленные письма. Некоторые опровергают Ее слова, другие согласны... Мы предлагаем вам небольшую статью профессора Павла Борисовича Посвянского и репортаж нашего корреспондента о ленинградской консультации по вопросам семьи. И, как всегда, ждем ваших писем по поводу этой нашей публикации.

О ВЕЩАХ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ МОЛОДЫМ СУПРУГАМ

П. Б. ПОСВЯНСКИЙ,

доктор медицинских наук, профессор, заведующий
отделением сексуальной патологии Московского научно-исследовательского
института психиатрии Министерства здравоохранения РСФСР

Меня как сексолога заинтересовала публикация «Я + Я = СЕМЬЯ» и письма читателей по этому поводу, напечатанные в № 1 и в № 5 вашего журнала.

Читая диалог молодых супругов, я в силу своей профессии обратил, конечно, внимание на реплику Ее о том, что Она не верит в «физическую несовместимость». Действительно, физическая несовместимость супругов с медицинской точки зрения явление весьма редкое, относящееся к области грубой патологии. Однако я понимаю, что Она вкладывает в это понятие иной смысл, который современная сексология определяет как «дисгармонию сексуальной жизни» супругов. Вот это — явление довольно частое.

Уже сама парность половой жизни заключает в себе социальный и психологический смысл, так как это объединение, слияние двух людей предполагает взаимное влечение, любовь, при которых естественное чувство освящается всей глубиной человеческих эмоций и доставляет высокое наслаждение. Однако между супругами часто возникают противоречия. Иногда требования, предъявляемые молодыми людьми друг к другу, могут быть неверными, неправильными, чрезмерными, и это подчас связано с оши-

бочными представлениями о половой жизни как мужчин, так и женщин. Порой сведения о сексуальной жизни почерпнуты от знакомых, друзей и подружек, из рассказов «бывалых людей» — короче, источников, мягко говоря, недостаточно авторитетных. Даже книги и брошюры могут дезориентировать неопытного человека. Ведь в книгах изложены средние параметры сексуальной жизни, и порой они примеряются к себе косоуго, как чужое, не идущее вам платье.

Очень правильно сказала в диалоге Она: «У всех свои ситуации». Это точная мысль. Во всем мире, наверное, нет одинаковой супружеской пары. И если ваша ситуация складывается неблагоприятно и вы в ней не в силах разобраться сами, то поможет вам только врач-сексолог на личной консультации обоих супругов. Я подчеркиваю о б о х, потому что дисгармония, бывает, зависит в равной степени и от мужа и от жены. В нашей лаборатории накопилась масса примеров, когда дело обстояло совсем не так, как представляли себе супруги, жалующиеся на дисгармонию.

Но хорошо, если поблизости есть сексологическая консультация, хорошо, если супруги решились обратиться туда. Нередко все бывает не так. Сексоло-

га в том месте, где живут супруги, вполне может не быть; либо он есть, но молодые люди стесняются к нему идти. А встречаются и вообще не знающие, что на свете есть врачи-специалисты, предмет исследования которых — интимная жизнь человека. Случаи, когда супружеская пара замыкается наедине со своей неблагоприятной ситуацией, кончаются порой трагически — озлобленностью, разрывом, разводом. Это очень обидно, потому что разрыва в большинстве случаев вполне можно было бы избежать, попробуй молодые супруги спокойно друг с другом, а потом и при участии врача-сексолога разобраться в своей дисгармонии.

Особенно опасна дисгармония, возникшая у очень молодых супругов. Порой молодой человек, терпящий неудачу в первую брачную ночь, считает себя неизлечимо больным, неполноценным, это приводит его к душевной травме и даже к трагическим ситуациям. Между тем почти всегда в этой неудаче ничего страшного нет. Ведь, кроме физиологических моментов, в первом сближении двух молодых людей присутствует масса психологических и психических оттенков, тонкостей, которые могут сильно повлиять на человека. Мы разясняем это молодым мужчинам и женщинам, которые обращаются к нам.

Молодежь надо успокоить — дисгармония в начале брака не только не редка, но, если хотите, в какой-то степени закономерна. Потом у них, как правило, все налаживается... Если, конечно, они по-настоящему любят друг друга.

На нашем счету немало семей, не распавшихся только потому, что в их ситуацию вовремя вник врач-сексолог.

Вот почему нам необходима широкая сеть сексологических консультаций. Уже в восьмидесяти городах работают врачи, прошедшие специализацию в

нашей лаборатории. Но этого еще очень мало для нашей обширной страны.

Однако молодые люди и сами должны обладать основами сексологических знаний. Половое воспитание надо начинать в семье, продолжать в школе, и уж просто необходимы курсы полового просвещения и сексологии в институтах, где мы имеем дело с вполне взрослыми людьми. А у нас в педагогических, юридических и даже в медицинских вузах студенты получают очень мало знаний в этом плане. Как же будущие педагоги смогут проводить тактичное и тонкое половое воспитание в школах?!

Нужна литература по вопросам половой жизни, хотя писать на эту тему трудно. Тут надо проявить не только высокий уровень научных знаний, но и человеческий такт и, я бы даже сказал, литературный талант. Попутно хочу заметить, что многие великие писатели были очень хорошими сексологами. Перечитывая Чехова, я всегда поражаюсь, какой он тонкий знаток интимных отношений. Рисуя самые глубинные движения человеческой души, Антон Павлович, как врач, всегда понимает подоплеку этих движений, тактично, деликатно об этом пишет. Чехов гораздо глубже проникает в сложные отношения мужчины и женщины, чем даже, скажем, Мопассан.

Что касается литературы популярно-познавательного характера, то тут мы должны присмотреться к опыту некоторых социалистических стран, ведущих пропаганду научных сексуальных знаний очень широко, умело и тонко.

Пора наконец придать вопросам полового просвещения не стыдливо-запретный, а научный характер.

У нас, у врачей-сексологов, задача только одна — чтобы было как можно меньше разладов между молодыми супругами и как можно больше счастливых семей.

БЕСЕДЫ О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ

Готовя подборку «Я + Я = СЕМЬЯ» в этом номере, мы побывали в Ленинграде, в учреждении, на дверях которого висит голубая вывеска:

ФИРМА «НЕВСКИЕ ЗОРИ»
УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИСПОЛКОМА ЛЕНГОРСОВЕТА
СЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОТДЕЛА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛКОМА ЛЕНГОРСОВЕТА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Сексологическая консультация, включенная в службу быта, — мудрое изобретение ленинградцев. Когда жених и невеста подают заявление в загс, им предлагают купить билеты на две лекции. На первую — о психологической совместимости мужа и жены, семейном бюджете и т. д. и на вторую лекцию, где отдельно молодым мужчинам и женщинам квалифицированные сексологи рассказывают о «тайнах» интимного общения двух полов.

Слово «тайна» мы поставили в кавычки, потому что на консультациях по вопросам семейной жизни идет речь о таких вещах, которые не должны быть столь таинственными для людей, решивших вступить в брак. Они, эти молодые люди, так и пишут в книге отзывов:

«Прослушав лекции, хочу сказать, что впервые открыл для себя то, что недавно казалось тайной».

После лекции о физической совместимости — ответы на любые вопросы аудитории. Квалификация и такт лекторов делают возможным обсуждение самой щекотливой темы.

«Оказывается, что об интимном можно говорить без тени напускного смущения, просто, душевно, с большой пользой для обоих полов».

Почти все записи в книге отзывов не подписаны. И это естественно. Приходя в подобное учреждение, люди не склонны называть свои имена. Работники консультации учли это: когда вы приходите на улицу Рубинштейна, 25, вас никто не спрашивает, кто вы. Однако, поскольку предприятие платное, администрации требуется квитанция о внесении денег за лекцию. А квитанция — это фамилия вносящего деньги... Перед организаторами консультации встала проблема: как, обойдя квитанцию, соблюсти правила финансовой отчетности? Эта проблема была умно решена. Приобрели обычный кассовый аппарат. Посетители консультации, заплатив деньги, получают взамен безымянный чек, как в магазине. Врачебная этика победила возникшие было бюрократические обстоятельства.

Те, кто не может прийти на улицу Рубинштейна, 25, пишут по этому адресу письма. Из Ростова-на-Дону:

«Скоро в моей жизни случится то, что называется свадьбой. Однако у меня масса вопросов, довольно интимных, связанных с этим событием. Они дают на

меня. А то, что я не могу разрешить их, угнетает и мучает».

Из Хабаровского края:

«Мне стыдно за свою безграмотность, но согласитесь, доктор, что в родном, не очень большом городе не так просто получить необходимые сведения».

А эти сведения очень нужны молодой семье. Сколько принимается поспешных решений, совершается опрометчивых поступков лишь потому, что молодые люди не посвящены в элементарные сексологические вопросы!

Один из посетителей консультации, скрывшийся под псевдонимом «Биолог», написал в книге отзывов:

«Поражен количеством «наивных» вопросов, которые задавали после лекции мои сверстники. Это убеждает в необходимости существования сети подобных учреждений, а не отдельно существующих секций».

«Я состою во втором браке, на лекции я нашел все свои прошлые ошибки, которые теперь постараюсь больше не повторять».

«Чрезвычайно сожалеем, что в наши времена (1960 год) не было подобного курса «ликбеза», так как из-за неосведомленности в простейших вопросах совершено много глупостей и зла.

С уважением супруги Исидоровы».

На этот раз муж и жена решили подписаться своей фамилией. Умудренные супружеским опытом, они, видимо, поняли, что ничего зазорного в посещении консультации по вопросам семейной жизни нет, что это — житейское дело, и дело очень полезное.

Просматривая список вопросов, которые обычно задают слушатели лекторам (этот список аккуратно ведется сотрудниками консультации), мы наткнулись на такой вопрос.

Спрашивает невеста: «Нужно ли рассказывать все, что мы узнали на этой беседе, своему будущему мужу?»

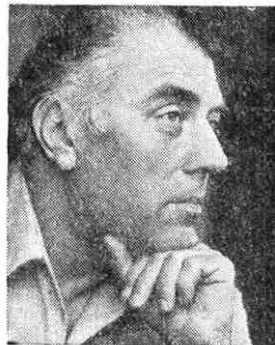
— И как вы ответили на этот вопрос? — обратились мы к консультанту Михаилу Владимировичу Цирльникову.

— Наши сексологические лекции читаются одновременно. Допустим, я беседую с женщинами. В это время в соседней комнате мой коллега читает лекцию мужчинам. Разумеется, комнаты звукоизолированы... Видите, мы специально обтянули стены тканью... Но, несмотря на полную разделенность, то, что мы говорим молодым людям, согласовано между нами, лекторами. И мы об этом предупреждаем слушателей. Я говорю молодым женщинам про определенные части моей лекции: «Это же рассказывают сейчас вашему мужу... Об этом вы должны знать чуть больше, чем ваш муж... А это ваш муж знать не должен...» Однако в интимном общении многое зависит от самих молодоженов, насколько они откровенны, насколько доверяют друг другу, сколь прочна и независима от всяческих обстоятельств их любовь.

Бытует такое мнение, что сексология — не что иное, как грубое вторжение в интимную жизнь людей. Это — глубокое заблуждение и даже невежество. Интимный мир двух людей — мужа и жены — сложен, только они двое могут разобраться в нем, никто не в состоянии решить за них все проблемы, ответить на все вопросы... Их любовь и сердечные способности помогут им в этом. Что касается сексологических знаний, то они нужны каждому, как таблица умножения.

М. ПРОВОРОВ

Вадим Сикорский



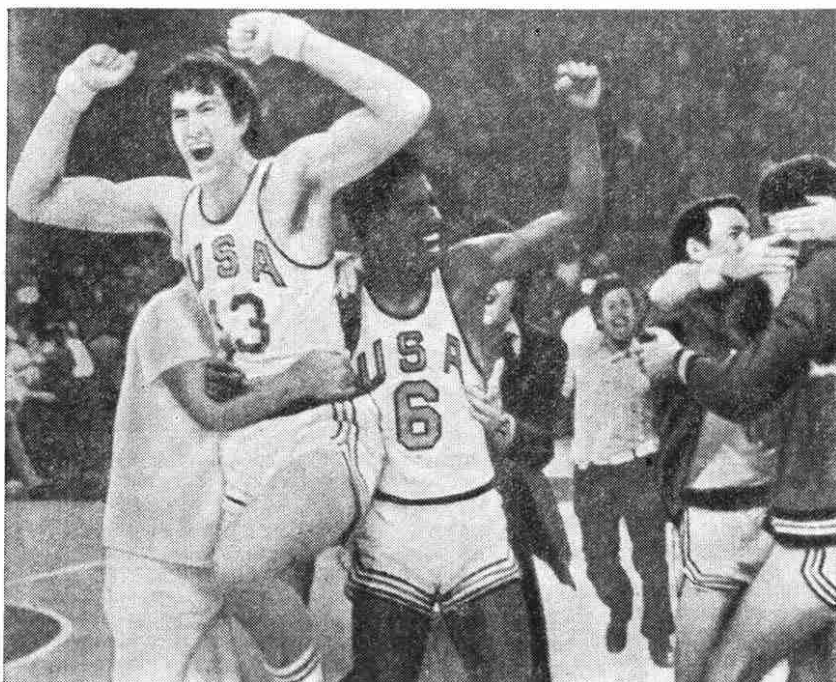
Морской волны мгновенное цветенье
бывает лишь при встрече со скалой,
и это белопенное мгновенье
фотографируется черной мглой.
И каждый раз, как в гулкие литавры,
бьет океан: рожденье—торжество!
Есть красота—кто ж пожинает лавры,
какое неземное существо!
И морю тяжко, и утес могучий
гранитных мышц громадину напряг —
все, чтоб создать один цветок летучий,
ажурной пеной украшая мрак.
Соленые стекают капли пота
с груди скалы, лоснится моря гладь—
идет, кипит тяжелая работа,
чтоб красоту мгновенную создать.



Сказал он: «Мне ль решить задачу!
Искусство мне не по плечу,
печально мне— и сразу плачу,
мне радостно—я хохочу.
Я не могу держать в границах
себя. Спросите у судьбы.
Пусть скажут мне хотя бы птицы,
где пограничные столбы
моей—зовите как хотите —
натуры, личности, души!
Иль самолетом долетите
до той невидимой межи,
до той, намеченной едва ли
пунктиром звездным!.. Млечный Путь...
До той необозримой дали,
что уместилась в эту грудь.



Мировой истории не помню я,
вечных вех,
зато вдруг в полный рост
встанет эта ночь прекрасно темная
с горсточкой запавших в тучи звезд,
и лицо твоё во всех подробностях,
и слова, и буквы все, сполна.
Что душе моей великовозрастной
это лишь запало—чья вина!



Анатолий
ПИНЧУК

ВОСЕМЬ СЕКУНД



Сергей Башкин, тренер сборной СССР, комментирует снимки, перепечатанные нами из журнала «Лайф»:
— Да, тут вся наша эпопея.
Вверху — ликующие американцы; над ними, помню, огромный аншлаг: «Мы победили! Мы победили!».
А на другом снимке — я и Серега Белов — он со спины снят, только десятый номер виден. Мы обнимаемся.
И еще, помню, один огромный аншлаг: «Нет, победили русские!».

Этот матч, сыгранный на площадке мюнхенского «Баскетбалхалле» в ночь с 9 на 10 сентября 1972 года командами СССР и США, быть может, самый драматичный за всю историю баскетбола. Этот матч — одна из кульминаций XX Олимпиады. Во время матча нас интересовало, кто победит. Сейчас, спустя много времени, — что стояло за победой, чего стоила победа.

Опросить двадцать два человека, живущих к тому же в разных городах, — дело это требует времени (между прочим, олимпийского чемпиона Анатолия Поливода я так и не сумел разыскать: был в Киеве — Поливода не было, искал его в городах, где разыгрывался последний чемпионат страны, — не разыскал: Поливода заболел, в чемпионате не участвовал).

Рассказ о последних восьми секундах матча ведется с трех точек: с площадки, со скамьи запасных, с трибуны. Все участники и выбранные мною очевидцы этого матча охотно согласились ответить на мои вопросы. Только судья из Болгарии Артемик Арабаджян, один из двух судей этого матча, оговорил свое право отвечать не на все вопросы: «Артемик Арабаджян все помнит, все может рассказать, но только не репортеру, потому что Артемик Арабаджян — арбитр. Но этот матч видел и зубной техник Артемик Арабаджян. Он тоже разбирается в баскетболе: играл в софийском «Спартаке», четыре раза был чемпионом Болгарии, играл в сборной Болгарии. У него тоже хорошая память».

Семеро из моих собеседников ведут рассказ с площадки: Александр и Сергей Беловы, Модестас Паулаускас и Зураб Саканделидзе были на площадке все восемь секунд; за три секунды до конца матча Алжана Жармухамедова сменил Иван Едешко; седьмой — Артемик Арабаджян.

На скамье запасных были старший тренер сборной СССР Владимир Кондрашин, его напарник Сергей Башкин, массажист сборной СССР Валерий Крылов, игроки сборной СССР Геннадий Вольнов, Александр Болосhev, Михаил Коркия, Сергей Коваленко, Иван Дворный, пять первых секунд из восьми — Иван Едешко, три последних — Алжан Жармухамедов.

На трибунах — обслуживавший олимпийский турнир казанский арбитр Габдльнур Мухамедзянов, корреспондент «Комсомольской правды» Юрий Рост, корреспондент журнала «Смена» Василий Жильцов, спортивный комментатор Эстонского радио Гуннар Холлолей и советские туристы: бывший игрок, а позже и тренер сборной СССР Юрий Озеров, тренеры Витаутас Бимба (каунасский «Жальгирис») и Александр Клименко (ворошиловградский «Автомобилист»).

Итак, заканчивается второй тайм финального матча XX Олимпиады. Только что сборной США удалось вплотную приблизиться к советской команде: точный бросок Джима Форбеса, и счет стал 48 : 49.

Мяч у сборной СССР, а впереди — 38 секунд. 38 секунд — это очень много, слишком много. Время непрерывного владения мячом ограничено тридцатью секундами. Если в течение этого времени не последует броска в корзину, мяч отдадут другой команде. И тогда...

Нет, надо обязательно довести до конца эту последнюю атаку.

Секунд за 10—12 до конца матча Модестас Паулаускас дает пас Александру Белову, который стоит под щитом американцев. Белов атакует корзину — неудачно. Белов подбирает не попавший в корзину мяч и...

— КОМУ И КАК ОТДАЛ МЯЧ АЛЕКСАНДР БЕЛОВ?

СЕРГЕЙ БЕЛОВ (площадка). Оставалось восемь секунд. Я точно запомнил, потому что успел посмотреть на табло. Я тоже стоял на лицевой, метрах в четырех от Сашки. И между нами — никого. Я был уверен, что он мне отдаст, потому что больше никому было отдавать. Я уже даже поздравил себя с победой. Это, может, нас в принципе и сгубило. А Сашка бросил Сако¹ почти по диагонали, а там два американца. Бросал, как будто о мяч обжегся — скорее бы избавиться. Ошеломляющая ситуация...

БАШКИН (скамья). Сашка уже валился за линию, и у него не оставалось времени, чтобы рассудить, как лучше распорядиться мячом. Он уже падая, бросил мяч в сторону Сако. Выйди Сако вперед, он поймал бы мяч!.. Но ума не приложу, как он, Белов, Сергею не увидел! Вот погляди, я тебе нарисую: здесь он, здесь — тоже около лицевой — Серега. И ни одного американца!..

МУХАМЕДЗЯНОВ (трибуна). Я сидел как раз за щитом американской команды и поэтому хорошо все видел. У меня сложилось впечатление, что Александр боялся совершить пробежку или наступить на линию². Поэтому он попытался скорее освободиться от мяча. Он посмотрел в одну сторону — нет, вблизи наших игроков; он откинул мяч в центр площадки, надеясь, что мяч попадет кому-нибудь из наших. А мяч, конечно же, надо было давать Сергею Белову — он стоял неподалеку от того места, где лицевая и боковая образуют угол.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ (площадка). Когда я получил мяч от Модеста, мне ничего не оставалось делать — только атаковать. Стояли два американца — я их обманул, но атаки, как таковой, не получилось. Были явные фолы. После игры судья из Болгарии сказал, что никогда себе не простит, что смалодушничал и не свистнул. (Я спрашивал судью, что он сказал Белову. Он мне ответил: «Зубной техник Арабаджян ничего не слышал, а арбитр Арабаджян отвечать не хочет». — А. П.) Мяч отскочил от корзины — я к нему подоспел первым, оказался на лицевой линии — и вот-вот должен был упасть в аут. Мне надо было кому-то отдавать мяч. Сергей Белов потом говорил, что он был рядом со мной, но я не видел его. Я отдал пас Саканделидзе.

САКАНДЕЛИДЗЕ. Саша хотел отдать мяч мне, но он, наверное, не видел, что меня плотно держали. Не знаю, кому он должен был дать мяч. Но не мне.

— МОГ ЛИ САКАНДЕЛИДЗЕ ПЕРЕХВАТИТЬ МЯЧ?

БАШКИН (скамья). Выйди Сако вперед, он поймал бы мяч. Сако проспал старт.

КОРКИЯ (скамья). Даже Зураб не мог перехватить этот мяч.

ЕДЕШКО (скамья). Думаю, что мог достать.

КОНДРАШИН (скамья). Нет, он не готов был. И Коллинз — он очень хорошо, такие пасы назад чувствует — оказался ближе к мячу.

КЛИМЕНКО (трибуна). Вообще-то Сако овладел бы мячом, если бы его не таранили американцы. Его чуть с ног не сбили. Получалась такая картина: один американец таранил Сако, другой — пятый номер — рвался к мячу.

САКАНДЕЛИДЗЕ (площадка). Я уже говорил, что меня плотно держали. Поэтому я не ждал передачи.

¹ Зураб Саканделидзе.

² Нарушение правил. Санкция в обоих случаях одна и та же: мяч передается команде противника.

— Тебя отталкивали от мяча? Мешали овладеть им?

— Нет. Я сам поскользнулся.
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ (*площадка*). Я потерял равновесие и плохо видел происходящее. Вина тот, кто дает мяч. Я, значит.

— ЧТО ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА МЯЧ ОКАЗАЛСЯ В РУКАХ У КОЛЛИНЗА?

ВОЛЬНОВ (*скамья*). Все! Матч проигран...
ЖАРМУХАМЕДОВ (*площадка*). Я сразу же бросился догонять Коллинза.

КОРКИЯ (*скамья*). Все, крышка...
ПАУЛАУСКАС (*площадка*). Я даже не успел испугаться.

КОНДРАШИН (*скамья*). Наверное, должна была быть злость или обреченность. Злость, может, и была, а обреченности — нет.

ДВОРНЫЙ (*скамья*). Очень за Саньку стало обидно. Мог ведь он мяч додержать. Первое — не за команду, а за Саньку. Игру выигрывали, выигрывали. Он так много сделал, и вот тебе...

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ (*площадка*). Мне просто некуда было деваться с этим мячом: я-то уже падал. Потом уже, когда было поздно, я думал, что можно было мяч бросить в аут или высоко вверх подбросить. И им бы не хватило времени атаковать. Но это все было позже. А тогда я подумал, что еще можно что-то спасти, и рванул за Коллинзом. Еще мелькнула мысль, надежда, что он не успеет атаковать, хотя теперь я понимаю, что это глупо, потому что времени у него достаточно. Еще я надеялся, что успею смахнуть мяч. Но хуже всего было потом, когда нам все-таки дали тайм-аут и мы шли к Владимиру Петровичу¹. Я посмотрел на лица ребят и потом уже старался ни на кого не смотреть.

— А чьи лица ты запомнил?

— Одного Паулаускаса. Но мне этого было достаточно.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ (*площадка*). Конечно, нельзя подойти и ударить по лицу. Но в тот момент я его ненавидел люто. Да в принципе он и сам себя ненавидел. Но в тот момент ему никто ничего не сказал. Я лично старался от него отвернуться. Я мог очутиться на его месте. И меня бы ненавидели. Штрафной-то, который я смазал, — последний из наших штрафных, — я в принципе обязан был забивать. Нет, не последний: последний я забил. Предпоследний. Пятьдесят пять секунд оставалось, и мы вели два очка. Забрось я оба, было бы четыре.

— Что больше мешает при штрафных — усталость или нервы?

— Нервы. Если человек начинает думать, попадет он или нет, пятьдесят процентов за то, что он не попадет. Я в принципе приучил себя к мысли: «Как это я могу смазать? Почему на тренировке сто раз, двести попадаю, а здесь вдруг смажу?»

— И часто двести подряд получается?

— Нет. И сто подряд не забиваю. Где-то около семидесяти, наверное, да. Я вообще-то на тренировке не считаю: шажу свои нервы. Не то чтобы шалай-валяй, но есть ребята, которые буквально зубами скрипят, а я себя жалею, берегу.

САКАНДЕЛИДЗЕ (*площадка*). Я успел только подумать, что надо скорее догнать пятого².

КОВАЛЕНКО (*скамья*). Перехватило дыхание. И я еще надеялся, что вдруг сирена об окончании матча раздастся раньше броска Коллинза. Не надеялся, конечно, а хотел, потому что восемь секунд — целая вечность...

¹ Кондрашин.

² Под пятым номером в сборной США играл Дуглас Коллинз.

БАШКИН (*скамья*). Перед началом Олимпиады нас ориентировали на второе место. Займете — хорошо; сумеете дать бой американцам — это уже здорово. И вот, пожалуйста, весь матч выигрываем, они ни разу счета не вели, и в самом конце — проиграть. Не обидно ли? Конечно, ничего такого я в тот момент не подумал и не вспомнил. Это я чтобы тебе понятнее было наше настроение. А в тот момент — обида на Белова и Сако и страх.

— КАК ПРОИЗОШЛО СТОЛКНОВЕНИЕ САКАНДЕЛИДЗЕ С КОЛЛИНЗОМ?

КРЫЛОВ (*скамья*). Догонял сзади, догнал и сфолил. Я могу ошибиться, но в памяти почему-то так: Коллинз хватает мяч, за ним, крадучись, Саканделидзе — сзади и слева. Поймал он Коллинза уже в финальной стадии атаки. И от души отоварил.

ПАУЛАУСКАС (*площадка*). Сако сумел обогнать пятого номера и встретил его.

БОЛОШЕВ (*скамья*). Сако догонял Коллинза: метра три фора была. Обогнать не сумел, да и догнал, когда тот уже был на втором шаге¹. Зафолил, так врезал, что тот еле-еле поднялся. Глаза злые — я сразу понял, забьет...

ЖАРМУХАМЕДОВ (*площадка*). Саканделидзе догонял его, догнал и затолкал под щит, когда тот начал два шага.

КОВАЛЕНКО (*скамья*). Коллинз шел к щиту от левой боковой линии, Сако с центра догнал в самый последний момент. Сако пытался чисто накрыть мяч. Но Коллинз — хитрый игрок. Он постарался пролезть к самому кольцу.

САКАНДЕЛИДЗЕ (*площадка*). Пока я восстанавливал равновесие, Коллинз убежал вперед. Я — за ним. Хотел пораньше фолить, чтобы время выиграть. Сумел обогнать и встретил его лицом.

— А почему же, упав, Коллинз оказался под щитом?

— Он через меня перелетел: он уже закончил второй шаг и был в прыжке, когда я под ним оказался.

— Как бежал к щиту Коллинз?

— Прямо в лоб. А я — справа, от боковой линии.

БАШКИН (*скамья*). Сако пытался от него, пятился и, слава богу, сфолил.

Прежде чем задать следующий вопрос, я хочу сказать читателям, которые хорошо знают футбол и плохо — баскетбол, что баскетбольный фол в отличие от футбольного крайне редко отождествляется с грубостью. И если баскетболист, который провел на площадке хотя бы половину тайма, ни разу не сфолил, это свидетельствует лишь о его нежелании играть в защите, где чаще всего и приходится вступать в непосредственное соприкосновение с соперником. И о тактике фولا в баскетболе говорят без нареканий; тактика эта считается вполне спортивной.

— НАДО ЛИ БЫЛО САКАНДЕЛИДЗЕ ФОЛИТЬ?

КОРКИЯ (*скамья*). Что за разговор! Конечно, нужно было фолить! Фол Зураба — золотой фол. Все говорят про золотой пас Едешко, про золотой бросок Саши Белова. Правильно говорят. Но если бы не было фولا Зураба, не было бы золотого паса и золотого броска — времени не хватило бы².

ЕДЕШКО (*скамья*). Трудно сказать, а если бы Коллинз не попал? Он-то начал делать два шага из-

¹ После окончания дриблинга (ведения мяча) игроку допускается сделать два шага, после чего он обязан либо атаковать, либо пасовать — короче говоря, прежде чем будет сделан третий шаг, игрок обязан расстаться с мячом.

² Если бы не было фولا и Коллинзу удалось забросить мяч в корзину с игры, секундомер не был бы остановлен.

за дуги. Но если бы забил... Пожалуй, Саканделидзе поступил все-таки правильно...

ПАУЛАУСКАС (*площадка*). Конечно.

ВОЛЬНОВ (*скамья*). Обязательно: пятый на все сто процентов забивал.

КОНДРАШИН (*скамья*). Что ты! Конечно, надо было. Коллинз-то за три секунды успел бы добежать и забить. И конец игре!

ХОЛОЛЕЙ (*трибуна*). Думаю, нет. В такой ситуации, где нервы напряжены, мог и противник ошибаться. Но Саканделидзе тоже прав. Он мог надеяться, что хотя бы один из двух штрафных Коллинз не забьет.

КОВАЛЕНКО (*скамья*). Надо было или чисто накрывать, как Сако и пытался, или фолить. Иного выхода не было: время-то кончилось бы...

САКАНДЕЛИДЗЕ (*площадка*). Думал, что надо.

— А сейчас как думаешь?

— И сейчас так думаю.

ЖАРМУХАМЕДОВ (*площадка*). Я в этот момент пристроился за Коллинзом, надеялся, что, когда он мяч из рук выпустит, смахну мяч. Но как раз тут Саканделидзе догнал Коллинза и продавил его под щит. Поскольку Саканделидзе меня не видел, он правильно сделал, что сфолил.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ (*площадка*). Саканделидзе сфолил правильно, но фолить, в общем-то, не следовало. Я уже догнал Коллинза и этот мяч доставал...

— А где в этот момент был Алжан, не видел?

— Жармухамедов?... Жармухамедов... Нет, Жармухамедова я не видел.

— А он мне сказал, что мог смахнуть мяч...

— Да? Но смахнул-то я. На щите мяч достал. Но я смахнул уже после того, как Саканделидзе свистнули фол.

ЖАРМУХАМЕДОВ (*на вопрос: «Где в этот момент был Александр Белов?»*). Немного сзади меня и сбоку.

— А он мог бы смахнуть мяч?

— После меня, с запозданием.

Как и Саканделидзе, но по другой причине я тоже не видел ни Жармухамедова, ни Белова — на телевизионном экране были только Коллинз и Саканделидзе. А посему у меня появилось намерение задать участникам и очевидцам матча вопрос, который первоначально задавать не собирался.

— ЕСЛИ БЫ САКАНДЕЛИДЗЕ НЕ СФОЛИЛ, СУМЕЛ ЛИ БЫ КТО-НИБУДЬ ИЗ ИГРОКОВ СБОРНОЙ СССР ВОСПРЕЯТСТВОВАТЬ ВЗЯТИЮ КОРЗИНЫ?

МУХАМЕДЗЯНОВ (*трибуна*). Нет. Оставалось только надеяться на то, что Коллинз смазал бы. Очень слабая надежда...

ПАУЛАУСКАС (*площадка*). Нет.

КОНДРАШИН (*скамья*). Из тех, кто был на площадке, это смог бы сделать Жар¹. А еще лучше — Саша Белов. Но для этого надо было, чтобы они поближе к нашему щиту были.

ДВОРНЫЙ (*скамья*). Вообще-то Санька на такие вещи мастер. Жаль, его рядом не было...

СЕРГЕЙ БЕЛОВ (*площадка*). Да там и рядом-то никого не было.

ЕДЕШКО (*скамья*). Никого рядом не было, совершенно никого.

БАШКИН (*скамья*). Теоретически можно смахнуть мяч. Но кто смахнул бы? Никого рядом-то не было.

БОЛОШЕВ (*скамья*). Никто не сумел бы. Оба

больше наши — и Жар и Саша — были еще под щитом американцев.

КОВАЛЕНКО (*скамья*). Рядом-то никого не было.

ВОЛЬНОВ (*скамья*). Нет, если бы не Сако, матч был бы проигран.

САКАНДЕЛИДЗЕ (*площадка*). Если бы Саша Белов был рядом, он сумел бы...

— А его не было?

— Нет.

— А Жармухамедова?

— Также нет.

— КАК ВЫ ДУМАЛИ, ЗАБЬЕТ КОЛЛИНЗ ШТРАФНЫЕ ИЛИ НЕТ? А ЕСЛИ ЗАБЬЕТ, ТО ОДИН ИЛИ ОБА?

ПАУЛАУСКАС (*площадка*). Думал, что хоть один смажет... Забил — подумал: конец.

ВОЛЬНОВ (*скамья*). Почему-то твердо был уверен, что пятый номер оба мяча забьет. А он и забил здорово — чисто, без грязи и очень уверенно бил. Я решил: игра проиграна.

БОЛОШЕВ (*скамья*). Коллинз упал, побледнел весь — ну, думаю, не забьет. Потом, смотрю, такой злой вышел бить штрафные — ну, думаю, забьет. Он забивает оба фола — я голову нагнул так, сел и сижу... Проиграли, думаю, такую игру проиграли...

КОНДРАШИН (*скамья*). Чувствовал я этого игрока, боялся, что забьет оба. А когда забил, когда забил, здесь уже не до испуга было...

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ. Очень хотел, чтобы он хоть один смазал. Но он так уверенно бил!.. Он в конце шесть из шести забил. А потом я увидел спокойное лицо Владимира Петровича и подумал, что, может, мы еще не проиграли, что, может, нас спасет какое-нибудь чудо.

КОВАЛЕНКО (*скамья*). Было огромное желание, чтобы он хоть бы один мяч смазал. Хотелось напряжением волн помешать ему. А потом — какая-то апатия, отчаяние, судорожное состояние. Когда проигрываешь, легче быть на площадке, чем на скамье.

КОРКИЯ (*скамья*). Уверен был, что забьет оба. Он всю игру играл хорошо, лишнего на себя не брал, но сыграл рационально и полезно.

САКАНДЕЛИДЗЕ (*площадка*). Я думал, что один смажет. Забил — все, думал, проиграли. И пожалел, что раньше сфолил не успел. Если бы секунд шесть осталось, а то всего три...

ЕДЕШКО (*скамья*). Игроки такого ранга один, а то и два штрафных забивают почти всегда. Так что весь вопрос был в том, забьет ли он оба мяча. Меня удивило не то, что он оба забил, а то, как он бил. Помните? Без раздумий, без колебаний, без эмоций. Наверное, он человек, которого ничто не волнует. О, мне было очень тяжело!.. Я считал, что это из-за меня проигрываем.

— Ты же в это время еще не был на площадке!

— Не был. Но поражение началось намного раньше, чем произошла Сашкина ошибка. Когда мы почувствовали, что можем выиграть и стать олимпийскими чемпионами, мы немного задрожали, зажалась Сашкина ошибка была третьей по счету. Первая — моя. Американцы — молодцы: они правильно учли специфику европейского баскетбола. Все европейцы — ну, не совсем все, а большинство — однорукое. Что? Нет, все, кроме левой, правой ведут лучше. И американцы тоже. Но они свою правую больше и лучше используют — с разворотами, поворотами... И левой они уж точно работают лучше, чем мы. Вообще я очень высокого мнения об американском баскетболе и не считаю, что его гегемония уже кончилась. Но я отвлекся. Зная эту нашу слабость, американцы держали у своих соперников правую ру-

¹ Жармухамедов.

ку. А когда противник стережет твою правую руку, все время жметесь к ней, боитесь переводить мяч на левую руку. Я вел мяч правой рукой, и Коллинз сместился к ней поближе. Мне, конечно, надо было перевести мяч на левую руку, но я этого не сделал — это была моя трусость. Я боялся потерять мяч, а получилось еще хуже. Я воткнулся в Коллинза. Мне фол, а фолы уже пробивались¹. Коллинз оба забил: у нас было преимущество в пять очков — осталось три. Затем ошибся Серега². Он тоже левой ведет не здорово. У него мяч выбили, и мяч от его ноги — в аут. Вот тогда-то с трех очков преимущество сократилось до одного. Ошибся я, ошибся Серега, но все почему-то видят только Сашкину ошибку, только о ней и говорят.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ (площадка). Я тогда об этом не думал. Мне было не до этого. Я еще в себя не успел прийти. Победа уже была у нас. И вот теперь...

БАШКИН (скамья). Надеялся, что хоть один смажет. А когда Коллинз второй мяч забил, мне не до прогнозов было. Я уже стоял около стола, с секретарями скандалил. Тайм-аут-то они у нас украли!

— ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ТАМ ПОЛУЧИЛОСЬ С ТАЙМ-АУТОМ?

БАШКИН. Когда Сако дали фол, Кондрашин попросил тайм-аут: такой длинный провод-шланг, нажимаешь кнопку — на столике лампочка загорается. Попросил и встал со скамейки.

— Может, сигнализация не сработала?

КОНДРАШИН. Сработала, сработала. Я когда в Женеве был недавно, видел фильм, снятый во время этого матча. Не телерепортаж, который мы вчера смотрели, а настоящий цветной фильм. Этот фильм, когда разбирали протест американцев, прокручивали. Я видел, честно, — лампочка на столе горит. И видно, как секретари головами кивают. Они, бараны, хотели мне дать тайм-аут до первого броска — я, конечно, отказался³.

БАШКИН. Ну, а после того, как Коллинз первый мяч забил, секретари замешкались: сирену не дали, судья берет мяч и в руки Коллинзу — все!⁴. Я к столику: «Мы же просили тайм-аут!»

ВОЛЬНОВ. Украли у нас тайм-аут и еще две секунды. Первый раз мяч вбрасывал Модя⁵. Только вбросил — сирена. Как получилось, что вместо трех секунд осталась одна, этого понять никак нельзя.

БАШКИН. Хорошо, что за столиком, ближе к нашей скамейке, Джонс⁶ стоял. Он не видел, подошел и три пальца поднял и говорит: «Драй секунден!» Но это ты сам, наверное, видел — на экране телевизора.

АРАБАДЖЯН. Первым о трех секундах заявил малыш Биго⁷. Он был комиссаром матча и первым поднял три пальца, а Джонс его поддержал.

¹ По действовавшим в то время правилам, в последней трехминутке за любое персональное замечание назначались два штрафных очка.

² Сергей Белов.

³ По своему усмотрению тренер команды вправе взять тайм-аут до или после первого штрафного броска. В ситуации, подобной той, которая сложилась за три секунды до конца матча СССР — США, тренер, даже менее опытный, чем Кондрашин, взял бы тайм-аут не до, а после штрафного. Хотя бы потому, что в зависимости от того, попал мяч в корзину или нет, облегчается выбор плана дальнейших действий.

⁴ В тот самый момент, когда судья передал мяч в руки игроку для второго штрафного броска, тренеры обеих команд лишаются права просить тайм-аут.

⁵ Паулаускас.

⁶ С 1932 года, когда была создана ФИБА (Международная федерация любительского баскетбола), Вильям Джонс является ее генеральным секретарем.

⁷ Биго знаком тем из наших любителей баскетбола, которые видели чемпионат Европы 1953 года. Экспансивный французский арбитр был любимцем московских болельщиков.

МУХАМЕДЗЯНОВ. Свисток, который большинством зрителей и телезрителей расценили как сигнал об окончании матча, был запоздалым разрешением тайм-аута. Секретари оказались не на высоте положения. Оно и не удивительно: за столиком по традиции работают местные судьи, а ФРГ — страна небаскетбольная. Арабаджян и Ригетто провели матч хорошо, но в истории с тайм-аутом они тоже немного виноваты. Всем было ясно, что Кондрашин возьмет тайм-аут. И им было ясно, к тому же на столике горела лампочка, и они ее должны были видеть. В таких случаях судьи обычно не торопятся отдавать мяч игроку для второго штрафного. Они поторопились: нервозность дала себя знать.

— ЧТО СКАЗАЛ КОНДРАШИН В ТАЙМ-АУТЕ?

КОНДРАШИН. Ну, я им сказал, что за три секунды можно забить, а потом еще и пропустить. Дословно я так сказал: «Чего вы волнуетесь? Временный вагон. Можно выиграть, а потом опять проиграть». Я, честно, с пасом вначале надеялся на Модю. А потом вспомнил: в Друскининкае¹ ребята часто в гандбол играли, и у Вани такой захлестывающий удар был. Я, честно, знал: если пас пройдет и мяч долетит до Сани, уверен был, что он выиграет. Правда, я думал, что американцы его зарубят, сфолят. В этой ситуации Саня вряд ли бы оба забил, но один-то забил бы точно. Меня, честно, больше волновало, добросит ли мяч Ваня. А Ваня не сразу мяч бросил. Он еще на меня смотрит, что-то кричит, а шум стоит такой — ничего не слышно. Я ему ору: «Давай!» — а сам не знаю, слышит он или нет, и пальцем в Саню тычу.

САКАНДЕЛИДЗЕ. Он нас успокаивал, говорил, что еще можно выиграть.

БАШКИН. Я не был рядом с ним. Но перед тайм-аутом он мне сказал: «Сережа, спокойно, все будет в порядке!» А Едешке, как я потом узнал, он сказал: «Ванечка, отойди метра на три от лицевой и запусти мяч Сашке!»

ЖАРМУХАМЕДОВ. Не слышал. Меня уже заменили, и я шел к скамейке, когда Кондрашин начал говорить. А после тайм-аута Кондрашин крикнул Белову, Саше Белову: «Под щит! Под щит!» А тот стоит, бедняга, у центра площадки, и вид у него убитый. Но расслышал — побежал под щит. А Кондрашин — Едешке: «Ваня, пас! Саше пас!»

ПАУЛАУСКАС. Что Едешко должен передать мяч мне — я должен был стоять на дуге, а я — Саше Белову.

ЕДЕШКО. Вот вы послушайте, только не записывайте. А я потом объясню почему. Значит, Кондрашин сказал: «Пас идет Паулаускасу. Тот Сереге Белову. И Серега или забивает — ну, не забивает, а старается забить, — или на нем фолует». Я посмотрел, что Сашку плохо держат, что стоит игрок впереди, а сзади у Сашки щит, поймал взгляд Кондрашина и кричу: «Сашке?!» Он быстро посмотрел — и мне: «Правильно», — а Сашке: «Санька!» И я что было силы туда бросил. Но то ли Кондрашин забил, как было дело, то ли я — хотя нет, я забить не мог, да я и по телевидению об этом сказал... Но и Кондрашин тоже забить не мог. Он очень хладнокровный, умеющий владеть собой человек. Он, по моему, один только и был спокойный. И еще нас успокаивал. Хорошо помню его решительное лицо: «Ты там станешь! А ты — там!» Для него матч не кончился, он еще верил в победу. Так вот Кондрашин написал в «Спортивных играх», что он велел мне сразу дать пас Сашке... Может, и мы так напишем?..

¹ Городок в Литве, где сборная СССР готовилась к олимпийскому турниру.

Явное противоречие? Да. И уже не первое? Да. Но это не огорчает меня. Разночтений, противоречий я не вымогал, но и не уничтожал их наводящими вопросами. Я брал то, что мне давали. Я рад тому, что не искал объективной истины, но тем не менее нашел ее.

Мы, журналисты, часто пишем о том, что матч был напряженный, что страсти накалились до предела и т. д. и т. п. Даже если писать об этом только к месту, даже если писать об этом незатасканными фразами, — что, спрашивается, может узнать читатель? Разве утверждение о напряженном характере матча позволяет понять, что это такое — напряженный характер матча?

Так, может быть, в этих разноречивых, противоречащих один другому рассказах и содержится объективная истина? Может быть, моим героям удалось своими противоречивыми ответами хоть в какой-то степени пояснить, как же это так получается, что все смотрят одинаково, но видят по-разному?..

Так вот, Иван Едешко с мячом в руках. А пока он готовится к пасу, который назовут золотым...

...В это время на скамейке:

ОЗЕРОВ. Я к тому времени уже перебежал с трибуны на скамейку — к нашим ребятам. Мяч выбрасывали — вся скамейка кричала: «Белову! Белову!» Мы и забыли, что в команде два Белова и оба на площадке.

— А ты какого Белова имел в виду?

— Если откровенно, Серегу. Тбилисский вариант вспомнил¹.

БОЛОШЕВ. Вернули нам эти две секунды, но я все равно... Сижу, голову опустил, молчу... Я пришел в себя, только когда мяч уже из корзины падал.

ВОЛЬНОВ. Я орал: «Белову!» Я имел в виду Сашку Белова. Чтобы мяч давать Сереге, это не проходило. В Тбилиси секунд восемь было, здесь — три. С центра бросать — авантюра.

На трибунах:

МУХАМЕДЗЯНОВ. Я думал, что атака пойдет через Сергея Белова. Свежо в памяти было воспоминание о тбилисском матче.

КЛИМЕНКО. Ну, я, можно сказать, этих трех последних секунд и не видел, потому что отвернулся, сжался и смотрел вот так. Думал, что все проиграно.

БИМБА. У меня была надежда только на чудо или на фолы американцев.

ХОЛОЛЕИ. Никаких надежд. Думал, агония...

— ТРУДНО ЛИ БЫЛО ДАТЬ ПАС, КОТОРЫЙ ДАЛ ЕДЕШКО? СКОЛЬКО ТАКИХ ПАСОВ ОН ДАЛ БЫ ИЗ ДЕСЯТИ?

КОРКИЯ (скамья). Если Ваня из десяти раз даст еще один такой пас, как в Мюнхене, буду год ходить с бородой.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ (площадка). Перед Олимпийскими играми буквально все мы много времени уделяли длинному пасу. Буквально все его тренировали. У всех получалось неплохо. Но у Вани лучше, чем у других. Из десяти пасов у него точных было бы больше половины — шесть или семь.

КОВАЛЕНКО (скамья). Это очень трудный пас. Потом, одно дело дать такой пас на тренировке, совсем другое — в матче, да еще в таком и в такой ситуации. На тренировке, думаю, он три-четыре передачи сделает, а в игре, в игре — не уверен, что он еще когда-нибудь даст такой пас... Как бросил? Размахнулся двумя руками, а бросил одной. Но на словах мне трудно объяснить...

— Можно показать.

— Мне и показать нелегко: я не левша, а он левой рукой бросил.

БАШКИН (скамья). Думаю, семь-восемь из десяти. Не веришь? В Москве перед Олимпиадой, 22 апреля, мы играли с американцами. За две секунды до конца первого тайма Кондрашин берет минуту. Едешко пасует — Саша забивает мяч сверху. Через два дня матч в Киеве. Та же самая ситуация, та же самая комбинация. И пятый номер — фамилии не помню — со злостью тыкал пальцем в Сашу: «Мол, как ты сумел мяч забросить?» Правда, в обоих случаях Ваня не из-за лицевой мяч выбрасывал: в Киеве примерно от средней линии, а в Москве — на полпути между своей лицевой и средней. Но мюнхенский пас — это что-то удивительное. Перебросить мяч через всю площадку — мастер это должен уметь. Но дать ювелирно точный пас, да еще движущемуся игроку! У меня и сейчас перед глазами прыгающие американцы, а у них над пальчиками мяч — к Саше в руки.

САКАНДЕЛИДЗЕ (площадка). Такой пас очень трудно дать. Таких пасов Едешко мог бы дать два из десяти, а мог бы и из ста не дать ни одного.

КОНДРАШИН (скамья). Все зависело от паса. По нашей спартаковской бедности Саня научился всякие пасы ловить. Ну, а от Вани пас был точнейшим. Из десяти? Честно, минимум семь-восемь точных.

МУХАМЕДЗЯНОВ (трибуна). Пас Едешко — величайшая редкость. Через всю площадку, с точностью до миллиметра. Он правильно сделал, что двумя руками мяч бросил.

— Ты уверен в том, что он пасовал обими руками?

— Конечно. Такой пас можно было дать только двумя руками.

ЕДЕШКО (площадка). Или Кондрашин почувствовал, что я везун какой-то, или еще что-то. До сих пор не могу понять, чем он руководствовался, когда менял Жара на меня. Жар выше. Жар мог подобрать под щитом мяч, мог добить: пас-то был бы в сторону кольца, а в щит попасть — дело нехитрое. Защитника-то обычно выпускают, когда выигрывают и хотят удержать преимущество; выпускают секунд за двадцать до конца, чтобы поддержать мяч.

— Чем сложен был этот пас?

— В зале, где стены близко за щитом стоят, элементарно это сделать: чувствуешь расстояние. А в большом зале... Когда приходишь в большой зал из маленького, часто перебрасываешь мяч, выше даешь, не добрасываешь — теряется ощущение пространства. А мюнхенский зал как раз очень большой. И сама площадка метра на два длиннее, чем у нас.

— Ну, а сколько же из десяти попыток оказались бы удачными?

— Не знаю, не знаю! Как я могу о себе говорить?!

— Но мне рассказывали, что в самолете из Мюнхена ты будто бы говорил, что из ста пасов точным был бы один.

— Ну, тогда... тогда я был веселый...

— Как ты бросал мяч?

¹ Владимир Кондрашин тренирует ленинградский «Спартак», в котором играет и Александр Белов.

— Перед пасом — разбег. Ну, а бросок — так. (В показе Едешко его пас схож с толканием ядра и броском мяча в гандболе.)

— Значит, ты бросил мяч одной рукой, а не двумя?

— Конечно.

— А не полукрюком?

— Нет. Я бросил так, как я показал.

— А правой рукой или левой?

— Правой, конечно.левой бы я не добросил, я ведь не левша.

— Ты все это хорошо помнишь?

— Конечно... Что за вопрос!

КРЫЛОВ (скамья). Отличный пас у Едешко был. С места полукрюком.

— А Едешко говорит, что с разбегу...

— Вы его не поняли, или он ошибся.

— А Едешко говорит, что не полукрюком...

— Нет, нет! Он ошибся.

— КАК СТОЯЛИ АМЕРИКАНЦЫ ОКОЛО АЛЕКСАНДРА БЕЛОВА В МОМЕНТ ПАСА ЕДЕШКО? КАК АТАКОВАЛ БЕЛОВ?

СЕРГЕЙ БЕЛОВ (площадка). Вначале Сашка был в сэндвиче: он стоял между четырнадцатым — белый, защитник — и десятым — центровой, негр. Но когда Сашка рванулся вначале к своему шиту, потом к американскому, сэндвич распался. Их ошибка — они поверили финту, да и держать надо было Сашку втроем.

ВОЛЬНОВ (скамья). Сашка стоял метрах в четырех от шита, а оба американца — около него, но чуть ближе к центру. Они начали пятиться на мяч, а когда пятишься, обычно не достаешь. Мяч и упал за ними — прямо Сашке в руки. Американцы не ошиблись бы, но они посчитали, что матч уже ими выигран.

ЕДЕШКО (площадка). Американцы стояли впереди Белова. Оба? Погодите, но там ведь один был... А может, двое... Я только помню, что Сашка сначала сделал рывок ко мне, потом — к их шиту. И бросил он мяч в корзину очень осторожно, двумя руками.

БАШКИН (скамья). Они стояли на одной линии с Беловым, Белов — между ними. Очевидная ошибка: один должен был стоять спереди, другой — сзади. Он бы так легко не удрал от них. Белов мяч забивал аккуратно и осторожно — обеими руками. Я у него потом спросил, почему он двумя руками сверху не засовывал, а он: «Очень боялся промахнуться, а так уж — наверняка!» Там опять фолы были: они его хватали — он вырывался.

КОРКИЯ (скамья). Бросил Саша очень правильно. Легко мог сверху забить — не стал забивать. От всех случайностей себя застраховал: правую ногу подправил к левой, встал, подумал, прыгнул, обеими руками поднял мяч, кончил бросок одной правой. Саша потом говорил, что ему страшно было. В такой ситуации у каждого было бы чувство страха.

БИМБА (трибуна). Стояли американцы правильно: один впереди, другой сзади. Но надо было смотреть на мяч, а не на Белова.

КОНДРАШИН (скамья). Кто стоял, честно, не помню. Но помню, что двое крепко держали Саню: один — впереди, другой — сзади. Так и надо было стоять. Вряд ли можно придумать лучшую позицию. Но надо было мяч из-под контроля не выпускать. И они не учли, они не учли его преимущества в прыжке.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ (площадка). Я остался в центре поля, чтобы можно было обмануть и пораньше оказаться под шитом. Американцев было двое. Десятый номер чуть ближе к центру, чем я, четыр-

надцатый — между лицевой и мною, ближе ко мне. Я показал обманное движение, потом резко повернулся и рванул к шиту. Пас был великолепный. И я оказался под шитом совсем один. Я даже обернулся: никого нет. У меня мелькнула мысль: «А что будет, если я смажу?» И я очень аккуратно правой рукой бросил мяч. В любом другом матче я бы так бросать не стал — бросал бы увереннее, жестче.

— А фолы были?

— Да нет, там уж и фолить было некому... Их ошибка: Маквиллан должен был стоять около меня — у него два семь, самый высокий из тех, кто у американцев был на площадке. Еще один должен стоять как можно ближе к Едешко. Остальные должны были душить наших прессингом, не очень, правда, плотным, чтобы фолов избежать.

— ЧТО ВЫ ЧУВСТВОВАЛИ И ЧТО ДЕЛАЛИ В ПЕРВОЕ МГНОВЕНИЕ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ?

ЕДЕШКО. Я оставался стоять на месте. И только когда увидел, что Сашка забил и бежит назад, бросился к нему. Я его самый первый поймал.

ЖАРМУХАМЕДОВ. Подскочил, закричал что-то нечленораздельное. Бросился в толпу игроков: Сашка — к нам, мы — к нему. Я в этой свалке оказался внизу. Потом почувствовал, что тяжело. Появилось подсознательное чувство, что могут задеть. Решил оттуда выбраться, что и сделал не без труда.

САКАНДЕЛИДЗЕ. Я был около нашего шита. Упал на пол. Я уже ничего не помнил. На меня все ребята свалились. И все ребята целовались. И я целовался. Но с кем, не помню. Помню только, что с Мишей.

ПАУЛАУСКАС. Ничего.

— Как ничего? Ты не обрадовался?

— Стоял такой шум, и я не мог понять, что и чего. Я только потом понял, когда увидел, что все обнимаются, и целуются, и поздравляют друг друга.

— А тебя кто-нибудь поздравлял? Поздравляли ли кого-нибудь ты?

— Конечно!..

— Кто? Кого?

— Не помню.

КОВАЛЕНКО. Вначале — шоковое состояние. Я еще не мог осознать, так ли это, или мне просто показалось, что мы победили, не галлюцинация ли это. Но когда я увидел плачущих Башкина и Юрия Озерова, я поверил, что победа. И бросился на площадку к ребятам. Была куча тел. Внизу лежал Саня Белов. Я упал на пол и уже больше ничего не помню.

КОРКИЯ. Побежал. Бегал по площадке с бутылкой минеральной воды. А потом бросился целовать Сашу Белова. И оказался вместе с ним на полу, а на нас — куча игроков. А потом вспомнил Володю Андреева, грустно стало¹. Подумал, он меня никогда не простит.

МУХАМЕДЗЯНОВ. Побежал к судейскому столу, чтобы проверить правильность заполнения судейского протокола. Итог матча не тот, который на табло, который сообщил телекомментатор, а только тот, который в протоколе. Когда я увидел, что в протоколе записано, что сборная СССР победила со счетом 51 : 50 и что Ригетто — он был старшим судьей — протокол подписал, я успокоился. Вот теперь уже победа есть.

¹ В Друскининкае, где сборная СССР готовилась к Олимпиаде, в самом конце одного из тренировочных матчей Андреев, неудачно столкнувшись с Коркией, получил травму, после которой оправиться не успел, — и в олимпийскую команду уже не попал.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ. Поднял руки вверх, прыгнул и побежал к нашей скамье. Теперь уже у ребят были другие лица.

— Кто тебя первым поздравил?

— Меня поймал Едешко. И Миша Коркия.

— Поздравил ли тебя Кондрашин?

— Нет. Он меня ругал. Наверное, за тот мяч, который к Коллинзу попал.

— А что он говорил?

— Не помню. Помню только, что мы сидели с Сергеем на скамейке и плакали, а Владимир Петрович от нас всех отгонял.

ВОЛЬНОВ. Все кинулись друг друга поздравлять, а я сразу посмотрел, где Кондрашин. Вижу: один стоит. На лице никакой радости, ничего — только любопытство: смотрит, как на площадке друг друга чихвостят. Я его взял в охапку, поднял, подержал и поставил на место — никаких эмоций с его стороны.

КЛИМЕНКО. Я выскочил на площадку, как все советские болельщики. Я увидел, что все бросились поздравлять игроков, и никто — тренеров. И я — я не бравую этим — первым из всех поздравил Кондрашина. И это полностью соответствует истине. Я его схватил, повернул, и, когда я его расцеловал, он был очумелый. Я рад, что был первым, кто его поздравил.

КОНДРАШИН. Ничего. Жалел, что такую игру скомкали. Дело прошлое, но я хотел выиграть, хотел выиграть без этих трех секунд. А потом я, честно, подозвал Саню Белова, Саню Белова и обругал его, как мог. «Баран, сказал я ему, как ты мог этот мяч назад отбросить?! Обними мяч и стой! Спорный так спорный. Пять секунд-то прошло бы...»

Зря, Владимир Петрович, ей-богу, зря. Про то, что матч скомкан, зря, и Белова тоже ругали зря. От этого неудачного паса наш баскетбол в конечном счете выиграл больше, чем от сотни, тысячи удачных. Нашему баскетболу как раз такого паса и не хватало. Без него и победа эта хуже запомнилась бы. И писали бы в газетах и журналах о баскетболе меньше, чем пишут, — еще меньше. Очень удачным оказался этот неудачный пас. Еще два-три таких паса, и глядишь, появится, к примеру, еженедельник «Баскетбол». Ну, это я переборшил, это чистой воды фантастика. Но почему бы и не помечтать?..

— В «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ» БЫЛ ОПУБЛИКОВАН РЕПОРТАЖ ЮРИЯ РОСТА И ЕГО ЖЕ СНИМКИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ СДЕЛАНЫ В РАЗДЕВАЛКЕ ВСКОРЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ УЗНАЛИ О ПРОТЕСТЕ АМЕРИКАНЦЕВ. ВИДЕЛИ ВЫ, КАК ВАС СНИМАЮТ?

ЕДЕШКО. Я его видел, но мне это было безразлично.

ПАУЛАУСКАС. Нет, не видел.

КОРКИЯ. Я был так ошеломлен, что никого не видел. Потом увидел парня с фотоаппаратом. Но кто он, зачем здесь и что делает, не думал.

ВОЛЬНОВ. Не помню, как нас снимали, не видел никого с фотоаппаратом в руках, а я бы обязательно увидел. Он, наверное, скрытой камерой снимал.

РОСТ. Нет, я снимал не скрытой камерой. Ребята были в таком состоянии, что им было безразлично, снимают их или нет. Дело было так. После того, как они отыграли и узнали о протесте, они остались в раздевалке. Я увидел, что они сидят какне-то отрешенные, молчат. У меня в «Зените» остался один

ролик пленки. И длиннофокусный объектив. Я очень боялся, что там мало света, и поэтому даже не проявлял в Мюнхене пленку.

— Значит, ребята могли видеть, что их снимают?

— Они видели и знали. Я ребятам сказал — Вольнову, Сергею Белову и еще кому-то, — что сниму, мол. Никто не возражал, только Белов Сергей сказал: «А зачем? Не надо, Юра, все равно ничего не получится...»

— А Кондрашина и Башкина после матча снимали?

— Кондрашина снять никак нельзя было: он там в коридоре, как по стенкам, ходил. А Башкина и вовсе не было, он где-то бегал...

БАШКИН. Когда мы узнали, что американцы матч опротестовали, мы — к ним. Спрашиваем: «В чем дело? Почему протест? Самп-то знаете, что все верно, правильно!.. Что вы наших ребят мучаете и своих?» А они все вопросы без ответов оставляют. Ничего не говорят — говорить-то им нечего... А медали нам вручили ровно через сутки. С третьего захода. Должны были вручить на стадионе, но еще не до конца разобрались с протестом. Вручали в зале, где была гимнастика, а потом — гандбол. Ребята уже были не в спортивной форме — стояли на пьедестале в брюках, пиджаках. Ну, да дело не в этом...

Последних секунд этого матча никогда не забудут опрошенные мною его участники и очевидцы, среди которых был и специальный корреспондент журнала «Смена» Василий Жильцов. Он-то уж не забудет тем более...

ЖИЛЬЦОВ. Забросил этот Коллинз оба штрафных, ввели наши мяч в игру — свисток: игра кончена. Американцы на площадке торжествуют. И я, громко ругаясь, ушел из зала. Минут десять стоял около входа — автобуса ожидал. Полицейский, увидев, что я вышел, стал свистеть: специально для меня такси подзывал. Я жестом показал, что такси мне не нужно, что я, мол, просто воздухом дышу. Я был в совершенном трансе и, наверное, поэтому даже не удивился, что больше никто из зала не выходит. Уехал я в пустом автобусе. Приехал к себе в Прессштадт. Настроение ужасное. Прошел час или немного больше — появляются живные вместе со мной Филатов и Лиходеев. Они не знают, что я ушел раньше времени. Филатов спрашивает: «Куда же вы делись?» «Я, Лев Иванович, раньше уехал». Он, видимо, думает, что раньше минут на пять или десять. И спрашивает: «Ну, что вы скажете о игре?» «Какая обида! Проиграть такой матч!» — «Как — проиграть? Мы выиграли!» — «За кого вы меня принимаете?» Филатов зовет Лиходеева: «Леонид Израилевич, поглядите на него, он же не видел этих трех вновь повторенных секунд!» И, перебивая друг друга, они стали рассказывать мне, что произошло. Я понял, что меня не разыгрывают, и, обуреваемый полярными чувствами, бросился к телевизору. Был третий час ночи, и на экране раз за разом показывали пас Едешко и бросок Александра Белова...

Старший преподаватель кафедры индийской филологии Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете индолог Анатолий Николаевич Зубков в течение четырех лет жил и работал в Индии. Наряду с основной работой в качестве преподавателя русского языка в университете города Ланхнау он все это время занимался в Институте йоготерапии и йогакультуры, после окончания которого защитил диплом йога высшей квалификации. Получению такого диплома способствовало и то, что еще до начала своего востоковедческого образования А. Н. Зубков длительное время изучал медицину. Сейчас он является первым и пока единственным дипломированным йогом в нашей стране.

По возвращении из Индии А. Н. Зубков опубликовал ряд статей в нашей прессе об индийских йогах и выступил в качестве соавтора сценария кинофильма «Индийские йоги. Кто они?», прошедшего с большим успехом на экранах нашей страны.



**АНАТОЛИЙ
ЗУБКОВ**

Еще несколько лет назад все, что было связано с йогами, поднималось на смех, встречалось в штыки. И только в последние годы широкие круги советских людей стали проявлять все больший интерес к древнему учению индийских йогов. Многие хотят поближе познакомиться с этим учением, испытать его рекомендации на себе. Ничего удивительного в этом нет: ведь каждому хочется быть здоровым и трудоспособным, продлить годы жизни и молодость, подольше оставаться в строю и быть максимально полезным Родине, народу.

Заинтересовались учением йогов и представители нашей классической медицины. Примером могут служить недавние выступления в печати видных советских ученых — медиков и биологов, убедительно высказавших свое положительное отношение к одному из аспектов учения йогов, к Хатха-йоге, как к дополнительному ресурсу здоровья.

В нашей стране широкое распространение получил так называемый аутотренинг, одна из разновидностей издавна рекомендованной йогами методики самовнушения или психорегулирующей тренировки. Научные эксперимен-

ты в этой области проводятся в Москве, Ленинграде, Киеве, Алма-Ате, и других городах Советского Союза. В кисловодском санатории «Крепость» уже в течение нескольких лет с успехом обучают больных этой методике.

Большое внимание обучению правильному дыханию больных, страдающих различными заболеваниями, уделяют в литовском курортном городе Друскининкай, в парке лечебной физкультуры. Комплексы дыхательных упражнений содержат значительное число упражнений, рекомендованных индийскими йогами. Проводится в нашей стране и лечение больных дозированным голоданием, корни которого уходят в глубь истории, к индийским йогам.

В последнее время в нашей центральной и периферийной печати было опубликовано значительное количество статей об индийских йогах. На экранах кинотеатров стал демонстрироваться научно-популярный фильм «Индийские йоги. Кто они?», являющийся первым кинофильмом о йогах не только в советской, но и в мировой кинематографии.

Чем же вызван интерес к йогам и их учению? По этому поводу академик П. К. Анохин недавно писал: «Человечество вступило в эру чрезвычайных эмоциональных перегрузок. Мы можем противостать этому, лишь воспитывая волю, научившись управлять эмоциями и разумно преодолевать так называемые «эмоциональные стрессы». Гимнастическая система йогов с ее методикой научно обоснованных и контролируемых тренировок, по моему мнению, могла бы стать хорошим подспорьем в деле сохранения здоровья».

Тем не менее еще до сих пор многие люди находятся в плену предубеждений, считая, что учение йогов — это чистейшая идеалистическая философская система. Но это не совсем так. И следовало бы внести ясность в этот вопрос.

Да, действительно, многие философские аспекты йоги неприемлемы для нас. Но существует и рациональная часть их учения, которая носит название Хатха-йога и которая занимается исключительно вопросами физической закалки и тренировки человеческого организма, вопросами борьбы со всякого рода недугами.

Слово «йога» в переводе на русский язык означает «связь, соединение, единение». «Связь, единение» чего с чем? Философы-идеалисты утверждают, что это яко-

ХАТХА-ЙОГА — ИСТИНА И ПРЕДУБЕ- ЖДЕНИЯ



бы связь души человека с так называемым Абсолютом, всемирным духом. Сторонники же диалектического и исторического материализма понимают термин «йога», как связь, единение физического состояния тела с сознанием человека. Иными словами, речь идет о гармонии тела и психики. Именно эта рациональная часть учения йогов больше всего заинтересовала наших людей. Именно она может и должна быть взята на вооружение нашим советским здравоохранением.

Хатха-йога трактует, как человеку стать полновластным хозяином своего тела, как он может подчинить работу различных органов своей воле, научиться сознательно вмешиваться и регулировать даже биохимические процессы, происходящие в организме. Хатха-йога — этот тот аспект учения йогов, который способствует выработке человеком невосприимчивости к различного рода заболеваниям, создает благоприятные условия для продления жизни, молодости и выносливости при сохранении трудоспособности, энергии и жизнерадостности.

Хатха-йога включает в себя несколько разделов. Перечислю главные из них.

Во-первых, это специфическая система гимнастических упражнений, не похожая ни на одну из гимнастик мира. Большая часть упражнений — «асаны», то есть статичные позы, хотя имеется и значительное количество так называемых «вьяям» (динамичных упражнений). В большинстве своем все упражнения носят статико-динамичный или динамико-статичный характер. Упражнения эти йогогами не выдуманы, а взяты из самой природы, после многовековых наблюдений за естественным поведением разнообразных животных, птиц, рыб и т. д. Сила йоговских упражнений — в их естественности.

Во-вторых, это необычная и до тонкостей разработанная система дыхательной гимнастики под названием «Пранаяма». Очевидно, никто в мире не уделял такого огромного внимания дыханию, какое уделял ему йоги. Йоги неоднократно повторяют: «Жизнь — это дыхание, а дыхание — это жизнь». Представителями современной медицины уже проверено на практике, что отдельными, специальными дыхательными упражнениями, без применения лекарственных препаратов, можно лечить множество различных болезней.

В-третьих, это оригинальная система гидротерапевтических средств, включающая в себя применение воды не только как средства закаливания организма, но и с терапевтическими целями. Йоги уделяют огромное внимание всевозможным очистительным процедурам и придают здесь воде первостепенное значение. Они обращают большое внимание и на достаточное ежесуточное потребление воды каждым человеком. Современное человечество, по их мнению, утерало естественное, природой данное чувство жажды, которое может быть утолено только регулярным потреблением достаточного количества чистой воды. Многие же люди в настоящее время приучили себя утолять жажду неестественными средствами.

В-четвертых, это элементы самовнушения, которые сопутствуют каждому упражнению, повышая тем самым его эффективность. Психотерапевтическое воздействие на организм человека находит все большее признание в современной медицинской практике.

В-пятых, это — правильное питание и лечебное голодание. Современные специалисты-диетологи не могут не согласиться со многими рекомендациями, даваемыми индийскими йогогами.

В-шестых, это разнообразные гигиенические процедуры и советы, которые должны занимать не последнее место в жизни людей. Йоги всегда являлись поборниками физической и моральной чистоты человека.

И, наконец, это здоровый, правильный режим работы, отдыха и сна.

Вот вкратце тот круг проблем, которыми занимается Хатха-йога.

Йоги неоднократно напоминают древнюю истину о том, что «в здоровом теле — здоровый дух», что каждый должен заботиться об укреплении своего здоровья — самого ценного богатства не только для отдельного взятого индивидуума, но и для всего общества.

Специфика гимнастических упражнений Хатха-йоги и их сила воздействия на организм человека заключаются прежде всего в сочетании трех обязательных элементов: специальной позы (или упражнения), определенного типа дыхания и самовнушения.

Хатха-йога — это лечебная гимнастика внутренних органов. И если другие гимнастические системы развивают наружную мускулатуру человека, то гимнастика йогов создает напряжение или, наоборот, расслабление того или иного органа, благоприятные условия для большего притока крови к тому или иному органу, что способствует его оздоровлению, улучшению его функционирования, продлению его жизнеспособности.

Хатха-йога — и в этом тоже ее огромная ценность — способствует развитию и укреплению воли.

Мне хочется подчеркнуть, что йога — это прежде всего практика, большой и упорный труд над собой. Чтобы, занимаясь по системе Хатха-йога, добиться успеха, необходимы самодисциплина, организованность, соблюдение правильного образа жизни. Замечу, кстати, что эти условия рекомендуются и другими системами физического воспитания.

Очень важно не забывать о главных принципах, соблюдение которых является обязательным для всех занимающихся Хатха-йогой: последовательность в разучивании упражнений, с постепенным переходом от простого к сложному; систематичность и регулярность в занятиях; умеренность во всем.

От некоторых наших дилетантов в йоге мне часто приходится слышать, что якобы никаких комплексов в этой системе не существует и что каждый должен индивидуально подбирать для себя определенный набор «асан». Это неправильное и, я бы сказал, даже вредное заблуждение.

Не кто иной, как йоги, еще в древности прекрасно знали о тесной взаимосвязи всех органов в человеческом теле. Возможно, именно они первыми стали думать о комплексном воздействии упражнений на организм человека. Вот почему у йогов имеются два главных комплекса: основной, обязательный, каждодневный комплекс для здоровых и больных людей (это и есть начало начал) и усиленный комплекс (для лиц, уже продвинутых в йоге). Существует также бесчисленное множество так называемых лечебных комплексов, направленных против того или иного заболевания и построенных на базе основного или усиленного комплекса.

Не могу не остановиться на одном вопросе, имеющем исключительную важность.

В последнее время в связи с интересом к занятиям йогой в Москве и других городах появилось

Большое количество «специалистов» по йоге. Они охотно берутся за руководство многочисленными кружками любителей Хатха-йоги, проводят коллективные и индивидуальные занятия с больными и здоровыми людьми. Между тем многие из таких «специалистов» не имеют ни соответствующих знаний в этой области, ни подготовки, полученной в индийских институтах йоготерапии, ни знаний методики, тщательно разработанной настоящими йогами. Эти лжепедагоги подчас не располагают даже элементарными медицинскими знаниями и не в состоянии дать мало-мальски квалифицированный ответ на вопросы, касающиеся методики или теории учения йогов.

Мне известны случаи, когда такие «учителя» с первого занятия ставили человеку на голову, не считаясь ни с его возрастом, ни с состоянием здоровья. В результате у некоторых людей, главным образом пожилых, страдающих повышенным кровяным давлением, произошли кровоизлияния в мозг с последующим параличом конечностей и огнятием речи.

Невежественные «наставники» дают неправильные, вредные рекомендации, сами черпая свои «знания» из весьма сомнительных, перепечатанных на машинке источников, которые содержат многочисленные ошибки и опечатки.

Как-то в руки мне попало «руководство», где рекомендовалось ежедневно проделывать клизму из горячей воды. К чему может привести такой совет, каждому должно быть ясно, тем не менее находятся простаки, которые следуют подобным советам, после чего быстро попадают в больницу. А в одном анонимном «гособии» по Хатха-йоге рекомендовалось ежедневно брать в рот подсолнечное масло и держать его во рту до тех пор, пока оно не загустеет. Затем советовали его выплевывать. Подобная «процедура» дает якобы избавление от всех существующих на земле болезней.

Читаешь такой абсурд и удивляешься: как можно в наше время верить подобным рекомендациям и, что самое обидное, следовать им!

Необходимо каждому проявлять максимум осторожности, воздерживаться от услуг сомнительных «наставников».

К сожалению, иногда и в нашей периодической печати появляются статьи, написанные авторами, некомпетентными в вопросах Хатха-йоги. Такие статьи дезориентируют читателей, вносят сумятицу в их умы, мешают поискам дополнительных резервов их здоровья. Кандидат исторических наук Н. Р. Гусева — несомненный специалист в области этнографии Индии, но, как она сама признавалась в этом неоднократно, не является специалистом по йоге. Когда же в ее статье «Йога ради моды» появилось утверждение, будто ряд упражнений Хатха-йоги вызывает эпилепсию, это вызвало поток писем читателей с возмущением по поводу такого безапелляционного заявления.

В январе 1973 года в одной из газет была помещена статья кандидата медицинских наук А. Авдыковича под названием «Йоги или Айюга?». Правильно возражая против имеющих хождение сомнительных машинописных переводов каких-то неизвестных книг по йоге, автор этой статьи в то же время обнаруживает свое незнание этой системы. Он, например, рассказывает, что один инженер обратился к нему с вопросом: «Полезно ли смотреть на солнце?» А. Авдыкович ни словом не обмолвился о том, что йоги рекомендуют смотреть на солнце, во-первых, в черных очках, во-вторых, в определенное время суток, а в-третьих, не всем людям, а лишь тем,

кому по характеру их заболевания это необходимо. Тем не менее в конце своей статьи он делает заключение: «Мне кажется, что для нашего образа жизни, нашего характера (!) и климата (!!) система йоги малоприспособлена. Это временное увлечение, массовым оно не станет, долго не продержится...»

Совсем недавно, в марте, кандидат педагогических наук В. Голубев выступил со статьей «Осколки кривого зеркала...». Наряду с правильными мыслями о неприемлемости для нас философской стороны учения йогов и замечаниями против некоторых сомнительных и порою вредных рекомендаций и экспериментов в этой статье содержатся нелепые, путаные утверждения.

Рациональную сторону Хатха-йоги, занимающейся исключительно вопросами здоровья человека, В. Голубев не хочет видеть. Он пишет, что учение Хатха-йога противоречит советской системе физического воспитания, его основе — всестороннему развитию человека. Он грешит против истины, заявляя, что Хатха-йога вообще отрицает спорт. На самом же деле Хатха-йога — и это проверено тысячелетиями — как раз служит всестороннему физическому воспитанию людей; известно положительное отношение йогов к футболу, баскетболу, плаванию и многим другим видам спорта. Замечу еще одно: именно потому, что Хатха-йога служит физическому совершенствованию человека, в Индии принято постановление ввести Хатха-йогу в качестве обязательной системы физического воспитания в армии и во всех учебных заведениях страны.

Мне думается, что, отмечая те стороны учения йогов, которые действительно связаны с философским идеализмом, не следует выплескивать с водой и ребенка.

Куда правильнее было бы серьезно и планомерно заняться изучением и детальным исследованием этой системы, взять на вооружение все то в Хатха-йоге, что содействует здоровью советских людей. И, конечно, издавать доброкачественную переводную и оригинальную литературу, в которой содержались бы правильные, научно проверенные методические указания и советы.

В заключение приведу высказывание члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР А. Н. Обросова: «...Через тысячелетия до нас дошла... богатейшая система физических упражнений, основанных не на каком-то мистицизме или идеализме, а на точном знании физиологии. Йога позволяет использовать скрытые возможности организма. А это очень важно, чтобы помочь людям справиться с перегрузками, порожденными цивилизацией. Сегодня йога, по-моему, необходима больше, чем когда бы то ни было».



КЛАДЫ ОДНОГО ПЕРЕУЛКА

Улицы узки у нас, широка у нас летопись улиц», — вспоминаешь крылатые слова Ивана Дмитриева о старой Москве. Улицы и переулки Китай-города, где до сих пор находят старинные клады, и сегодня почти без изменений сохраняют планировку XVI века. Перед нами план Москвы конца XVI века — «Петров» называют его историки, потому что найден он был в бумагах канцелярии Петра I. Заголовок же на плане, писанный затыливой вязью, гласит: «Царствующий град Москва начальный город всьх московских государств».

Вглядываемся в деталь плана: улицы Ильинка (ныне улица Куйбышева) и Варварка (ныне улица Степана Разина) ведут от Кремля к крепостной стене Китай-города, к массивным проездным башням, у ворот которых переброшены мосты через ров. А ближайший к стене переулок, соединяющий Ильинку и Варварку, — Ипатьевская улица (ныне Ипатьевский переулок).

Предполагают, что план этот изготовили под руководством Федора Годунова, сына царя Бориса, в одном из московских приказов с отменной по тому времени точностью — развернув перспективу города с высоты «птичьего полета». Этот план оставил нам изображение почти каждого сооружения. По сути, план представляет собой самый ранний рисунок всей Москвы. И в Ипатьевском переулке видны усадьбы населявшей его знати. Над усадьбами, огороженными частоколами, над домами, хозяйственными постройками возвышается церковь Евпатия, известная с конца



XV века. Кстати, в древнем переулке доныне сохранились каменные палаты выдающегося художника Древней Руси Симона Ушакова, а рядом с ними, но уже по соседнему, Никитникову переулку, стоит широко известная церковь Троицы — с кокошниками над сводами, с красным изразцовым декором, с иконописью самого Ушакова.

Еще в конце прошлого века во время земляных работ для прокладки канализационных труб — на глубине около трех с половиной метров — в Ипатьевском переулке был обнаружен ценнейший клад: пять шлемов-«шишаков» и пять кельчуг, одиннадцать боевых граненых копий и охотничья широкая рогатина, богато орнаментированная чаша из серебра. Клад содержал и серебряные копейки Ивана IV «доцарской» чеканки, то есть до 1547 года. Дорогие по тем временам предметы (стоимость шлема составляла 1 рубль) были упрятаны в подклети — не иначе как в тайнике, а затем их завалило при большом пожаре лета 1547 года (эту дату подтверждают и монеты). Гигантским пламенем был объят тогда центр города. Пылал и Кремль и Китай-город, взорвались пороховые склады... Сгорело 25 тысяч домов, 250 церквей. Пожар сопровождался множеством человеческих жертв. Нет, не успел владелец спасти ценности: некому, очевидно, было достать их и после пожара. Спустя три с половиной столетия ипатьевские находки вошли в экспозицию Исторического музея.

Уже в наши дни, глубокой осенней ночью, при свете прожектора проходчики «Подземстроя» углубляли в Ипатьевском переулке кол-

лектор. Неожиданно под мощным слоем золы и угля рабочие наткнулись на небольшой, метровой высоты бочонок, по-видимому, когда-то вкопанный в землю, то есть укрытый в тайнике, имевшемся в глубокой подклети дома, которая затем, также при пожаре, была завалена и погребена.

В этом бочонке XVI века хранились боевой топор и кавалерийский топорик, длинные «засапожные» ножи, шлемы-«шишаки» (как и в первой Ипатьевской находке), стремена с широкой пластинчатой подножкой. Особый интерес представляла ручная кованая пицаль — мушкет с гладким граненым стволом — древнейшая на Руси «ручница», с датой «1555» на стволе. Приклад у «ручницы» не сохранился. Он явно был сломен не случайно, так как следы поврежденный видны были и на стволе. Значит, оружие побывало в ратных делах, а в огонь попало позднее. После 1547 года пожар в Китай-городе бушевал в мае 1571 года, когда в отсутствие Грозного и его войска к столице внезапно подступила орда крымского хана Девлет-Гирея и подожгла город. «В продолжение трех часов Москва выгорела так, что не осталось даже обгорелого пня, к которому можно было бы привязать лошадь», — описывал пожар один из очевидцев. — В этом огне погибло двенадцать тысяч человек, имена которых известны, не считая женщин, детей и крестьян, сбежавшихся в столицу: все они или задохнулись, или утону-

На снимке: испанская монета XVI века из клада в Ипатьевском переулке.

Фото С. ВАСИНА.

ли, или были побиты...» Очевидно, среди погибших был и владелец оружия, найденного четыре века спустя...

А при недавнем строительстве административного здания в том же переулке был обнаружен колоссальный древний денежный клад: 3 398 монет — около 74 килограммов серебра! На шестиметровой глубине его зачерпнул ковш экскаватора. Монеты из этого клада были чеканены на денежных дворах Испании — в Мадриде и Толедо, Барселоне и Севилье, а также в городах Мексики, Гватемалы, Колумбии — в американских владениях Испанского королевства. Основная масса «реалов» — так назывались испанские крупные серебряные монеты — была отчеканена в заокеанских владениях весьма небрежно, но все же с обозначением достоинства — покупатели должны были видеть сразу количество металла. В XVII веке иностранные купцы через тысячи

километров доставили это серебро в Москву.

Во времена Ивана Грозного большая часть иностранцев по прибытии в Москву поселялась в особой Немецкой слободе на реке Яузе. Но в начале XVII века — в период «лихолетья» — слобода сгорела, и после этого иностранцы проживали и в центральной части столицы. Из Подворной описи 1620—1632 годов узнаем о многих дворах вблизи Кремля и Китай-города, где жил «иноземец», или «немчин», или «торговый немец». В Китай-городе, например, прочно обосновались голландские предприниматели Фоглеры и Кленки, игравшие выдающуюся роль в заморской торговле. Рядом располагался и Посольский двор. Однако богатые иностранцы даже в усадьбах рядом с Кремлем и Посольским двором чувствовали себя не вполне спокойно. Во дворы к чужестранцам могли, например, всегда ворваться стрельцы под предлогом

обыска — не держат ли еретики православных слуг, не заставляют ли этих слуг есть в постные дни мясо и всякий скором, оскверняя христианскую душу? Конечно, рискованно было в подобных условиях держать на виду да и вообще в доме слишком много серебра.

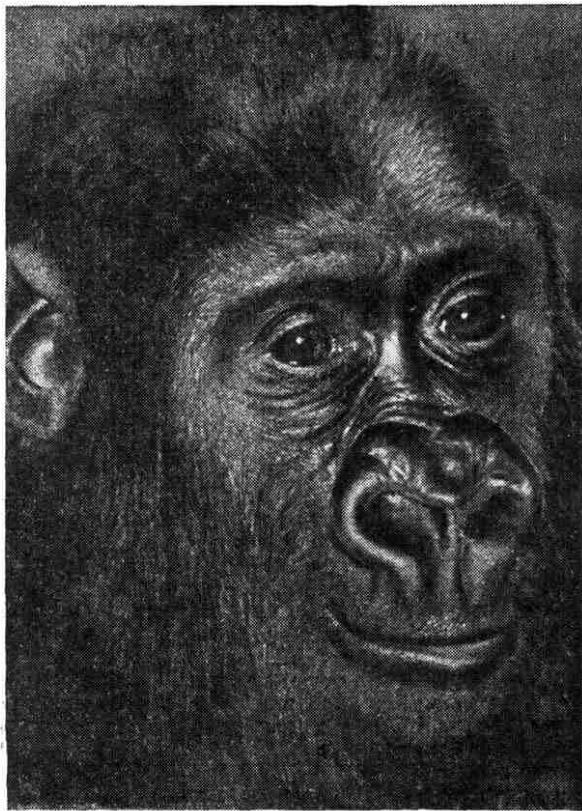
А в середине марта 1636 года, когда Китай-город вновь охватило пламя огромного пожара, москвичи открывали тюрьмы и выпускали колодников, разбивали лавки, громили богатые дома, растаскивали товары крупных торговцев, в том числе иноземцев.

Может быть, при этих событиях и пострадал владелец испанского серебра — человек, вне сомнения, торговый и богатый, укравший огромный клад в землю «Ипацкой» улицы?..

Таковы клады, найденные лишь в одном маленьком переулке Москвы.

А. ВЕКСЛЕР,
А. МЕЛЬНИКОВА

ПО УТРАМ ГОРИЛЛЫ ПЬЮТ СЛАДКИЙ ЧАЙ



Так выглядит Батаня.
Фото А. КЕНДЗЕРСКОГО.

В Московском зоопарке впервые поселились две гориллы. Правда, совсем маленькие: самцу, Батанге — года три с половиной, а Мете старше его на год. Раньше гориллы содержались у нас только в обезьянниках Ростова и Сухуми. Как же чувствуют себя в Москве гориллы? Александра Петровна Запорожец, смотритель московского обезьянника, рассказывает, что Батаня (так она ласково называет Батангу) поначалу вел себя достойно, охотно играл с людьми, но затем неожиданно унулсил в цену заведующую обезьянником. Когда же месяца через полтора прибыла Мета, ему самому пришлось несладко: самка била его, хватала за ногу и раскручивала.

— Эта Мета отбирала у Батани мячи, с которыми он играл, — говорит Александра Петровна, — а Батаня — парень веселый, бесхитростный, как меня завидит, гулко и радостно бьет себя в грудь. Один сотрудник подарил ему покрывку от своего мотоцикла, Батаня надел ее на живот и теперь катается из угла в угол.

По утрам гориллы пьют сладкий чай. К чаю им подают бутерброды с повидлом или с крестьянским маслом. Любят они и сладкое молоко. На обед — различная каша. Они не отказываются от огурцов, моркови, съедают в день два килограмма фруктов. Мета особенно любит репчатый лук, а Батанга — дубовые ветви.

Посетители валом идут на горилл. Но не всегда им везет. Обезьяны акклиматизируются медленно. Первое время их старательно оберегают от простуды. Мне, например, так и не удалось повидать Мету — в тот день, когда я был в обезьяннике, ее отравили в карантин: заподозрили желтуху. Лечить Мету сложно. Она никого к себе не подпускает; то ли дело шимпанзе, которые живут в соседней клетке, — их Александра Петровна и мыла и носила на руках. А когда у Меты, например, пытались осмотреть зубы, она обернула голову мешком.

Да, обезьян приходится оберегать не только от ветра и от дождя, но и от неразумных зрителей. Одна я разговаривал со смотрительницей, какая-то дама влезла на забор, огораживающий клетку, и пыталась просунуть Батанге хлеб, привязав его к палке.

— А ну, дамочка, слазь, — всполошилась Александра Петровна. — А то посажу в клетку. Вот столько свободных.

А. ПЧЕЛЯКОВ



Н. СТАНИЛОВСКИЙ

СВИДАНИЕ

Это был один из тех вечеров, которые принято называть пропавшими. Мне никто не позвонил, и на мои звонки никто не ответил... Оставалось одно — проводить время наедине с телевизором.

Я подошел к своему старенькому «Рекорду» и включил его, хотя до начала передачи было еще добрых полчаса.

— Пусть прогреется, — решил я, развалившись в кресле. — С телевизором не так одиноко...

...Зашумел, засвистел, разгорелся голубой экран, и на нем возникло знакомое милое лицо дикторши.

— Странно, — сказал я самому себе, — еще же совсем не время... Может, мои часы врут?..

— Ничего ваши часы не врут, — сказала вдруг дикторша совсем не торжественно-казенным, а каким-то домашним, уютным голосом. — Я просто хотела узнать — вы что, опять собираетесь торчать весь вечер у телевизора?..

— Простите, это вы мне?

— Вам, вам... Кому же еще?

— Но позвольте, с какой стати?..

— Разве не могу я поинтересоваться просто так? Ну, хотя бы на правах старой знакомой. Сколько лет мы уже знакомы?

— Семь, — пролепетал я, взглянув в паспорт своего «Рекорда».

— Вот видите! Пора уже на «ты» переходить... Семь лет я наблюдаю за вами. Какой-то вы неблизкий: ни друзей у вас, ни девушек... Прилипли к телевизору.

— А что же еще делать?

— Придумайте что-нибудь!.. Извините, я тут должна кое-что объявить: я же на работе.

И она заговорила обычным казенным голосом, заговорила о

том, о чем всегда говорят дикторы: «Добрый вечер... Послушайте... Сегодня вы увидите...»

— А сейчас, — сказала она в заключение, — смотрите репортаж о футбольном матче «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Москва)...

— Ну, вот я и свободна, — опять обратилась она ко мне домашним голосом. — Футбол вы по три раза в неделю смотрите, может, хватит?

— Больше нечего... — отозвался я. — По второй — передача для школьников, по третьей, учебной, — что-то про физику... Я ее со школы терпеть не могу.

— А вы оторвитесь от этого ящика, подойдите к телефону и назначьте свидание...

— Кому я назначу... — хмыкнул я.

— Да хотя бы мне...

— Вам?!

— Мне. А что? У меня как раз полтора часа свободного времени, пока футбол идет... Короче, где мы встретимся?

Через десять минут я подлетел на такси к зданию телецентра. Она уже ждала меня, запахнувшись в норковую макси-шубу...

Скажите, вам назначали когда-нибудь свидание дикторши телевидения? То-то и оно... Потому вам никогда не понять, что я испытывал, когда мы шли рядом. Ее плечо касалось моего, рука опиралась на мою руку...

Мы шли по многолюдной улице, застенчиво улыбаясь друг другу и молчали. О чем, ну, скажите, о чем можно говорить с человеком, которого вы семь лет видели на экране и первый раз видите живьем?!

На нас оборачивались, какие-то девицы просили у нее автографы... Скажите, у вашей девушки когда-нибудь спрашивали автограф?.. В том-то и дело!..

Все это начисто лишило меня дара речи, и тогда она предложила:

— Давайте куда-нибудь от всех убежим.

Мое сердце дважды перевернулось в груди, еще секунда — и оно выскочило бы на мостовую, прямо к ее ногам...

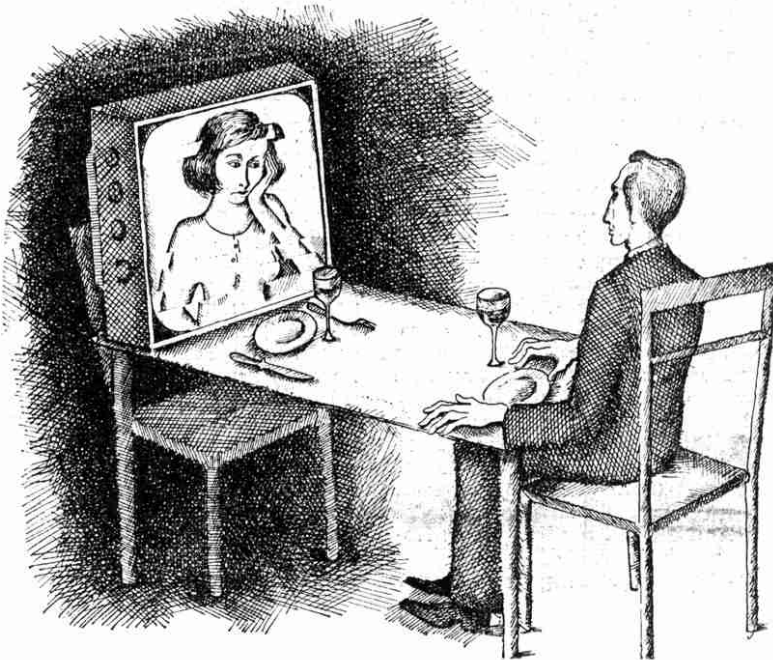


Рисунок А. БЕЛЛ.



— А что если пойти ко мне? Это совсем недалеко... В кафе сейчас не попасть, в ресторан — тем более, — робко сказал я.

— А что? Замечательная идея! Дальнейшее я помню, как во сне. Она скинула мне на руки свою шубу, уютно, по-домашнему забралась с ногами в кресло и улыбнулась мне оттуда таинственно-загадочной улыбкой Джоконды... Не зная, о чем говорить, что делать, я бесцельно сновал по комнате, зачем-то переставлял с

места на место пепельницу, глупо улыбался при этом...

Чтобы хоть как-нибудь разрядить обстановку, я решил включить телевизор.

— ...Один ноль ведут киевляне! — сразу же закричал Озеров. Но не успел он договорить, как юркий Блохин проскочил сквозь московскую защиту, выманил из ворот Пильгуйа и послал мяч в сетку!.. Наши, надо сказать, не пали духом, а Еврюжихин демонстрировал такие финты — пальчики оближешь! Ребята были в ударе, они

отквитали в конце концов оба мяча, а будь у них в запасе еще пара минут, забил бы и третий!..

Но матч кончился, экран некоторое время был серым, а потом на экране я увидел знакомое милое лицо дикторши. Я в ужасе обернулся — в кресле никого не было!

— Мы передавали репортаж о футбольном матче, — сказала она торжественно-казенным голосом и, изменив интонацию на домашнюю, добавила вдруг: — Прощайте...



Лекции кончились. Мозг, насыщенный духовной пищей, законно требует материальной. Что поделаешь, если материя первична... Надо заправиться. Влетаю в столовку. Очередь! Завтра два семинара и зачет по языкознанию — обедать некогда.

Вперед, в библиотеку! Встал на рельсы и помчался. На ходу перехватил пару пирожков и мороженое. Жить можно.

15.00. Библиотека. Флобер есть — Степанова нет. А мне позарез нужны его «Основы языкознания». За неимением учебника приходится жевать Флобера с реализмом. Скорый экспресс, в который я превратился, летит вперед. Кругом пестреют афиши. «Концерт», «Мюзик-холл», «Цирк» — «Смешанная группа хищников». Все лучшее остается позади. Мчу!

Навстречу проносятся мириады девушек, одна лучше другой. Хотя по сторонам не смотри. Эх, познакомиться бы... В кино б сходить... Мечта идиота! Уже не отличу Софи Лорен от Юрия Никулина. Погряз по уши в учебе...

— Привет, Виталик, — вдруг нежно пропел над ухом знакомый голос.

некогда!

Я дал резкий тормоз и едва не сошел с рельсов. Прямо передо мной — симпатичная брюнетка. Это Ирина, моя бывшая одноклассница. Та самая Ирочка, в которую я влюблен с пятого класса и до сих пор не объяснился. Увы, в школе тоже была перегрузка!..

— Ира! — простонал я.

— Что? — удивилась она.

— Учишься?

— В педагогическом.

— Степанова лишнего нет? — сработало мое автоматическое реле.

— Не мое ампула. А у тебя конспект по высшей математике не заваялся?

— Не увлекаюсь. Другой профиль.

Она посмотрела на меня, как на ненужный учебник, и вздохнула.

«Что бы ей такое нежное сказать?..» — подумал я.

— А у нас завтра семинар по политэкономии...

— А у нас контрольная по математике... — ответила она, загадочно улыбаясь.

Некогда! Некогда!! Некогда!!! У-у-у-у!.. Экспрессы стояли на своих рельсах и, одновременно просигналив: «Пока!» — рванулись вперед каждый по своему маршруту, догонять упущенное время. Любезничать некогда! Некогда!! Некогда!!! У-у-у-у!..

И вот, наконец, в руках «Основы языкознания», в сердце «ее лучистые глаза», а в голове:



Василий ТРЕСКОВ



Рисунок И. БРОННИКОВА.

«Надо было хоть о свидании договориться, ведь... «какие-либо два звука, находящиеся в отношении свободного варьирования, не могут быть двумя фонемами, это всегда два звука в ряду звуков, составляющих одну фонему». ...И объясниться пора, может, чего получится у нас. «...Варианты и чередования фонем, например: в фонематической транскрипции [молодой], [мóлод], [мо́лод]е!..» Так и молодость пройдет!.. «Корневая морфема русского слова рука имеет два основных вида... Если же принять во внимание нашу интуицию и здравый смысл, то рука и руч — это одна фонема...» Руку надо предложить! Руку! И сердце не забыть тоже! Может, и она вспомнит обо мне сквозь частотол формул... Но некогда! Некогда!! Некогда!!! У-у-у-у!.. «Назовем эти чередования морфонологическими...»

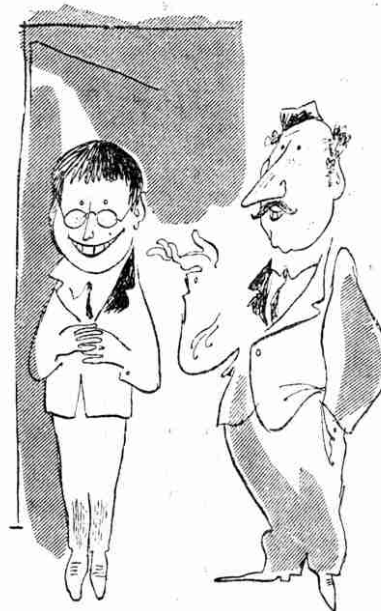
И далее все мысли только в кавычках.

г. Нальчик.



ЕГО ЗВАЛИ КЕША

Рисунки И. ОФФЕНГЕНДЕНА.



Штуковский снимал показания осциллографа, когда дверь открылась и на пороге появился шеф с каким-то молодым человеком.

— Вот, Борис Борисович, — сказал шеф, дую в седующие усы, — привел вам подмогу. Прошу любить и жаловать.

Молодой человек был небольшого роста, с очками на носу и любопытными глазками. Он протянул Штуковскому руку:

— Очень, очень рад, Борис Борисович! Всегда хотел работать только с вами! Меня зовут Кеша. Знаете, у меня просто руки чешутся, так хочу трудиться! У вас бывает такое чувство?

— Бывает, — ответил Штуковский.

— Вот видите! Мы уже начинаем находить общий язык. Знаете, однажды в Венеции родились близнецы, у которых все было разное, а язык общий! — И Кеша залиvisto рассмеялся. — У моей бабушки тоже были близнецы. Тройняшки. Одного назвали Антоном — в честь Чехова, другого Львом — в честь Толстого, а третьего Шуркой — в честь Пушкина. Шурка — это девочка. Впоследствии она стала моей матерью.

— Понятно, — сказал Штуковский. — Давайте работать.

— Давайте, — согласился Кеша, закатывая рукава. — Знаете, по работоспособности я в деда. Он служил в екатеринославской уездной больнице и лечил прыщи на лице гимнастикой. Удивительной души был человек! Его звали Модестом.

— В честь Мусоргского? — спросил Штуковский.

— Нет, Табачникова, — ответил Кеша.

Штуковский вытер со лба холодный пот и тупо посмотрел на экран осциллографа.

— Кеша, — сказал он, — мне необходимо отлучиться.

— И я с вами! — обрадовался молодой человек, опуская закатанные рукава.

Они спустились в столовую.

— Выпьем чаю, — предложил Штуковский.

— Выпьем, — кивнул головой Кеша. — Знаете, заваривать чай — это большое искусство. Вот в Туле, например, вместо чая заваривают капустные листья. И делают это не в чайниках, а в обыкновенных кастрюлях. Но самое удивительное, что этот напиток у них называется «щи».

Штуковский тихо покачнулся, упал на пол и... умер.

...Все плакали. Катафалк с его телом ехал по улицам города. Впереди медленно переставлял ноги шеф, вытирая мокрые от слез усы. Рядом с ним шел Кеша.

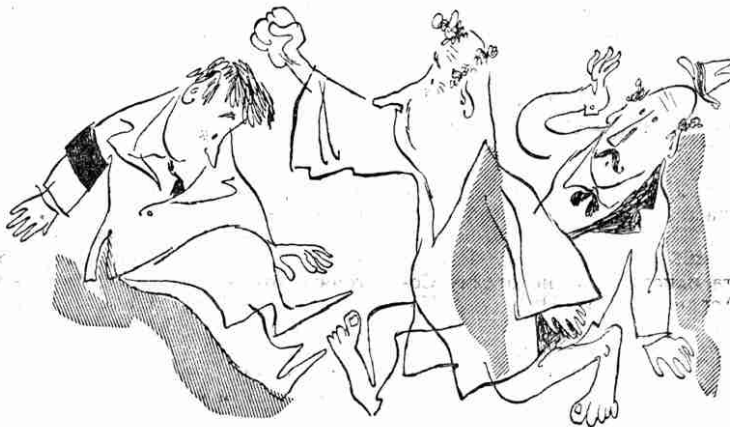
— Как это ужасно! — сказал он. — Борис Борисович был исключительной души человек! Жил, работал, и вдруг — гроб, похоронный марш... Вам нравится траурный марш Шопена?

— Да, — ответил шеф.

— Ну и напрасно. Лично мне нравится только Бетховен. Знаете, родители нарекли Бетховена Людвигом, а друзья звали его мило и просто — Лютик!

Штуковский вздрогнул, сошел с катафалка, ударил Кешу по голове и положил его на свое место.

Все облегченно вздохнули и разошлись по своим рабочим местам.



Я. ТИТОВ.
Первый
кубок.



М. РОЙТЕР.
Упражнение
с мячом.





Цена 40 коп.

Индекс
71120

